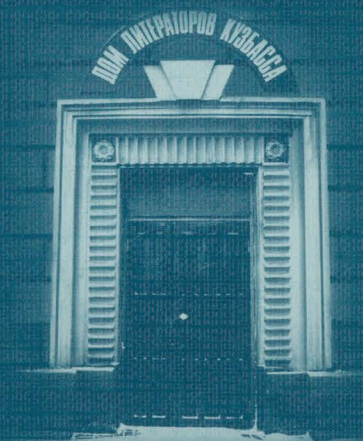


# Огни Кузбасса

№ 5 / 2010



## 65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



Ильбек Хаирулиев. Новоанглиск. Благословение матери. Х., м.



Геннадий Агеенко. Кемерово. Фашист налетел. Х., м., 2010

### ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

**Б. В. Бурмистров,**  
Кемерово,  
Председатель  
общественного совета

**В. Н. Ганичев,**  
Москва,  
Председатель Союза  
писателей России

**Л. Т. Зауэрвайн,**  
Кемерово,  
начальник  
департамента культуры  
и национальной политики  
Кемеровской области

**С. Ю. Куняев,**  
Москва

**В. И. Лихоносов,**  
Краснодар

**М. И. Найдов,**  
Кемерово,  
директор Кемеров-  
ского областного  
общественного фонда  
«Шахтёрская память»,  
им. В. П. Романова

**Г. Л. Немченко,**  
Москва

**Носырев,**  
Кемерово,  
заместитель председа-  
теля совета директоров  
«Кемерово-Кузнецкий  
бассейн»

**Фёдорова,**  
Кемерово, заместитель  
губернатора по социаль-  
ным вопросам

**Филатов,**  
Кемерово

**Шемшученко,**  
Санкт-Петербург

ЖУРНАЛ  
ПИСАТЕЛЕЙ  
РОССИИ

*Огни Кузбасса*

ИЗДАЕТСЯ С 1949 ГОДА

№ 5 / 2010  
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ

Литературный журнал  
выходит  
благодаря поддержке  
администрации  
Кемеровской области,  
администрации  
города Кемерово,  
ОАО «Кемсоцинбанк»  
и издательства  
«Кузбассвуиздат»

Главный редактор  
Сергей ДОНБАЙ

Редколлегия:

Виктор АРНАУТОВ,  
Валерий ЗУБАРЕВ,  
Владимир ИВАНОВ,  
Александр КАТКОВ,  
Иосиф КУРАЛОВ,  
Вера ЛАВРИНА,  
Владимир МАЗАЕВ,  
Дмитрий МУРЗИН  
(ответ. секретарь),  
Любовь НИКОНОВА,  
Марина ЧЕРТОГОВА

Рукописи  
не рецензируются  
и не возвращаются

Адрес редакции:  
650000, г. Кемерово,  
Советский проспект, 40  
Телефон 36-85-14



ГОР АД  
ГУКОНБ им. В.Д. Фёдорова  
Газетно-журнальный  
фонд

707954

# Содержание

## ПРОЗА

Анатолий Ярмолюк. Вперёд и дальше (Рассказ цыганского барона).....	19
Владимир Мазаев. Пещера. Повесть .....	51
Юлия Лавряшина. Тёмное эхо. Роман .....	71
Сергей Побокин. Два рассказа .....	112
Юрий Дубатов. Воин. Рассказ .....	118

## ПОЭЗИЯ

Николай Дорожкин. Кавалергардский марш. Поэма.....	3
Юрий Перминов. Пыльца тепла ночного.....	47
Борис Бурмистров. Душа и в радости болит .....	66
Геннадий Попов. На взлете мятущихся лет.....	69
Сергей Подгорнов. Здесь к звёздам ближе, чем к Москве.....	109
Владимир Каганов. Бегут, бегут седые облака.....	115

## ПУБЛИЦИСТИКА

Гарий Немченко. «Опять сам себе», или «Присосанцы».....	121
Надежда Веснина. Зэчка. Из рассказов тётки Зины .....	126

## ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

Летописец Великой Отечественной войны (Повествуют документы) .....	142
--	-----

## ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ

Алёна Зубарева. Паломничество в страну Севера.....	148
--	-----

## БИБЛИОТЕЧЕСТВО

Владимир Яранцев. Томские тайны Бориса Климычева. К 80-летию Б. Н. Климычева.....	158
---	-----

## РУССКАЯ ШКОЛА

Вячеслав Елатов. Остаюсь учителем.....	162
--	-----

## КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Нина Ягодинцева. Рыба-сейчас (О книге Д. Мурзина «Клиническая жизнь») .....	167
---	-----

## ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Литературная хроника. Подготовил В. Арнауты .....	169
Новые издания. Подготовил В. Попок.....	170

**РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ  
ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ БУНИНУ  
140 ЛЕТ**



(1870–1953)

**СЛОВО**

Молчат гробницы, мумии и кости,—  
Лишь слову жизнь дана:  
Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь Письмена.

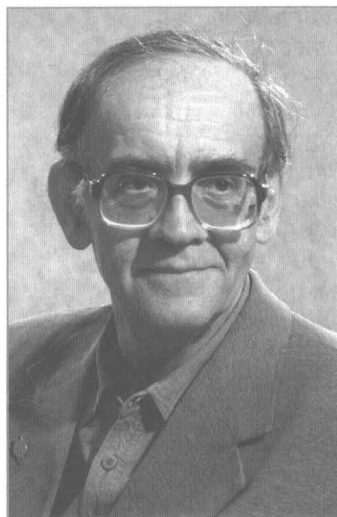
И нет у нас иного достоянья!  
Умейте же беречь  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный — речь.

Иван Бунин. Москва, 1915

**НИКОЛАЙ  
ДОРОЖКИН**

**КАВАЛЕРГАРДСКИЙ  
МАРШ**

Поэма



Светлой памяти А. А. Энгельке –  
воина, поэта, учителя

**ПРОЛОГ**

1917

Побудка! Побудка! Побудка! –  
казённая дудка орёт.  
Ноябрьское серое утро  
над красной казармой встаёт.  
Обуты, по пояс одеты,  
проскакивая этажи,  
на плац выбегают кадеты  
(а строго по форме – пажи).  
Побудка! Побудка! Побудка!  
Холодная мгла в ноябре...  
Сигнал – исполнение – минутка –  
и корпус построен в каре.  
У каждого взвода поручик,  
стоит – как из бронзы отлит:  
хромой, одноглазый, безрукий –  
германской войны инвалид.  
Над плацем холодным позёмка,  
над лужами синего льда...  
Но голос полковника звонко  
как выстрелил:  
– Господа!

3

Папаха его без кокарды  
над серыми льдинками глаз.  
– Кадеты! Кавалергарды!  
Слушай последний приказ!  
До кухни, складов и конюшен  
катится обвал новостей:  
– Наш пажеский корпус распущен  
декретом советских властей!  
Военный министр не в ответе  
за вашу дальнейшую жизнь...  
Вы – вольные граждане, дети...  
Прощайте! И – р-разойдись!

**ЧАСТЬ I**

**ШАГИ КАВАЛЕРГАРДА**

1917 год

Человеку – тринадцать лет.  
Он вчера ещё был кадет.  
Был свободен от мыслей, что делать,  
чем заняться сейчас и потом,  
что читать, чем сегодня обедать,  
чем согреть промерзающий дом,  
где купить или выменять чаю,  
керосину, мыла, пшена,  
и зачем на Земле мировая  
и любая другая война?

**ДОРОЖКИН Николай Яковлевич** родился в 1935 году в городе Мариинске Кемеровской области. Окончил физико-технический факультет Томского университета. Работает старшим научным сотрудником ЦНИИ машиностроения Роскосмоса в городе Королёве. Кандидат технических наук, доцент. Действительный член Российской академии космонавтики. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Техника – молодёжи». Автор трёх поэтических сборников и четырёх научно-популярных книг. Лауреат премии памяти С. Н. Дурылина (в 2008 и 2009 годах). Член Союза писателей России. Живёт в городе Королёве.

Человеку тринадцать лет.  
 Есть вопросы – ответов нет.  
 Бритвею пробуешь – быть усам!  
 Отвечай на вопросы сам...  
 Не барин, не белоручка, –  
 вчерашний гвардии кадр,  
 пока ещё – недоучка  
 кадет Эдельстрём Александр.  
 Не тяжки, как ранец кадетский,  
 и в обращеньи легки  
 французский, английский, немецкий,  
 латинский и свой языки.  
 Муки муштры не напрасны –  
 работа для глаз и рук.  
 И – в полном объёме гимназии –  
 знание точных наук.  
 Не только ать-два с барабаном,  
 не только приклад-багинет,  
 но – скрипка и фортепиано,  
 мазурка и менуэт!  
 Мундиры – не чёрные ризы,  
 но должен усвоить паж,  
 как дважды два – катехизис,  
 уставы – как «Отче наш».  
 С таким невесомым имуществом  
 явился в неведомый свет  
 дальше учиться и мучиться  
 мальчишка тринадцати лет...

...Снимает шинель в прихожей  
 штабс-капитан – инженер.  
 Два Александра похожи –  
 кадетик и офицер.  
 Здоровый дворянский ужин –  
 картошка, морковный чай...  
 – Папа, кому ты служишь?  
 Не хочешь – не отвечай...  
 – Разум в смятении мечется,  
 но сердце напомнило мне:  
 «За веру, царя и отечество!» –  
 русский девиз на войне.  
 Престол? Батыея наследство...  
 В России его уже нет...  
 Но вера – есть! И отечество...  
 На них и сошёл свет.  
 И царь, и Советы – от Бога.  
 Воздано по делам!  
 Сколько ни думай, дорога  
 одна уготована нам.  
 Болтать не люблю красиво.  
 Речами харчи не согреть.  
 Служил и служу России.  
 Намерен служить и впредь!

## 1920–1709 – И ОБРАТНО

1920

С неба предвечернего  
 дождик моросит.  
 Кончились учения.  
 Эскадрон рысит.  
 Расстоянья дальние  
 в РСФСР.  
 Первой конной армии  
 движется резерв.  
 Полукровки быстрые  
 смирны под уздой.  
 Шлемы богатырские  
 с красною звездой.  
 Впереди полощется  
 боевой штандарт.  
 А на рыжей лошади  
 наш кавалергард.  
 Снаряженье полное –  
 шашка и свинец...  
 Конницы Будённого  
 молодой боец.  
 Выправка отменная,  
 обижаться грех –  
 предки все военные,  
 он – не хуже всех!  
 ...Предки все военные,  
 долгий конный след...  
 Скачут поколения  
 от петровских лет...

1709

Сигнал трубы – атака! – и пошли...  
 Как молнии, сверкают палаши.  
 «Во славу Швеции и трёх её корон!»  
 С тяжёлым топотом несётся эскадрон.  
 Вот он врывается в российскую пехоту  
 и лихо делает кровавую работу.  
 Вот юный офицер, атакой опьянён,  
 поднявшись над седлом,  
 выискивает жертву...  
 И пасть бы наземь гренадеру мертвеу, –  
 но просвистел аркан!.. И юный швед  
 пленён.  
 Его под явно иронические крики  
 слегка проволокли за лошадьё калмыки.  
 Потом, толкаемый отточенным штыком,  
 предстал он перед строгим казаком  
 в хлеву, где пленные сидели шведы.  
 Казак отнял палаш и пистолеты  
 и что-то произнёс... Владевший языком,  
 швед старый перевёл, не делая секрета...

И юноша узнал: казак когда-то,  
 где-то был с матушкой его по близкому знаком!..  
 Он на солому сел, откинулся к стене,  
 зубами скрежеща от боли и обиды...  
 Но фляжку протянул сержант,  
 выдавший виды,  
 и пленник наш, глотнув,  
 забылся в тёмном сне...

Но мог ли этот пленный швед  
 тогда предположить,  
 что он до завершения лет  
 в России будет жить.  
 Что будет русская жена  
 и домик под Читой,  
 в окне – огромная луна  
 над чёрною пихтой.  
 И тяжкий первобытный труд,  
 и крики петуха,  
 сосед бурят, сосед якут  
 и жирная уха...

И каждый год ускорит ход,  
 сменяя старый год,  
 и средний сын его пойдёт  
 на Пруссию в поход...  
 По всей Земле – войны разгул,  
 густая рябь могил...  
 Внук будет штурмовать Кагул,  
 а правнук – Измаил.

Прожив без месяца сто лет,  
 других не видя мест,  
 заляжет лютеранин-швед  
 под православный крест...  
 И реквием над ним споёт  
 хор забайкальских пург...  
 А внук семью перевезёт  
 в далёкий Петербург.

За тот Румянцевский поход  
 он будет награждён,  
 а Эдельстрёма древний род  
 в дворянство возведён.  
 Весомы царские дары!  
 Драгунский капитан  
 получит землю близ Суры  
 и двести душ крестьян.  
 Наймёт он немца-ловкача,  
 чтоб вёл его дела...

Но скоро войско Пугача  
 тут всё спалит дотла...  
 Власть усмирит мужичий шторм,  
 но впредь во все года  
 владеть рабами Эдельстрём  
 не будет никогда!

Но в ратном деле будут знать  
 все поколенья толк  
 и честно будут исполнять  
 свой офицерский долг.  
 И не в диковину родне,  
 что награждён крестом  
 за храбрость при Бородине  
 поручик Эдельстрём.  
 А подполковник Эдельстрём,  
 бретёр и сумасброд,  
 небрежно проиграет дом  
 и лошадей пропьёт.  
 Но, службу знающий на-явь,  
 ничуть не будет пьян,  
 когда откажется стрелять  
 в восставших варшавян.  
 Заменит гарнизонный суд  
 солдатчиной тюрьму...  
 Но лишь под Плевною вернут  
 с наградой чин ему.

А внук его, штабс-капитан,  
 военный инженер,  
 спец по мостам и блиндажам  
 и храбрый офицер,  
 перед отправкою на фронт,  
 в Сибирь, на Колчака,  
 кадета-сына приведёт  
 в кавшколо РККА...

## 1920

Предки все военные.  
 Долгий конный след...  
 Скачут поколения  
 от петровских лет.  
 Не считая прибыли,  
 зная лишь расход,  
 в век двадцатый прибыли  
 и в двадцатый год.  
 Полные шестнадцать,  
 боевая честь, –  
 силы есть сражаться  
 и уменье есть.  
 Панскую ораву  
 размолотим в пух!  
 Клич «Даёшь Варшаву!»  
 будоражит дух.  
 Ветром тучи сдвинулись,  
 начало яснеть.  
 Музыканты вскинулись,  
 засверкала медь.  
 Звуки звонкой краски  
 брызнули в зенит.

Марш кавалергардский  
 голову пьянит...  
 ...Хмара предрассветная –  
 ни луны, ни звёзд.  
 В сторону советскую  
 тянется обоз.  
 Конвоиры конные  
 семечки грызут.  
 Санитары сонные  
 раненых везут.  
 Днём-то путь опасный  
 мимо панских мест...  
 Но под утро красный  
 встретился разъезд.  
 Наши пограничники –  
 значит, можно жить...  
 – Что везём, станичники?  
 Нет ли закурить?  
 Будто нет усталости,  
 переводят дух.  
 – Это вот осталось  
 от дивизий... двух!  
 А на той подводке  
 (как махра, крепка?)  
 пацанёнков двое –  
 от всего полка!  
 ...Двое только выжили  
 из всего полка.  
 Лошади их рыжие  
 не для них пока.  
 Лазареты долгие,  
 скальпели, крючки,  
 кабинеты строгие,  
 докторов очки...  
 Пулями просвистан,  
 рублен с трёх сторон,  
 был по чистой списан  
 конник Эдельстрём.  
 Для войны не годный,  
 больше не солдат,  
 прибыл он в голодный,  
 тёмный Петроград...

**Разговор  
 книгопродавца с поэтом**

Трещали годы двадцатые  
 фанерным аэропланом,  
 жужжали латунным примусом,  
 будили басами гудков.  
 Мелькало недавнее в памяти  
 кадрами киноэкранов  
 с музыкой вместо выстрелов,  
 звона клинков и подков.

И это, недавно минувшее,  
 казалось чужим и прочитанным.  
 Звучало кругом настоящее:  
 «Да здоровствует!» и «Даёшь!»  
 И не было невозможного.  
 Тощая и несытая,  
 грезила светлым будущим  
 двадцатых годов молодёжь.  
 Но возвращались грёзы к земле,  
 побывав на небе.  
 Утрами себя ощущая  
 былинным богатырём,  
 к полудню, в мечтаньях страстных  
 о молоке и хлебе,  
 на биржу труда устремлялся  
 лингвист Александр Эдельстрём.  
 Писали кишки протоколы,  
 финансы пели романсы,  
 и бледная маска голода  
 давно не сходила с лица...  
 Но вот выпускник Иняза,  
 специалист по романским,  
 направлен в книжную лавку  
 учеником продавца.  
 Обслуживал, смело лавируя  
 в труппах печатно-бумажных,  
 нэпманов и совслужащих  
 в толстовках и пиджаках,  
 военспецов, и рабфаковцев,  
 и иностранцев важных,  
 небрежно парирова реплики  
 на всех шести языках.  
 И здесь его, красного конника,  
 но гранда по светским манерам,  
 освоившего политграмоту  
 по высшему баллу ВУД,  
 завмаг познакомил с приятелем –  
 советским миллионером,  
 не нэпманом, а поэтом,  
 поющим свободный труд.  
 Поэт, в бобрах и брильянтах,  
 пыхтел самоваром медным,  
 тасуя бабёнок и мальчиков  
 атласных немецких карт.  
 «А вам богатеть удобно  
 с таким псевдонимом – Бедным?» –  
 атаковал фарисея красный кавалергард.  
 «Удобно, и даже очень! –  
 захохотал писатель. –  
 Я не краду, не граблю – это оплата труда!»

Вы у меня поучитесь  
грамотно жить, приятель,  
если вперёд поумнеете...»  
Но Эдельстрём: «Никогда!» –  
«Ах, невермор... Конечно! Высокие идеалы...  
Вас вдохновляет Герцен?  
А может быть, граф Толстой?  
Аристократов юродивых  
всегда на Руси хватало.  
Но мне ли тянуться за графами?  
Я – человек простой!  
А вы, наверно, из бывших?  
Папаша сыграли в ящик,  
а вы записались сыном рабочего  
от станка?» –  
«Я – из сословия воинов,  
во все времена настоящих!  
Отец – дворянин. В Красной армии.  
Сапёр, командир полка.  
Спешите? Помочь позволите?  
Шуба такая тяжкая...  
Видно, без камердинера  
непросто её надевать?  
И ваши стихи возьмите –  
вот они, целая связка...  
Я лучше снова на биржу,  
чем стану их продавать...».

### Из дневника А. А. Эдельстрёма

«В очках авиаторских, в шлеме  
и чёрных скрипучих крагах,  
посыльный на мотоцикле  
в лавку доставил пакет  
на имя моё. Под расписку.  
С гербовой печатью бумага!  
К воинскому начальнику  
требуют в кабинет.  
Прибыл и доложил – мол,  
списан давно по чистой...  
Но отчитал начальник,  
почти перейдя на мат, –  
меня, продавца книжной лавки,  
филолога и лингвиста,  
за то, что я сам не явился  
в районный военкомат!  
Я мямлил, что по профессии  
я человек гражданский.  
Он: «Узкое понимание интересов страны!  
Чтоб наша Красная армия была  
всесторонне сильной,

знать языки всех народов  
её командиры должны!»  
Вручил он мне направление  
в новую жизни сферу –  
на иностранную кафедру  
(этакий фирменный лист),  
в училище, где готовят  
военно-морских инженеров.  
Теперь я – преподаватель.  
И военмор. И лингвист!»

### По морям, по волнам

Кто сказал, что на море трудно?  
Кто сказал, что легко на земле?  
Миноносец стальной двухтрубный  
по волнам, как верхом в седле!  
По свинцовым волнам балтийским,  
по седым беломорским волнам...  
Здесь, под небом северным низким,  
из души вымывается хлам.  
Здесь простые слова устава  
и железная чёткость команд.  
Здесь морская российская слава  
и солёный боцманский мат.  
Здесь надраенной палубы влага  
и горячий матросский пот,  
ежедневных авралов отвага,  
ежедневный фруктовый компот.  
Сопромат и история флота,  
теплотехника и теоремх,  
вахты, камбуз, у топки работа  
и на травле – до боли смех...  
Убеждение, принуждение,  
расширенья тройного котёл – ...  
и английское произношение,  
и тяжёлый немецкий глагол.  
Неожиданные повороты,  
как на плоскости штурманских карт...  
Не такой ли искал работы  
в синем кителе кавалергард?  
То на списанном крейсере шпаришь  
под железа горячую дрожь,  
то на парусном барке «Товарищ»  
над струёю Гольфстрима идёшь.  
Ты на флоте как будто с рожденья,  
в мире шлюпок и лееров,  
и приносят душе наслажденье  
соль и влага балтийских ветров.  
В тёмных трюмах и классах старинных,  
чей уют угловат и шершав,

учишь красных гардемаринов  
языкам европейских держав!  
А за сталью мостов ленинградских,  
глядя в окна, в чугунную ночь,  
в коммуналке на Краснокабацкой  
ждут скитальца жена и дочь.  
Ждут из плавания и с занятий  
и встречаются всегда вдвоём,  
и слабеет от детских объятий  
военмор, старлей Эдельстрём.  
А на кафедре – достижение:  
хоть училище – не институт,  
о германоязычном спряжении  
напечатан научный труд.  
Сам начальник скрипел с одобрением:  
«Эдельстрём точно немец – педаант!..  
Поздравляю вас с повышением.  
Вы теперь – капитан-лейтенант!»

### Испанский зигзаг

Идут с Пиренеев известия,  
газетные строки взрывая,  
и слышит ухо тревожное,  
и видно для зрячих глаз –  
близка она, революция –  
или война? – мировая...  
«Но почему совершаются  
такие дела без нас?» –  
«Ну, где кому находиться –  
этот вопрос решим ещё,  
и, думаю, нашим решениям  
навстречу пойдёт военком...  
Но вы – на военной службе,  
во вверенном мне училище,  
и место вам – на занятиях,  
капитан-лейтенант Эдельстрём!  
С курсантами, им же на пользу,  
построже, построже будьте.  
Железный режим и порядок –  
традиция флота у нас.  
А об Испании... Слушайте!  
Возьмитесь, организуйте  
испано-советской дружбы общество.  
Это – приказ.  
На кафедре вы единственный  
испанский прилично знаете.  
Устав и программу общества –  
всё у меня утвердить.  
Всё ясно? Вам доверяю.  
Идите и исполняйте!  
Даю шестидневку сроку.  
Исполнить и доложить!

## ЧАСТЬ II

### Я НЕ СОЙДУ С УМА

#### «Красный треугольник»

У тридцать восьмого года  
взгляд непреклонно-суровый,  
чекистская форма одежды,  
непререкаемый тон...  
Службу свою исполняя в особняке  
на Гороховой,  
Шагая по следственной камере,  
ставит вопросы он.  
Вопросы такие ясные,  
продуманные заранее,  
логика неумолимая,  
с классовым точным чутьём:  
«Скажите, как стали шпионом  
на службе франкистской Испании?  
Как изменили родине,  
подследственный Эдельстрём?  
Признайтесь, кто ваш вербовщик,  
какое имели задание,  
кто резидент и агенты,  
входил ли в задание террор?  
Нам-то всё это известно,  
но нужно ваше признание –  
единственное, чем можете смягчить  
себе приговор...  
Сколько вовлечь успели курсантов,  
преподавателей?  
Имеются компроматы –  
и все говорят против вас.  
Испано-советское общество...  
Вы были его председателем.  
Известно, что за два года  
оно заседало... семь раз.  
Не надо о содержании –  
вот у меня протоколы.  
Скажите лучше, кто вами  
руководил извне?  
Какие нужны фашистам  
секреты военной школы,  
чтоб их против нас использовать  
в предстоящей войне?  
Молчите... Опять молчите,  
высокомерно и нудно.  
Дворянские предрассудки?  
Сословная пошлая честь?  
А мне, между тем, признание от вас  
получить нетрудно –

у следователя Иоффе  
 надёжные способы есть.  
 Вот – видите это изделие?  
 Резиновая дубинка.  
 Штамп «Красного треугольника» –  
 как на подошве галош.  
 А как она будет отскакивать  
 от вашего лба и затылка!  
 Ну что? Повторить? Пожалуйста...  
 Ещё, или, может, хорош?  
 Сядьте на стул, успокойтесь.  
 Вот вам вода, папиросы...  
 Может быть, вам и не надо  
 особо себя утруждать?  
 Я написал ответы на заданные вопросы.  
 Ваша задача – прочесть их  
 и каждый лист подписать...  
 ...Так продолжалось полгода.  
 Беседы – сплошь монологи.  
 А что сказать Эдельстрёму?  
 Нечего было сказать...  
 От долгих стояний навтыяжку  
 ныли отёкшие ноги.  
 От «Красного треугольника»  
 горела на лбу печать.

### Новости снаружи и внутри

После месячной передышки  
 распрямился кавалергард.  
 Говорят, стали реже вышки,  
 меньше сроки пошли, говорят.  
 А вчера поступивший профессор,  
 отравитель ответственных жён,  
 сообщил, со ссылкой на прессу,  
 что Ежов из наркомов смещён.  
 Он, похоже, теперь опальный,  
 сам ночами ворона ждёт,  
 и Джембул, акын гениальный,  
 о других батырах поёт...  
 Может, будет Малюта новый  
 хоть немного блюсти закон?  
 Может, выпустит невиновных  
 или пытки отменит он?  
 Но, когда на допрос направлялся,  
 притушил надежды азарт:  
 «Что-то слишком ты размечтался  
 о несбыточном, кавалергард!»  
 Та же в камере следственной лампа  
 наготове – в тысячу ватт,  
 и дубинка с памятным штампом –  
 дознавательный аппарат.  
 Те же блики на пистолете.

Тот же самый допросный лист.  
 Но – другое лицо на портрете,  
 и – повежливей стал чекист.  
 Встал. Прошёлся. Орлиный профиль.  
 С лёгким скрипом сапожный хром...  
 Старший следователь Иоффе:  
 «Добрый день, гражданин Эдельстрём!  
 Разговор для вас не в новинку,  
 тем не менее – дело стоит.  
 Что вы смотрите на дубинку?  
 Это вроде бы реквизит...  
 Я её уберу подальше.  
 Мы же с вами в советской стране!  
 А теперь, без обмана и фальши,  
 попрошу исповедаться мне.  
 Я по-дружески вам предлагаю –  
 согласиться, признать, подписать...  
 Отягчающих нет. Обещаю –  
 вы получите максимум пять,  
 Отсидите, домой вернётесь –  
 срок короткий пройдёт, как сон, –  
 и любимой работой займётесь...  
 Соглашайтесь! Со всех сторон –  
 для меня и для ваших близких  
 это выгодный вариант!  
 Дело всё в пустяке – в расписке...» –  
 «Но ведь я же не виноват!»  
 Так опять недели и месяцы –  
 доверительно, с юморком...  
 Сообщил, что раскрылся на следствии  
 бывший славный железный нарком.  
 Что теперь он уже расстрелян,  
 что ежовщина осуждена,  
 и что многие полетели  
 из чекистов... А в чём вина?  
 «Все мы ходим по острой грани,  
 тут возможен такой финал:  
 не добьюсь от вас показаний –  
 и отправлюсь под трибунал!  
 Вы Иоффе не пожалееете,  
 краснофлотский интеллигент!  
 Только совести вашей лелеете  
 беломраморный монумент!»

### Память как средство от сумасшествия

И в какой-то момент Эдельстрём  
 ощутил, холодея,  
 что теряет рассудок  
 и медленно сходит с ума...  
 Но, как молния, ярко  
 сверкнула надеждой идея,  
 от которой сместились куда-то тюрьма.



переводит глаза, в переносе вонзая врагу  
два луча омерзенья.

В ответ из разъявленной пасти  
истеричные вопли:

«Убью! Уничтожу! Сожгу!»

Наконец-то!

Теперь опускается красная штора.

Он – на рыжем коне.

Сабля. Шпоры. Движенья легки.

Он даёт шенкеля,

и во встречном полёте простора  
возникают в сознании,

в размере галопа, стихи!

Языки позабыты –

остались тоска и надежда,

гнев и нежность,

животные вопли любовной мольбы,

созерцание неба и моря,

случайность и неизбежность,

и багровые сполохи

вечной жестокой борьбы...

Языки позабыты...

Рождаются русские строки.

Как мучительно ищутся самые эти слова!

Работяга-душа воспаряет

к пространствам высоким,

от банальных ходов,

как с похмелья, трещит голова.

Так проходят часы.

Запятые, отточия, точки...

Завершённые строфы

ложатся на тёмное дно...

Снова – взрыв тишины,

и ходячий покой одиночки.

Здесь никто не кричит –

испаряется злости вино...

Ничего, подождём...

Здесь другие найдутся картины.

Будут новые ритмы...

И вот уже, вот уже, вот –

по балтийским волнам,

где в глубинах урчат субмарины,

трёхмачтовое судно

крутым бейдевиндом идёт.

Наклоня бушприт,

по воде – как с горы и на гору.

Опьянённые ветром,

матросы ловки и лихи.

Барк несётся, качаясь...

Во встречном полёте простора

возникают в сознании

в размере волненья стихи!

Пока, гражданин следовательно!

Исчез, растворился в прошлом,

изученный в фас и профиль,

осевший в желудке язвой

следователь Иоффе.

Он так и не выбил признания –

тупой фарисей, позёр...

Особое совещание вынесло приговор:

«...к лишению свободы с содержанием

в ИТЛ сроком на 6 лет,

с зачётом двух лет, проведённых

под следствием, и с запрещением

после отбытия наказания проживать

в 78 городах СССР – сроком на 10 лет».

### Практика стихосложения-2

Кадет, кавалергард незавершённый,

будённовец и книгопродавец,

моряк-балтиец и лингвист учёный

по назначению прибыл наконец.

Сибирь. Краслаг. Обветренные сопки.

Конвой. Барак. Развод. Поверка. Шмон...

Посылки. Письма. Фронтовые сводки.

И рабский труд... Но твёрдо помнит он

святой обет – продолжить и закончить  
своей библиотеки перевод.

В барачные прокуренные ночи,

в нездешний мир отыскивая ход,

он видит жизни праздничные краски

и слышит встречный ветер на лице...

Он в золотой кавалергардской каске,

на рыжем кареглазом жеребце.

Пришпоривает рыжего дракона.

Бока его, как полные мехи...

И в ритме качки и стального звона

рождаются стихи.

Подъём!.. Отбой...

И вот по волнам серым –

флот парусный в кильватерном строю.

И в ритме качки гонит к вышним сферам

он душу неустанную свою...

В высоком напряжённы постоянства,

настроена на резонансный тон,

душа поэта ловит из пространства

всё, что в стихи преобразует он.

### Режим и вопросы языкознания

Но от бешеной скачки

устанет любой жеребец,

при утихших ветрах

расслабляется паруса мускул.

Возвращается в мир,  
                                 измочален полётом, творец,  
 в мир, что тёмен, и грязен, и тускл...  
 Раскрутив маховик,  
                                 не умеет душа отдыхать –  
 пусть стихи подождут.  
                                 Надо память пополнить словами.  
 Столько лет ни единого слова  
                                 не дали узнать!  
 Столько лет – а лингвист ограничен  
                                 шестью языками...  
 Вот настроено ухо  
                                 на еле заметный акцент  
 незнакомых досель  
                                 ударений и придыханий...  
 Заключённый лингвист –  
                                 не учитель уже, а студент,  
 распахнувший свой ум  
                                 для притока желанного знаний.  
 Как он близок, приятен,  
                                 как тёпел – болгарский язык!  
 Как легко и ритмично  
                                 татаканье задних артиклей!  
 Без труда сговорятся  
                                 болгарский и русский мужик,  
 если сходные чувства  
                                 в славянские души проникли.  
 «Се язык православия! –  
                                 голос учителя рек. –  
 И кириллицей мы поделились  
                                 с вами по-братски.  
 Ваши люди в церквах,  
                                 уцелевших в безбожный наш век,  
 обращаются к Богу с молитвой  
                                 по-древнеболгарски».  
 Подивился студент на профессора –  
                                 кто он таков?  
 «Вы – церковный служитель,  
                                 болгарский священник, наверно?» –  
 «Хоть зовусь я – Благой,  
                                 и фамилия даже – Попов,  
 я не поп – коммунист,  
                                 и входил в Исполком Коминтерна!  
 Друг мой Танев – вон, видишь,  
                                 ошкуривает бревно –  
 тоже был в Исполкоме...  
                                 Но в мире всё спутано хитро.  
 И теперь...» – «Но позвольте!  
                                 Три имени этих давно  
 мне знакомы, конечно же, –  
                                 Танев, Попов и... Димитров?

Всем известно, как в Лейпциге  
                                 Гитлер затеял процесс.  
 Вас троих обвиняли, я помню,  
                                 в поджоге Рейхстага.  
 Речь Димитрова помню,  
                                 победу его и приезд –  
 ваш приезд в СССР,  
                                 под защиту советского флага!  
 Как же так? Что случилось?  
                                 И как очутились вы здесь?»  
 Усмехнулся болгарин:  
                                 «Читал ли ты Кэрролла, друже?  
 СССР оказался, простите, странною чудес!  
 Только мы – не Алисы.  
                                 Нам доля досталась похуже...  
 Мы наделали глупостей –  
                                 письма писали в ЦК,  
 Защищали Бухарина, Радека...  
                                 Боже, кретины какие!  
 Не учли, что странною  
                                 железная правит рука,  
 Потому и могуча великая ваша Россия...  
 Говорил нам Димитров:  
                                 «Не лезьте в чужой монастырь  
 Со своими уставами!  
                                 Гости мы, не прокуроры!»  
 Не послушались –  
                                 и из Москвы угодили в Сибирь,  
 Обживаем теперь  
                                 необъятные ваши просторы...  
 Ну, давай, капитан,  
                                 подработай модальный глагол,  
 подготовь пересказ на болгарском  
                                 трёх басен Крылова,  
 а пока на конюшне  
                                 отдраишь как следует пол,  
 речь Димитрова в Лейпциге вспомни –  
                                 от слова до слова!»  
 ...Что болгарский! Два месяца –  
                                 и хоть в Софию езжай!  
 Да ещё и приятно –  
                                 приходят на память молитвы...  
 Но, однако, похоже,  
                                 другие моленья жужжат  
 от соседней конюшни,  
                                 из двери неплотно прикрытой...  
 Ну конечно, молитва!  
                                 Но только... Да это иврит!  
 Образованный, видно,  
                                 работает в лагере конюх...  
 ...На конюшне – старик,  
                                 седовлас и полвека небрит.

«Мануил Соломонович!

А для друзей – дядя Моня».

Мудрый учитель, реб Эммануил,

Талмуда и Торы знаток:

он сразу методу свою предложил –

двойной проводить урок.

«Будем цитировать Ветхий завет –  
из первых глав Бытия...»

Я – на иврите, а ты в ответ –  
на англише для меня!»

Кони в порядке – хоть на пожар!

И в помещении чисто...

В конюшне учится кавалергард

у старого талмудиста.

Шесть месяцев забрал иврит.

Устал язык, глаза и руки.

Но удержаться не велит,

дрожа от страсти, нерв науки.

Нашлись араб, индус и грек,

и негр, учитель суахили,

и сразу трое человек

трём скандинавским обучили.

Растёт багаж, а с ним – запросы.

Хоть здесь не все учителя,

в копилку слов бросает взносы

со всех концов своих Земля.

Зэк не бесплатно получал

веков бесценное наследство –

учителей он обучал

тем языкам, что знал с кадетства.

Платил натурой, как сказал

завмаг с лукавою усмешкой.

Но кто, когда предполагал,

что сможет сын Адама грешный,

одетый в эковскую шкуру,

в неволе знания искать,

а под натурой понимать

не хлеб и сало, но – культуру!

### Год сорок шестой

Война вдали отгрохотала.

На фронт не взяли по статье.

Весна победная настала,

открыв ворота срамоте:

за эшелонном эшелоны –

каратель, староста, палач,

и полицаи, и шпионы,

и немец, из Дахау врач...

Последний год для Эдельстрёма

был слишком долог и тяжёл.

Большой отряд его знакомых

в мир без Гулагов отошёл.

И две последние недели

все мысли, что рождают страх,

чугунно в голове гудели

на выученных языках.

А в самый день освобождения

болгарский брат, Попов Благой

(имевший связи в хлебрезке

и драгоценные довески),

торжественно, как на рождение,

кирпич поднёс ему ржаной:

«Бери на волю Божий дар!

Рубай и помни про болгар!».

## ЧАСТЬ III

### ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ

#### Буханка ржаного хлеба

Такого неурожая

с поволжского голода не было.

Картошка с капустой

в тесто с мукою идут наравне,

чтобы хватило по карточкам

хотя бы чёрного хлеба,

чтобы не голодали выжившие в войне.

Но русскому человеку

без хлеба и чай не в сладость,

и щи отдают помоями,

и горек любой обед...

А есть ржаная буханка – и ничего не надо,

когда человек свободен

и радостью жизни согрет.

Буханка килограммовая

чудесного хлеба ржаного!

К тому же на каждой станции

есть крутой кипяток...

Можно три дня питаться

великим даром Попова,

стихи в голове слагая

под паровозный гудок.

Поезд довёз без задержки

до выбранной остановки.

Буханка пока нетронута.

Спасибо, товарищ Благой!

Но в незнакомом городе –

привычная обстановка:

шагает колонна зэков.

Куда их ведёт конвой?

К вагонам, из пересылки...

В себя погружённые взоры.

Ссутулены серые спины.

Серое шарканье ног.



На полторы пойдёте ставки  
вправлять мозги сибирякам?  
Ну как, согласны? По рукам!»

### **Сибирь, школа, поэзия...**

Вновь, назло врагам и хворобам,  
продолжается ход бытия.  
Белизна трёхметровых сугробов  
и надёжная прочность жилья.  
Только издали вроде бы ясно,  
что за люди – сибиряки,  
а взглядишься – так в каждом классе  
и Кучумы, и Ермаки!  
Здесь лихие чубы казаuchy  
и татарские дуги бровей.  
Узкоглазый народ ясачный  
самых разных туземных кровей.  
Здесь столыпинские поселенцы –  
украинцы и пензяки  
и похожие на индейцев  
енисейские остяки.  
Каждый день над школьными партами  
разноцветные искорки глаз –  
орочён и челдон конопатый,  
круглый шорец и смуглый хакас.  
А воскресным утром на рынке,  
меж возов и торговых рядов,  
местной жизни простые картинки  
городок показать готов.  
Перепляс нетрезвой гармошки,  
лошадиный густой аромат,  
бормотанье глухое картошки  
и пронзительный визг поросят.  
Здесь в корытах безгласные пленницы  
бьют хвостами, блестя чешуёй,  
здесь – налимов и щук поленницы,  
вёдра с крупною сорожнёй.  
Всполошились утки и куры –  
прибыл новый товар живой:  
лисы рыжие и чернобурые  
да медведь, пестун молодой.  
Блеют овцы, сбиваясь тесно,  
и тревожно коровы мычат:  
это вывел охотник местный  
на продажу юных волчат.  
...Эдельстрёму всё это в диковину,  
хоть пошёл уж четвёртый год,  
как вот в этом центре районном  
после лагеря он живёт.  
В двухэтажном пришкольном доме  
дали комнату на двоих.  
Круг друзей и добрых знакомых.

Этажерка трещит от книг.  
По полсутку с учениками –  
кроме школы, ещё на дому...  
Так увлék лингвист языками,  
что покоя нет самому.  
По программе – немецкий только,  
но ведь можно вести кружки!  
И десятки сибирских школьников  
изучают в них языки:  
пригодятся французский, английский,  
итальянский, испанский пойдут...  
Между прочим, слов угро-финских  
можно много услышать тут,  
где живут мордва и эстонцы,  
ханты, «комики»-пермяки...  
Для лингвиста здесь горизонты  
неожиданно широки!  
Но – комиссии, педсоветы,  
план, программа, открытый урок,  
редактура школьной газеты,  
фехтовальщиков юных кружок.  
Рубят шпагами, как мечами, –  
мушкетёры-челдоны лихи...  
...Лишь урывками, больше ночами  
на бумагу ложатся стихи.

### **Слово об учителях**

Побудка, побудка, побудка!  
Над городом долгий гудок.  
На улицу выглянуть жутко –  
за сорок и плюс ветерок.  
Побудка! Гремит умывальник  
осколками тонкими льда,  
и зябко вливается в чайник,  
мечтая согреться, вода.  
По льдистым тропинкам блестящим,  
под утренней бледной Луной  
до школы пробежкой скользящей –  
фигурки одна за одной.  
В бушлатах и телогрейках,  
в кирзухе, в подшитых пимах,  
в шалёнках и рваных шубейках  
под поясом на запахах...  
С тех пор пролетело полвека.  
Той школы давно уже нет,  
но теплится в памяти где-то  
окошек оранжевый свет.  
И в памяти давней не стынют,  
образов многих светлей,  
простые, как лики святые,  
лица учителей...  
В судьбе заменить их некем.

Назад обращая взгляд,  
я вижу – как на линейке,  
шеренгой они стоят.  
Директор – красавец-мужчина,  
враг ябедников и лгунов,  
носитель майорского чина,  
протеза и орденов.  
Гремело, как гром, его имя.  
Отважен, хитёр и речист,  
был он психолог и химик,  
художник, спортсмен и артист.  
Жена его, томная дама,  
по карте гонявшая класс,  
попутно вбивала упрямо  
манеры приличные в нас...  
Не знавшие лекций Карнеги,  
уверенные в себе,  
рядом стоят их коллеги  
по школьной неторной тропе.  
Физрук с океанской кокардой,  
по лыжам экс-чемпион;  
физик Саул из Гарварда,  
«американский шпион»;  
русичка, ступавшая павой,  
в тумане словесных тайн,  
(внучка мятежного пана,  
сосланного на Алтай);  
математичка-матрона,  
пряма и строга, как фриц, –  
воспитанница пансиона  
благородных девиц.  
И военрук галантный,  
строгий, как на смотре  
(потомок врача-голландца,  
приехавшего к Петру)...  
А дальше – седой, невысокий,  
подтянутый джентльмен,  
привыкший к ранжирной стойке  
далёко от школьных стен.  
В глазах голубых навывкат –  
иронии блеск озорной.  
Его окружают на выходе,  
его провожают домой.  
Восьмиметровая комната.  
Доверху в книгах стена.  
Две акварели – помнится,  
Караччи и Бенуа.  
На стульях и на кровати,  
на связках журналов и книг  
расселись десятиклассники –  
конечно, и я среди них.  
У всех – и дела, и свидания –

серьёзная полоса!  
Но как не зайти к Сан Санычу  
хотя бы на полчаса?  
Придём – и торчим нахально  
до вечера, напролёт,  
пока его Вера Михална  
на кухню не позовёт.  
Готовы сидеть и слушать  
про Питер и про Кронштадт,  
о боннах, чудных старушках,  
о подвигах русских солдат,  
и об искателях истины,  
о предках древних родов,  
и о поэтах таинственных  
десятих-двадцатых годов,  
о сабельных схватках жарких  
на той, на гражданской войне,  
о славном трёхмачтовом барке  
на серой Балтийской волне...  
И старые фотки покажет,  
где мальчики в форме кадет,  
и лишь об одном не скажет –  
где пробыл он восемь лет...  
Мы можем лишь догадаться.  
А точный получим ответ,  
когда с реабилитацией  
Сан Саныч получит пакет,  
когда за три дня соберётся,  
отправит свой книжный багаж...  
На этом дорога прервётся  
к нему на второй этаж.  
Мы будем стоять на перроне,  
построившись, как на парад,  
и пялиться в окна вагона  
с табличкой «Иркутск – Ленинград»...  
На окнах раздвинуты шторы.  
А в Питере ждёт их дочь...  
Мы в вузах сдадим на пятёрки  
преподанный Санычем «дойч»!  
Не сразу поймём, – уж простите! –  
не сразу ответим себе,  
что значит отдельный учитель  
в отдельной людской судьбе...

#### Морские поэтические баталии

Восьмой десяток. Можно бы на отдых,  
заняться только творческой работой –  
переводить всё новые созвучья,  
размеры, ритмы, чувства, настроенья  
на русский поэтический язык.  
На нём уже звучат стихи Лонгфелло,  
Гюго и Шторма, Гёте, Ганса Сакса,

Эредиа, Рембо, Парни, Верлена,  
и вышел том Альфреда де Виньи –  
его новеллы помнил на французском,  
как будто стихотворные поэмы...  
Всё, что хранилось в памяти годами,  
явилось книгами за тридцать лет на воле.  
Но творческое дело – это отдых,  
а есть любимый ежедневный труд –  
профессором на кафедре иныза,  
советских обучать гардемарин  
германским и романским языкам.  
Профессор Эдельстрём,

кап-два в отставке,  
не признаёт методик утверждённых  
и требует, чтоб молодцы-курсанты,  
усваивая выбранный язык,  
читали бы поэзию и прозу  
на данном языке и в переводах.  
Сан Саныч на экзаменах суров!  
Курсант продекламировать обязан  
из «Фауста» на выбор, из Корнеля,  
из Байрона, Рембо или де Вега –  
на языках, а после попытаться  
пересказать на русском близко к тексту.  
Но если к тексту пересказ не близок  
или неточно подлинник прочитан,  
профессор с выражением обиды  
поставит «уд» в несчастную зачётку...  
Вы скажете, что «уд» – не так уж плохо?  
Да если б это был нормальный «уд»,  
или трояк по цифровой системе!  
А то ведь наш профессор нарисует  
славянской вязью, даже с твёрдым знаком,  
да после растолкует принародно  
на перемене мичман-эрудит,  
что значит данный «удъ»

по-древнерусски –  
и станешь ты посмешищем для курса,  
для факультета и всего состава –  
от боцмана до вице-адмирала...  
Нет, не бывает позорищу такому!  
И вот уже идут гардемарин  
экзамены сдавать, вооружившись  
стихами тех поэтов иностранных,  
которых кавторанг переводил...  
А вместо пересказа «близко к тексту»  
читают в переводах Эдельстрёма!  
Сначала Саныч слушал изумлённо,  
местами поправлял, не придираясь,  
ходил, сутулясь, и молчал подолгу,  
пока курсант навтыжку стоял...  
Потом однажды, не тая усмешки,

вдруг огорошил хитрых «мариманов»:  
«Что любите стихи – великолепно!  
Но лично мне претит однообразие –  
давайте уж при вашем кругозоре  
ищите и другие переводы,  
а не найдёте – будьте так добры,  
переводите сами... Эко диво!  
Но только, извините, не буквально:  
подстрочник зарифмованный ужасен,  
пусть лучше будет честный пересказ...  
А стихотворный перевод – искусство!  
Здесь надо передать не слово словом,  
не фразу фразой, не сюжет сюжетом,  
но радость – радостью, тоску – тоскою,  
любовь – любовью... Это – перевод!  
Слова при этом – стройматериалы,  
размер и рифма – только инструменты...  
Что значит – переводчик? Он – поэт!  
И что бы ни легло в основу песни –  
свои ли чувства, думы ли чужие –  
неважно, если будет ваше слово  
тревожить души, радовать, печалить  
и чувства добрые, конечно, пробуждать!»  
Но молодость хитра!

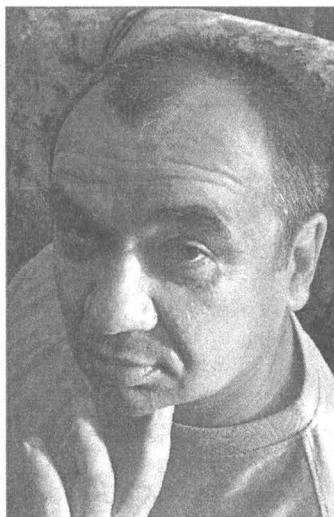
Гардемарины  
затеяли игру на семинарах:  
берётся некий иностранный стих,  
читается, курсанты переводят,  
и вот уже подстрочник на доске.  
А дальше – стихотворный перевод,  
и каждый, кто работу завершил,  
читает вслух своё стихотворенье.  
Последним выступает кавторанг –  
он здесь не только тренер и судья,  
но и участник каждого турнира...  
Не ведает профессор Эдельстрём,  
что все его учебные экспромты  
записывает скрытый диктофон!  
Потом, в казарме, запись расшифруют  
(у кавторанга дикция – что надо!),  
и в папку, под суровый гриф «секретно» ...  
За год проходит тридцать семинаров,  
и столько же профессорских стихов  
ложится в засекреченную папку.  
Сан Саныча курсанты обожают,  
и вот уже четвёртый год подряд  
записывают устные шедевры,  
печатают на глянцевой бумаге –  
готовят самиздатовскую книгу –  
к восьмидесятилетию сюрприз.  
Профессор этих опусов не помнит –  
всего лишь упражнения, учёба...



**Анатолий  
ЯРМОЛЮК**

## **ВПЕРЕД И ДАЛЬШЕ**

(Рассказ  
цыганского барона)



...Нас было ровным счетом сорок пять цыганских душ. Зима застала нас в одном южном городке, название которого я позабыл, да и для чего цыгану нужно это название? Какой в нем прок? Если бы цыган запоминал названия всех мест, где его мотала лихая цыганская доля и куда влекла его лукавая цыганская чергэн, что означает звезда, то у него, у цыгана, не осталось бы в голове места для запоминания всех иных прочих житейских надобностей, а были бы одни только названия городов, сел, рек, дорог... Но цыган помнит все свои цыганские надобности и забывает названия городов и дорог, и в этом, может быть, как раз и заключается цыганская мудрость, благодаря которой цыган выживает на этом – всегда для него неласковом – свете... Итак, зима застала нас в одном южном городке. Здешние цыгане говорили, что в этом городке почти никогда не падает снег и не бывает морозов. И это было хорошо, потому что как ты иначе переживешь зиму, если на твою голову падает снег, и твое тело терзает мороз, и со всех четырех сторон на тебя дуют ветры, а тебе негде укрыться от снега, ветров и мороза?.. А под теплым южным небом можно прожить и без стен... А, кроме того, городок был еще и красив: с трех сторон его окружали синие и высокие – почти до самого неба – горы, посреди городка текла го-

ворливая река, и еще в этом городке, рассказывали, имелся замечательный тарго, то есть базар! Что еще цыгану надо, чтобы провести зиму, не умереть с голоду и с наступлением весны отправиться туда, куда его поманит прихотливая и неверная, как и все на этом свете, дром, что означает дорога?..

19

Ну и вот: мы, сорок пять цыганских душ, решили зазимовать в этом чудесном городке. А еще мы хотели сыграть здесь свадьбу – настоящую, цыганскую. Один из наших, которого звали Арсен, минувшим летом присмотрел себе невесту, очень хорошую цыганочку по имени Ветка. Их пути пересеклись самым внезапным и замысловатым образом, можно сказать, случайно. Хотя – ничего нет случайного в мире, об этом вам скажет любой цыган. Поэтому, будем говорить, Арсена и Ветку свел сам Господь. Они, Арсен и Ветка, познакомились на одном вокзале: наше семейство, все сорок пять душ, намеревалось ехать с севера на юг, а семейство, родом из которого была Ветка, в поисках лучшей цыганской доли кочевало с юга на север. И где-то на полпути между севером и югом случился вокзал, на котором Арсен и Ветка взглянули впервые друг дружке в глаза...

То семейство, к которому принадлежала Ветка, было порядочным цыганским семейством: во

**ЯРМОЛЮК Анатолий Владимирович** родился в 1958 году в Западной Украине. С 1981 года живёт в городе Прокопьевске. Учился в Одесской специальной школе милиции и Новокузнецком пединституте. Работал оперуполномоченным уголовного розыска, учителем, рабочим на заводе, частным детективом, корреспондентом местных и центральных СМИ. Победитель всероссийского конкурса на лучшую повесть (издательство «Сова», Москва), всероссийского конкурса на лучший рассказ (издательство «Олимп», Москва). В 2005 году в московском издательстве «Гелеос» вышел роман «Нежная душа уroda». Живёт в Прокопьевске.

всяком случае, цыганская молва никогда и ничем не судила это семейство, а ведь цыганская молва – самый справедливый судья. И Веткин род также воспринимал нас как порядочное семейство. Ну, а коли оно так, то очень скоро и в нашем, и в Веткином роду стали говорить о свадьбе между Арсеном и Веткой.

У Арсена не было ни отца, ни матери. Его отец, лихой цыган Кузьма, лет десять тому попался на краже, сел в тюрьму да там, в тюрьме, и сгинул. А скоро умерла и мать Арсена Зарма, когда рожала на свет дочку Лялю. Рожать Зарме довелось в пути, на каком-то холодном и грязном полустанке. Обычное, короче говоря, цыганское дело. Обычное то оно обычное, а только Зарма, говорю, при родах умерла. Она умерла, а ее дочка Ляля – выжила. И с той поры я, баро Иван, стал отцом и для Арсена, и для Ляли. А иначе – как? А иначе – давно бы уже перевелся цыганский род на этой неудобной земле...

Вот я-то, как отец, и дал свое разрешение Арсену на его женитьбу, а отец Ветки на то, чтобы она вышла за Арсена замуж. Свадьбу договорились справить ближе к зиме, когда наш род остановится на зимовку. Иначе говоря, свадьба должна была состояться как раз в том самом южном городке, в котором мы и вознамерились зазимовать. В этот городок должен был прибыть и весь Веткин род, и сама Ветка, и иные прочие, находящиеся поблизости цыгане и, может стать-ся, даже и не цыгане... Никому не заказано место на цыганской свадьбе. Всяк, у кого добрые намерения и чистая душа, может присутствовать на этом великом цыганском празднике.

Но – не суждено нам было перезимовать и справить свадьбу в чудном южном городке с видом на синие, почти до самого неба горы. Первой же ночью, когда мы и жилья еще никакого для себя не нашли, а просто приютились до утра в каких-то привокзальных развалинах, к нам явилась здешняя власть. Они окружили нас со всех сторон, закричали, загромыхали сапогами и заскрежетали железом, согнали нас всех – мужчин, женщин с детьми и стариков – в одну кучу и включили прожектора. Огни прожекторов были пронзительно-белые, они хлестали по нашим лицам, впивались в наши глаза и мешали нам дышать. И в свете этих режущих огней власть принялась нас осматривать – каждого по очереди. Нам нечего было скрывать от властей, не было за нашей душой греха. В тех краях, из которых мы в городок прибыли, там, конечно, случалось

всякое. Там случалось и хорошее, и плохое; больше, конечно, было плохого, потому что такова цыганская жизнь, что в ней больше плохого, чем хорошего; но сюда, в этот городок, мы явились чистыми – как перед законом, так и перед своей цыганской совестью. Но попробуй все это объяснить власти, которая возникла среди ночи, выстроила нас посреди улицы и стала полосовать наши лица белыми ножами прожекторов! Ни за что не объяснишь, потому что не придумано еще на земле таких слов, которыми можно было сказать, что цыган – безгрешен и прав. Цыган не может быть безгрешным и правым, потому что он – цыган...

– Выруби свет, начальник! – крикнул кто-то из наших. – Я хочу видеть булыбэн!

– Чего-чего? – возник из темноты какой-то человек, должно быть, самый главный начальник.

– Хочу видеть небо! – опять отозвался кто-то из наших. – Там такие звезды! Каждая из них больше, чем твоя, начальник, кокарда! Там, на небе, есть и моя чергэн! Я хочу ею любоваться, а ты, начальник, мне мешаешь! Кто ты такой, начальник, чтобы мешать мне любоваться моей звездой? Ха-ха-ха...

Конечно же, я знал всех наших. Я был баро, и я был обязан всех знать. Я их знал и по походке, и по голосу, и даже по дыханию. Поэтому знал я и того, кто выкрикнул слова о небе и о звездах. Это был Ян, больше, впрочем, известный по своему прозвищу Ченя, что означало Серьга. Точно, это был он.

– Кто это там такой умный и горластый? – рыкнул начальник с кокардой. – Выдь да покажись, если ты такой смелый!

– И очень даже запросто, начальничек! – задорно отозвался Ян по прозвищу Ченя, растолкал впереди стоящих цыган и возник перед начальником с кокардой. – Вот он, я!

Белые ножи прожекторов вздрогнули, засуетились и скрестились на лице Яна-Чени. Я смотрел на Яна сзади и потому не мог видеть его лица, но я был уверен, что белые ножи света сейчас грызут Яну глаза: у Яна были большие, удивительно прекрасные цыганские глаза, и, наверно, сейчас белые ножи света впились в его изумительные глаза, и оттого Чене было больно смотреть на мир. Ему было больно, но он не пожелал ни заслониться рукой, ни опустить голову, ни отвернуться. Он был очень гордым человеком, Ян по прозвищу Ченя, и он никогда и ни от кого не прятал своих прекрасных цыганских

глаз... Да вот только напрасно он затеял перепалку с начальником, ох, напрасно. Не было в перепалке ни смысла, ни проку. Но попробуй-ка ты его удержи, этого чертова сына Ченю, попробуй ты ему объясни! Всегда он так...

— Вот что я желаю тебе сообщить, умник... — начал было начальник, но затем, видимо, передумал общаться с Яном-Ченей, махнул рукой и спросил: — Кто тут у вас самый главный? Я спрашиваю — кто тут у вас барон?

Так бывало всегда при нашем общении с властью. Так оно было и сейчас. И поэтому я, да и все наши сорок пять душ, знали, что последует дальше. Скорее всего, ничего хорошего...

— Нет у нас никаких баронов, — отозвался я из темноты. — Есть баро. Я баро.

Белые ножи света опять вздрогнули, засуетились, отпрянули от Яна, приблизились ко мне, скрестились на моем лице и полоснули по моим глазам.

— Я баро, — повторил я, невольно стараясь отодвинуть белые ножи света руками. — Убери свет, начальник. Глазам больно...

Начальник не обратил на мою просьбу никакого внимания: что ему была просьба какого-то цыгана. Из-за белых ножей мне не было видно начальника; я слышал только его дыхание и его голос. И этот голос спросил у меня:

— Сколько вас здесь?

— Сорок пять душ, — ответил я.

— Точно? — не поверил невидимый начальник.

— Ну, сочти сам, — предложил я.

Незримый начальник промолчал, а затем сказал:

— Значит, так. Сейчас — без четверти полночь. А через час — чтобы вашего духу в городе не было! Иначе...

Начальник не договорил, да, в общем, в этом не было и надобности. И сам я, и все прочие сорок четыре цыганские души прекрасно знали, что последует за словом «иначе». Ничего хорошего за ним не последует, это уж точно. Иначе — могут арестовать меня, баро, и продержать в тюрьме до тех пор, пока весь остальной табор не внесет за меня выкуп, после чего нам все равно придется убираться из города. Или — могут арестовать всех наших мужчин, и тогда выкуп будет во много раз больше. И никому при этом не интересно, что, может быть, у нас и денег-то — только-только, чтобы не умереть с голоду. Платите выкуп, цыганские ваши души, и все тут! Много чего, повторяю, скверного для нас могло

последовать за словом «иначе»... Поэтому я почти ничего и не сказал невидимому начальнику, а лишь попросил его:

— Позволь нам, начальник, дождаться утра. А уж утром мы и уйдем. Ведь ночь на дворе...

— Вот именно — ночь, — сказал незримый начальник. — А ночь — самое цыганское время! За ночь вы тут такого можете натворить! А потом — ищи вас... Значит — час вам на все ваши цыганские сборы. И ни секундой больше. Все, время пошло. А мы со стороны наблюдаем...

И — белые ножи света сместились с моего лица и суетливо стали шарить по всем прочим сорока четырем цыганам. Цыгане зашевелились и загомонили, как оно обычно всегда и бывает во время сборов в дальнюю дорогу. И только Ян по прозвищу Ченя и с ним еще четыре бедовые цыганские головы даже и шагу не сделали, даже и не наклонились, чтобы подобрать с земли свои скорбные цыганские пожитки и водрузить их на усталые цыганские плечи. Эти пять бедовых голов по-прежнему стояли недвижимо, но это была обманчивая неподвижность. Это была неподвижность хищного зверя, который уже изготовился к прыжку и вот сейчас он прыгнет... И такое дело мне не нравилось, оно меня беспокоило. Куда они собираются прыгать, эти молодые звери, в чье горло они хотят вонзить свои зубы? И — для чего они собираются прыгать, чего они хотят этим добиться? И — что будет потом?..

— Торопитесь, ромалэ! — громко сказал я своим цыганам, а затем обратился к пятерым молодым зверям: — А вы — подойдите ко мне! Все пятеро! Живо!

Они подошли ко мне с неохотой. Они бы и вовсе не подошли, не будь я баро. Но — я был баро, и они вынуждены были мне повиноваться. Таков цыганский закон. Не будь такого закона, может, не было бы уже на свете и самих цыган. Их, как я уже сказал, было пятеро: Ян-Ченя, Егор-Чюри, что означало Егор-Нож, затем — были братья Грубиян и Смутьян (такие имена дала им при рождении их матушка), ну и пятым был Арсен, тот самый Арсен, который был мне как сын и который должен был скоро жениться на цыганке Ветке. Эти пятеро были надеждой и опорой всего нашего рода. Да, нас было сорок пять цыганских душ, но что это были за души? Горькие цыганские слезы, а не души. В основном женщины, дети и старики, такие же старики, как и я сам. У нас было очень мало молодых сильных мужчин. Все наши молодые мужчины сидели по

тюрьмам, а те, кто не сидели по тюрьмам, разбрелись по белу свету в поисках лучшей доли (как будто бы она где-то есть – лучшая цыганская доля) да так и сгнули – без следа и весточки. И, говорю я, среди нас осталось только пятеро молодых и сильных мужчин – тех самых молодых зверей, которых я перечислил поименно. Мы никак не могли потерять еще и этих пятерых. Иначе – пропал бы весь наш род.

– На свете бут дромэ, – сказал я этим пятерым. – Много дорог на свете... Не позволяй нам идти по одной дороге, мы пойдем по другой. Только и всего...

Какое-то время молодые звери молчали, а затем Ян-Ченя угрюмо спросил:

– Пойдем – куда?

– Ангил и дурэдыр, – сказал я. – Вперед и дальше.

– Зачем? – спросил на этот раз уже Егор-Чюри.

– Чтобы дойти, – сказал я.

– А потом? – разом спросили братья Грубиян и Смутьян.

– А потом настанет вечер, а за ним – ночь, а ночью наших слез и нашей крови никто не увидит, потому что и ночь, и кровь по-цыгански звучат одинаково – рат. И ночь – рат, и кровь тоже – рат... – ответил я словами старой цыганской песни. – И не будьте зверьми, чяворо, потому что без вас все мы пропадем...

– А как же моя свадьба? – спросил Арсен.

– Твоя Ветка найдет тебя и на краю света. Так же, как и ты ее, – сказал я. – Поэтому – зачем ты спрашиваешь меня о свадьбе? Вначале – дром и в конце – кхэр. Дорога и пристанище. А затем – уже и свадьба. Дзя, чяво. Иди, парень. И вы тоже все идите. Пора...

Они больше ничего мне не сказали и отошли – все пятеро. Они молча взвалили на свои плечи поклажу и так же молча тронулись в ночную осеннюю тьму. А за ними также молча двинулись и все остальные цыганские души...

Никто из них, конечно, не знал окончания нашего пути. Знал это один я, потому что – какой бы иначе я был баро, если бы я не ведал, куда мне вести мой народ? На сей раз я вел мой народ далеко на восток, за тысячу километров от этого неласкового города. Там, за тысячу километров, располагался другой город, и там я надеялся устроить на зиму мой народ и даже – сыграть свадьбу между Арсеном и Веткой. Мы пришли на вокзал, дождались попутного поезда,

уселись и поехали. Ехать нам предстояло три ночи и еще три дня. Далеко в этот раз позвала нас неумолимая цыганская чергэн...

\*\*\*

Прибыли мы на место вечером. Здесь, в этом далеком городе, было очень холодно. Местами, вдоль заборов и стен, лежал снег. Вдали, за гором, угрюмо и пугающе синел лес – самая настоящая тайга, и оттуда прямо в наши лица дул злой мокрый ветер.

Мы, все сорок пять цыганских душ, прижавшись друг к другу, стояли посреди грязного перрона, всматривались в неведомый для нас мир, и в каждой душе плакала цыганская скрипка. Сорок пять плачущих скрипок, целый цыганский оркестр! Я, конечно, слышал все эти скрипки, иначе – какой бы из меня был баро? И – я знал, что мне нужно как можно скорее сделать так, чтобы этот горький оркестр замолчал. Мне надо было подарить моему народу надежду, и тогда скорбный оркестр умолкнет сам собой. Мне нужно было сказать моему народу правильные слова. «Пойдем, цыгане, туда, где дым, – нужно было сказать мне. – Дым – хорошо, потому что дым – это огонь. А огонь – это тепло и уют. А тепло и уют – это четыре стены и крыша над головой». Вот что я должен был сказать моему народу. Я должен был указать моему народу дорогу к дому и привести их всех в этот дом. Мы все были людьми, а никакой человек не может прожить без дома. Особенно – когда скоро зима...

И я совсем уже собрался говорить своему народу слова про дым, но меня опередили. Меня опередил Ян-Ченя. У Яна была с собой гитара. Он никогда с ней не расставался, он очень хорошо на ней играл, а еще он плясал и пел – словом, Ян был во всем талантливый цыганом. Так вот, Ян-Ченя меня опередил. Он растолкал народ, вышел вперед, сдернул с плеча гитару, но сам играть не стал, а отдал ее Егору-Чюри, по-цыгански щелкнул пальцами и задорно крикнул:

– Мангаса тумэн тэ пилэн амаро подаркицо, ромалэ! Примите наш подарочек, цыгане!

И Егор-Чюри тут же заиграл, а Ян-Ченя пустился в цыганский пляс. Ах, как же он плясал! Он летал, а не плясал, его ноги почти не касались земли! «А-та-та! А-та-та! – приговаривал он в такт музыке и своему танцу. – А-ча-ча! А-ча-ча! Дзя! Дзя! Дзя! Чин! Чин! Чин!..» Цыгане – это всегда дети, а много ли детям надо? Не успел Ян-Ченя еще как следует расплясаться, как я по-

чувствовал – печальные скрипки в душах моего народа начали одна за другой умолкать. Одна, вторая, третья, десятая... А потом и вовсе – те из цыган, которые были помоложе, присоединились к Яну-Чене, да притом так усердно, что только серые, перемешанные с талым снегом комья глины полетели во все стороны из-под цыганских подметок. А-ча-ча! А-чин-чин! Джя! Джя! Джя!..

– Пойдем, цыгане, туда, где дым, – произнес я наконец заветные слова.

И мы все, приплясывая и припевая, пошли. Идти нам было далеко, на другой конец города. Мы шли по-цыгански, то есть гурьбой по всей ширине дороги, невзирая на удивленные взгляды местного народа и злобные гудки встречных и попутных машин. Что нам эти взгляды и гудки? Мы – цыгане, и мы только так и можем ходить по свету, – занимая собою всю дорогу. Потому что дорога – это наше, цыганское. А кроме дороги нам в этом мире ничего больше и не надо. Весь мир – ваш, а уж дорога – наша! А-та-та!.. А-чин-чин!..

Там, на другом конце города, нас ожидал наш цыганский кхэр, то есть дом. Иначе говоря, там, на другом конце города, имелись несколько бесхозных домов-бараков. Об этих бараках я знал еще тогда, когда мы только подъезжали к тому южному городу, откуда нас изгнали посреди ночи. Эти бараки были моим запасным вариантом. Если бы у нас не вышло зазимовать в южном городе (что и случилось), тогда бы нам пригодился запасной вариант. И он нам пригодился. У всякого цыгана всегда должен быть в жизни запасной вариант, иначе не было бы уже на свете самих цыган. Так вот, бараки. Будущей весной их должны были снести с лица земли, и на их месте построить что-то другое: так мне говорил один мой знакомый цыган – баро другого цыганского рода. Но то – весной, а сейчас была только середина осени, а за ней – долгая зима, и до весны эти бараки были вроде как бесхозные. Зимуй не хочу, тем более что в них, в этих бараках, даже, говорили, сохранились настоящие печи! Вот в эти-то бараки я и вел свой малочисленный народ. Ничего: обживемся, перезимуем. Цыгану много не надо. Цыган – сосед уживчивый. Лишь бы его, цыгана, никто без надобности не трогал...

Бараки были на месте – целых три. И печи в них также имелись, и даже окна с дверьми оказались целыми. Цыганские дворцы, а не бара-

ки! Живи и радуйся – аж до самой весны! А то, может быть, в этих-то бараках да в этом-то городе можно будет задержаться и подольше, кто ведает? Цыганские дороги – они долгие, однако же у всякой дороги всегда имеется свое окончание...

Короче говоря, мы расположились, обосновались и даже, спустя два дня, отпраздновали новоселье. Цыганский праздник всегда открыт, бесхитростен и виден издали: приходи кто хочет, располагайся у цыганского огня на общих с цыганами правах и основаниях. Так бывало всегда, так оно случилось и на этот раз. Гаджэ, то есть все те, кто не цыгане, оказались в этом городке вполне дружелюбными. Они возникали из окрестной тьмы, подходили к огню, рассаживались, пили наш чай и всматривались в наши лица... Постепенно завязался разговор. «Как вы, гаджэ, живете в вашем городе?» – спрашивали мы у них. «Ничего, живем, слава Богу», – отвечали нам гаджэ. «На хлебушек-то здесь можно заработать?» – спрашивали мы. «А отчего же нельзя, – отвечали они. – Были бы руки и желание». «А тарго в вашем городке имеется? – спрашивали мы. – То есть – базар?» «А куда же ему деться? – отвечали они. – Есть, родимый». «А другие цыгане в вашем городе проживают?» – спрашивали мы. «Были, да отбыли, – отвечали они. – Вот в этих самых бараках и обрелись. В которых сейчас вы...» «А дружно ли вы с ними жили, с теми цыганами?» – спрашивали мы. «А что нам делить? – отвечали они. – Эти вот бараки? Так кому они надобны? И с вами мы будем жить дружно, если, конечно, вы не станете у нас красть. Ну, а если станете красть, тогда – конечно...» «Нет, не будем мы у вас красть. Мы – честные цыгане», – уверяли мы. «Тогда и лады, – говорили они. – Тогда и живите...»

А потом мы пели цыганские песни, а гаджэ слушали и плакали. Гаджэ всегда плачут, когда цыгане поют. И я не знаю, отчего оно так. И они, гаджэ, тоже не знают. А просто – цыгане поют, а гаджэ плачут...

А еще потом Егор-Чюри играл на гитаре, а Ян-Ченя плясал. Он плясал вместе со своей сестрой Аленой. Вдвоем они были похожи на таинственных черных птиц, которые вдруг возникали из темноты, подлетали к костру и, опасно приблизившись к самому пламени, стремительно шарахались прочь, чтобы через мгновение опять возникнуть из тьмы, опять приблизиться к самому огню с риском опалить крылья и опять отпря-

нуть. Одна птица была побольше, а другая – поменьше...

\*\*\*

На следующее утро после праздника у нас состоялось цыганское совещание. На нем присутствовали все сорок пять цыганских душ, потому что это было очень важное совещание. Мы говорили о том, как нам прожить зиму и не умереть с голоду. Конечно, способов не умереть с голоду у цыган всегда имеется в избытке, иначе давно уже не было бы цыган на этой неприютной земле. Но – большей частью это, конечно, предсудительные, маетные и опасные способы: кражи, жульничества, то-се... А нам не хотелось ни красть, ни жульничать. Ну, не то чтобы не хотелось однозначно и напрочь, вовсе нет. Совсем без краж и без жульничества цыгану не прожить: так уж он, этот свет, устроен, и такое в нем отведено цыгану предназначение. Так вот, речь шла о другом, то есть о том, чтобы нам обойтись безо всякого оголтелого разбойничества. Потому что где разбойничество, там всегда и кровь. И, по преимуществу, это цыганская кровь...

– Значит, так, – втолковывал я своему народу. – У кого имеются ножи, пистолеты и прочие смертоубийственные штуки, пускай тот их спрячет так далеко, что даже сам забудет о том, куда он их спрятал. Потому что – иначе нас могут выгнать из этих бараков. А если нас отсюда выгонят, то очень многие из нас не увидят будущей весны. Короче: мы сюда пришли не стрелять, а зимовать. Всем вам понятны мои слова?

И я с особенным вниманием посмотрел на наших пятерых молодых мужчин, то есть на Яна-Ченю, Егора-Чюри, Арсена и братьев Смутьяна и Грубияна. Потому что это именно к ним в первую очередь относились мои строгие слова.

– Понятны нам твои слова, баро, – ответил за всех Ян-Ченя. – Что ж, зароем наши ножи и станем красть у гаджэ кур и гусей. Скажи, пхуро, можно нам красть кур и гусей? Или даже этого нам нельзя? А если нам и этого нельзя, то – что же нам делать, чтобы не умереть с голоду? Ты скажи, пхуро...

Они, эти пятеро, часто называли меня пхуро. А я и не возражал, потому что я и вправду был пхуро. Я был старик. Другое дело, какой именно смысл они вкладывали в это слово. Иногда в нем угадывалось почтение, иногда – издевка, иногда – строптивость и непокорность... Сейчас в этом слове как раз сквозила почти неприкры-

тая непокорность. Им, пятерым молодым зверям, не хотелось прятать свои ножи и красть кур у гаджэ. Им хотелось другого – всяких лихих дел и, может быть, даже крови. Чужой или своей – это уж как распорядится цыганская судьба...

– Мы пришли сюда не воевать, а зимовать, – повторил я. – Этот город для нас чужой, и нас здесь мало.

И мы приступили ко второму вопросу нашего цыганского совещания. Вторым вопросом была свадьба между Арсеном и Веткой. То был очень непростой и хлопотный вопрос, потому что – уж слишком далеко занесла наш род лихая цыганская доля. Надобно было связаться с тем родом, в котором жила Ветка, и сообщить, где мы обосновались, надо было дождаться приезда гостей и как следует их встретить, много, короче говоря, предстояло нам забот с этой свадьбой. А, главное, надо было задуматься и насчет денег, потому что какая же свадьба без денег? Нет, какие-никакие деньжата у нас, конечно же, имелись; я хранил их при себе в специальной, к телу подвязанной сумке и никогда с сумкой не расставался, но – хватит ли этих денег? А если, скажем, не хватит, то – к какому сроку можно раздобыть еще денег, и, главное, какими способами их можно добыть?.. Множество, повторюсь, вопросов возникло со свадьбой, но и без свадьбы обойтись было невозможно, потому что – как ты без нее обойдешься? Арсен и Ветка любили друг друга, они просто были созданы друг для друга. А, в общем, даже и не это было главным. Главным было то, что Арсен был цыганом, и Ветка тоже была цыганкой. А, значит, и их дети также будут цыганами. И, стало быть, продлится на этой скорбной земле цыганский род. Продлится – хотя бы на одно еще поколение...

Конечно же, мы разобрались со свадьбой. Решили, что свадьба состоится через месяц. Говорили, к той поре в здешних краях ляжет снег, но что цыгану снег? Когда снег, то оно, может, будет еще и веселее: жарче будет пламя цыганского костра, стремительнее будут цыганские пляски, радостнее песни... И так, через месяц, когда ляжет снег, мы собирались сыграть свадьбу. А до той поры всем нашим сорока пяти цыганским душам предстояло много работы. Кто-то из нас должен будет пойти на здешний тарго и разобраться, что там продают и что покупают, чтобы и самим начать покупать и продавать. Другие из нас выйдут на улицы и вокзалы этого городка, в который нас занесла лукавая

цыганская година, и станут искать там тех, кто охоч до цыганского гадания. Дети, наверно, будут попрошайничать и по мелочам привороживать, а те из нас, кто посильнее и попроторнее, запустят руки в чужие карманы и еще станут по ночам красть у гаджэ гусей и кур. Да-да... Конечно, мы обещали гаджэ, что не станем у них красть, ну да ведь всяк знает, что такие обещания — это цыганская, почти безгрешная хитрость, и ничего другого. А не будь такой хитрости, то, может быть, не было бы на этой земле и самих цыган...

\*\*\*

Снег лег за неделю до дня свадьбы. Это был основательный и уверенный в себе снег, такого снега многие из нас никогда еще и не видели. «Ив! — радостно кричали наши дети, да и не только дети, выбегая босиком из бараков и утопая в белом холодном пухе едва ли не по пояс. — Ив! Ив!» Ив по-цыгански и есть снег. Отчего-то нам казалось, что этот ив-снег сулил нам сплошной грядущий праздник, что он укрывал и отгораживал нас от всего того горя, которое, как известно, ожидает цыгана за каждым углом цыганского жилища и за каждым изгибом нескончаемой цыганской дороги...

Но как гласит цыганская мудрость, до цыганского праздника — семь недель пути по бездорожью, а вот до цыганского горя — воробьиный скок. Мы ждали гостей, которые вот-вот должны были прибыть к нам на свадьбу, но взамен к нам прибыли другие гости, и никакой снег не оградил нас от этих непрошенных и нежеланных гостей. Таких гостей мы видели и раньше, а последний раз — в далеком южном городе у подножья синих гор. Эти гости прибыли к нам, как оно и водится, ближе к полуночи, окружили все наши три барака, загремели в наши двери кулаками и сапогами, выгнали всех нас на улицу и стали полосовать пронзительно-синими ножами прожекторов. Мне даже на миг почудилось, что эти незваные гости прибыли из того самого южного и далекого города, вот только они сменили свои прожектора, и теперь их прожектора стегают нас не белым, а синим светом... Но, конечно же, это были другие гости, просто они были похожи на тех, прежних, так, как одна беда бывает похожа на другую беду. Все цыганские беды на одно лицо — так гласит другая цыганская мудрость...

— Выключи свой свет, командир! — как всегда, задорно выкрикнул Ян-Ченя. — Я хочу смотреть

на небо и любоваться моей чергэн, а твой дурацкий свет мне мешает!..

— Это кто тут у вас такой умный? — выступил из снежной полутьмы самый, должно быть, главный начальник.

— Я тут самый умный, — насмешливо отозвался Ян-Ченя и тотчас же выступил вперед.

— И я, — тут же сказал Егор-Чюри и также сделал три шага вперед.

— И еще я! — отозвался Арсен и также стал рядом с Яном и Егором.

— И вдобавок оба мы! — разом произнесли братья Смутьян и Грубиян и оказались вместе с остальными.

— Со родэса ту, начальник? — по-прежнему насмешливо произнес Ян-Ченя. — Что ты здесь потерял посреди ночи?

Но здешний начальник не пожелал вступать в разговоры с пятью молодыми насмешливыми зверьми. Вместо разговоров он только поднял руку, и из-за его спины выступили трое или четверо и наставили на молодых зверей оружие. Они нас боялись, наши непрошенные гости! И это было плохо. Это было так плохо, что даже и не сказать как...

— Кто тут у вас старший? — спросил самый главный начальник.

— Я, — отозвался я, подошел к пятерым молодым зверям и тихо им сказал: — Джявэ, чяворо. Отойдите в сторону. Я сам...

Они отошли — медленно и нехотя. А я спросил у самого главного начальника:

— Что вам надо?

— Кто вам разрешил здесь поселиться? — спросил у меня самый главный начальник.

— Разве мы кому-то здесь мешаем? — спросил я ответно.

— Я спрашиваю — по какому праву вы здесь поселились? — повторил свой вопрос начальник.

И — опять же — то, что он повторил свой вопрос, было очень плохо. Тот, кто повторяет вопросы, не желает слышать на них ответы. Повторение вопроса — это всегда предвестие беды...

— Мы не сделали никому ничего плохого, — сказал я. — Мы просто поселились в ничейных домах, потому что наступила зима. Закончится зима, и мы уйдем. Разреши нам, начальник, здесь перезимовать. Мы люди тихие, зла никому не делаем, не разбойничаем и не крадем...

— Это вы-то тихие? Это вы-то не разбойничаете и не крадете? — с насмешливой угрюмостью

произнес начальник. – Да с того времени, как вы здесь поселились, город стал не город, а черт знает что! Куда ни сунься – везде цыгане! На базаре, на вокзале, на всех улицах... Не город, а цыганский табор!

– Нас всего-то сорок пять душ, – сказал я.

– Сорок пять, а крадете – будто вас сорок пять тысяч! – повысил голос начальник.

– А ты нас, начальничек, за руку поймал, что-бы говорить такие слова? – подал голос Ян-Ченя. – Ну, так кого из нас ты поймал за руку?

– Когда поймаю – то и разговор будет особый, – сказал начальник.

– Так ты вначале – поймай! – откликнулся на этот раз уже Егор-Чюри.

Зачем они опять ввязались в разговор, наши молодые звери? Для чего они своими ненужными словами дразнят самого главного начальника? Самого главного начальника дразнить не следует, с ним надо вести беседу совсем по-другому... Я знал, как надобно вести беседу с самым главным начальником, потому что я был баро и пхуро – глава табора и старый цыган. Если бы я этого не знал и если бы этого не знали другие баро и старые цыгане, то, может быть, не было бы на этой земле и упоминания о цыганах...

– Ша, чибакиро! – прикрикнул я на Яна-Ченю, а заодно и на всех других молодых зверей и обратился к начальнику: – Я вот что думаю, уважаемый начальник. Сейчас – ночь, и всем нам холодно и хочется спать. И тебе самому хочется спать, и нам тоже. А потому я вот что предлагаю: давай мы сейчас разойдемся, а завтра утром встретимся опять. Но не все, а только ты и я. Где ты пожелаешь, там мы и встретимся. И продолжим наш разговор...

– Хм! – важно сказал на это самый главный начальник, как бы меня не понимая и как бы со мной не соглашаясь. Но я-то знал, что он меня понял, и он со мной обязательно согласится. Потому что – много встречалось на моем веку таких вот начальников, и все они бывали похожи друг на друга так, как, скажем, походили один на одного братья Смутьян и Грубиян.

– Ну так мы договорились, начальник? – уже настойчивее спросил я.

– Хм! – еще раз произнес начальник и сделал вид, что впал в глубокие раздумья. – Хм... Значит, так. Быть завтра у меня – ровно к девяти ноль-ноль. Чтоб ни минутой позже – ты меня понял?

– Очень даже хорошо я тебя понял, начальник! – тут же отозвался я. – Быть завтра у тебя – ровно в девять ноль-ноль. Что же тут непонятного? Обязательно буду!

– Ну-ну, – сказал самый главный начальник и взмахнул рукой.

И – тотчас же синие ножи света погасли, и всех нас обступила такая тьма, что даже снег нам показался черным. Я вслушивался в эту тьму и слышал, как по черному снегу уходили от нас непрошенные гости.

– Цыпа, – сказал голос из тьмы, и этот голос принадлежал, конечно же, Яну-Чюри. «Цыпа» по-цыгански означало «шкура», и этим-то словом Ян-Чюри обозвал, конечно же, самого главного начальника.

– Жэко кирло... – сказал затем во тьме и Егор-Чюри. – По горло...

Я чувствовал: и «цыпа», и «жэко кирло» были не просто обрывками фраз, нет, они были обрывками мыслей и желаний, и в них таилось угрюмое бессилие перед жизнью, ощущалась отчаянная ярость загнанного в угол зверя... Я это чувствовал, потому что я был баро и пхуро...

– Все, – как можно громче сказал я – так, чтобы слышал и мой народ, и уходящие от нас незваные гости. – Все, все, ромалэ! Всем – спать! Все в порядке!

Мой народ молча стал расходиться. Я уже свыкся с тьмой, она стала проясняться, и мир начал приобретать свои обычные цвета – черный вверху и белый внизу. И посреди белой половины мира неподвижно темнели пять человеческих фигур. Это были они, пятеро молодых зверей. Отчего-то они не желали уходить в тепло, а все стояли и безмолвно смотрели во тьму вслед за ушедшим непрошеным гостям. Я подошел к ним и встал рядом. Я ничего им не сказал, да и нечего мне было им говорить. Мы понимали друг друга без слов. Я постоял рядом с ними минуты три или четыре и пошел в барак. За моей спиной заскрипел снег: все пятеро молодых зверей также пошли вслед за мной...

\*\*\*

Всякая встреча цыгана с начальником – дело непростое и тонкое. Ну, в самом деле: кто ты, цыган, на этом свете таков, и – кто таков на этом свете начальник? Именно от него, от начальника; зависит твоя цыганская судьба и жизнь, а не наоборот! Так оно всегда было, так оно и будет, пока не переведется на этой земле цыганский

род. И ничего тут не изменишь и не исправишь. И поэтому к такой встрече всегда надобно готовиться загодя.

Что я и стал делать, как только вернулся в барак и как только угомонился мой народ. В бараке синей в белых цветах занавеской был отгорожен угол, где я обитал вместе с моей супругой — бабкой Азой. Отдельное, отгороженное место нам с бабкой Азой полагалось по особому цыганскому закону, потому что, как-никак, я все же был баро, а бабка Аза была моей супругой. Ну и вот: дождавшись, когда угомонился мой народ, я тут же стал готовиться к завтрашней встрече с самым главным начальником.

Перво-наперво я полез под свою одежду и отстегнул сумку с деньгами, которую, говорю, я всегда держал при себе. Впрочем, всегда, да не всегда: бывали отдельные моменты, когда я эту сумку отдавал на сохранение самым моим близким людям, — а кто, скажите, для человека может быть ближе, чем жена? Моя завтрашняя встреча с начальником как раз и была таким — отдельным — моментом. Ни в коем случае нельзя было идти к самому главному начальнику со всеми деньгами: меня могли обыскать, могли даже посадить в кутузку, и это все означало, что обратно я своих денег не получу никогда. Это вам может подтвердить любой на свете цыган и, наверно, любой на свете начальник, если, конечно, вам этого начальника удастся вызвать на откровенность. Поэтому-то я достал из сумки сколько-то бумажек, затем опять застегнул сумку и молча протянул ее моей супруге бабке Азе. До той поры, пока я не вернусь от самого главного начальника, именно бабка Аза должна была стать главным хранителем таборной кассы.

— Жэко кирло... — угрюмо произнесла моя супруга бабка Аза, принимая от меня сумку, и я вспомнил, что совсем недавно эти же самые слова я слышал от одного из молодых зверей — Егора-Чюри. И какое-то смутное предчувствие неминуемой беды вдруг возникло в моей душе: именно так, неминуемой — несмотря на мой завтрашний поход к самому главному начальнику. Впрочем, я не обратил на свое предчувствие почти никакого внимания: в конце концов, вся цыганская жизнь в основном и состоит из таких вот предчувствий, а потому — для чего о них напрасно и размышлять. Если доживем до завтрашнего дня, то и увидим, сбудется мое предчувствие или не сбудется...

...Ровно в девять ноль-ноль следующего утра я уже был у дверей начальничьего кабинета, уселся на скамью и стал терпеливо ждать. Конечно же, я знал, что ни в девять, ни в десять, ни в одиннадцать, ни даже, может быть, в двенадцать часов я не войду в начальничий кабинет. Я буду терпеливо ждать у дверей, а начальник станет делать вид, что он слишком занят, что он меня не замечает и вообще не знает, кто я такой и для чего безропотно маюсь у его дверей. И только где-то после полудня начальник меня позовет в кабинет, и вид при этом у начальника будет очень грозный, озабоченный и недовольный...

Так бывало всегда, так оно случилось и на этот раз. Где-то в половине первого начальник вышел из своего кабинета, посмотрел на меня долгим и грозным взором и сделал затем жест рукой: заходи, мол, цыганская твоя душа, коль уж ты явился...

Я зашел, остановился у порога, сдернул с головы шапку и стал оглядывать начальничий кабинет. Кабинет был как кабинет: таких кабинетов за свою цыганскую жизнь я навидался немало. И сам начальник также ничем не отличался от всех прочих мною виденных начальников. А из всего этого следовало, что и все иное прочее пойдет по хорошо известному мне порядку. И это было хорошо, такой порядок меня устраивал. Конечно, мне было жаль тех денег, которые я должен буду отдать начальнику, но что поделаешь, коль этот мир устроен так, что цыган за свое в нем пребывание обязан платить. Нравится цыгану или не нравится, но таков закон жизни, и если бы цыгане не исполняли этот закон, то, может, не было бы на свете и самих цыган...

— Ну? — тем временем спросил начальник, не глядя на меня, а, наоборот, глядя в какие-то свои бумаги. — Кто ты такой и что тебе надо?

— Хи-хи-хи! — ответил я начальнику и сделал придурковатое лицо.

Я нарочно сказал «хи-хи-хи» и нарочно сделал придурковатое лицо. Я всегда так поступал в разговорах с большими начальниками, потому что — я это знал — большие начальники всегда с неохотой общаются с умными цыганами. Умный цыган — он ведь непредсказуем, он может и в цыганские амбиции удариться, и затаить на начальника в своей цыганской душе злобность... А с глупыми цыганами начальники общаются охотнее. В самом деле — что взять с глупого цыгана, кроме, разумеется, мзды? Возьмешь ты, значит,

с глупого цыгана мзду, скажешь затем ему: «Пшел вон!» – он и пойдет. И все будет шитокрыто, потому что цыган – глупый, а ты, начальник, умный... Вот потому-то я и прикинулся в разговоре с нынешним начальником глупым цыганом. Мне надо было спасти свой народец, надобно было также сыграть свадьбу Арсена и Ветки, а как, скажите, все это можно сделать? Да только так, прикинувшись дураком перед начальником. Ну, а что я при этом чувствовал в своей душе, как она при этом рыдала, моя цыганская душа, кому какое дело? О том знал я один да еще Господь на небе...

Начальнику, судя по всему, понравилось и мое «хи-хи-хи», и мое придурковатое лицо. Он перестал копаться в своих бумагах, взглянул на меня благосклонно и сказал:

– Кгм...

А мне больше ничего было и не надобно, потому что я прекрасно знал, что означает начальничье словцо «кгм». По-прежнему держа в руках шапку и сохраняя на своем лице дурацкое выражение, я мелким шагом приблизился к начальничьему столу и сунул под какую-то начальничью бумажку грязноватый сверточек. Оно, видите ли, так полагается, чтобы сверточек был грязноватый, потому что, с точки зрения всяких начальников, у цыгана не может быть ничего чистого: ни рук, ни лица, ни души, ни, соответственно, сверточка. А если бы, допустим, цыган сдуру сунул бы начальнику сверточек чистенький, то начальник, конечно же, также этот сверточек принял, но затаил бы в своей начальничьей душе угрюмое к цыгану подозрение, и оно, это подозрение, непременно бы вышло цыгану боком. Не завтра, так послезавтра...

– Кгм... – еще раз произнес начальник, когда сверточек надежно укрылся под бумагами.

– Все, начальник, в норме, и порядок мы знаем, – дурашливым полушепотом сказал я. – И порядок мы знаем, и расценки также нам известны... Ты не беспокойся, начальник...

– Ну, вы там у меня глядите! – впервые отозвался начальник по-людски. – Чтоб сидели у меня тихо! Чтоб у меня – ни-ни! А весной – чтоб катились на все четыре стороны! Даже на все шесть, – то есть еще под землю или на небеса! Гы-гы-гы... Все, пшел вон!..

– Премного тебе благодарен, начальник, за такую твою доброту! – изогнулся я в поклоне. – Не беспокойся, все будет тихо! Мы только на базарчике... барахлишком... то есть мы малость

поторгнем... да еще свадебку справим – и все тут... А затем – весна, и только ты, начальник, нас и видел! Еще раз – исключительно мы тебе за все благодарны!

Но на сей раз начальник не сказал и вовсе ничего – будто бы меня в его кабинете уже и не было. Я попятился задом к дверям, задом же их и отворил и очутился в коридоре. Все вроде бы было на мази, и, сдавалось, особо печалиться было не о чем, однако отчего же тогда плакала моя душа? Она плакала, будто бы что-то предчувствовала – горькое, страшное, а, может, и вовсе погибельное...

– Жэко кирло... – угрюмо сказал я сам себе, надел шапку и отправился сообщать своим цыганам, что все в порядке и мы можем жить в наших бараках до самой весны...

\*\*\*

Гости стали съезжаться на свадьбу еще загодя, за два дня до её начала. Вместе со всей родней прибыла и невеста Ветка, – а то как же иначе? Жених Арсен тотчас же бросился Ветке навстречу, от счастья даже позабыв надеть башмаки. И как же они, Ветка и Арсен, смотрели друг на дружку, и сколько же любви было в их глазах! И только потом, минут, наверно, через десять, Арсен ощутил некоторое несоответствие и обнаружил, что на дворе – зима, а он сам – без башмаков. Все весело смеялись...

Я нарочно не стану описывать в подробностях свадьбу: не о ней мой рассказ. Скажу только, что свадьба удалась так, что лучше и не бывает. Погода выдалась чудная: не морозно, а даже совсем наоборот – в окрестном мире воцарилась дымчатая, задумчивая теплынь. Снег под ногами был таинственно-синим, ветер доносил к нам запах едва-едва начинающих подтаивать дорог, и этот запах будоражил наши цыганские души. Из окрестных домов и городских переулков к нам стали подходить гаджэ. Вначале они недоверчиво стояли поодаль, затем осторожно к нам приближались и еще затем – занимали равноправные места за цыганскими праздничными столами и у цыганских костров, потому что никому не заказано место на цыганской свадьбе – лишь бы у гостя не было злобы в душе.

И – завихрилась-забурлила цыганская свадьба, как, бывает, вихрится и бурлит весенняя река, которая не вмещает в себя все окрестные весенние воды! Ах, как жарко горели в ту ночь цыганские костры, как щедры и неиссякаемы были сва-

дебные столы, как самозабвенно плясал Ян-Ченя со своей сестрой Аленой, а вслед за ними – и Егор-Чюри, и братья Смутьян с Грубияном, и все иные цыгане, и не только цыгане, но и гаджé! Ах, как нежно смотрели друг дружке в глаза молодые – Арсен и Ветка! Но ведь и это было еще не все! Еще – Веткин род привез с собой целых три цыганских воза настоящих, живых роз! Я понятия не имею, как им удалось уберечь эти розы от стужи, но они их уберегли, и теперь розы алым ковром ложились под ноги Арсену и Ветке, и роз было так много, что из-за них почти не было видно снега. Алые розы на белом снегу, и на них – трепещущие отблески цыганских свадебных костров, и ночная тьма, и ветер, который пахнет подтаявшей дорогой – вы мне скажите, разве может что-нибудь быть волшебнее, чудеснее, прекраснее?..

...И как раз в такое дивное время ко мне дошел один из наших. Он поманил меня рукой, чтобы я шел за ним, и умолкнувшая было моя душа опять затосковала и заплакала. Потому что – нехорошо, когда свадьба, и веселье, и костры, и алые розы на снегу, а кто-то манит тебя рукой во тьму. Это означает неминуемую беду. А для чего нужна беда, когда свадьба? Не нужна беда, когда свадьба...

– Там он... – нехотно сообщил мне один из наших, когда мы оказались во тьме. – Ну, он... вчерашний начальник, и с ним – еще то ли четверо, то ли пятеро. Хотят говорить с тобой... Зови, говорят, вашего старшего...

Я даже не стал спрашивать, о чем эти непрошенные гости хотят со мной говорить. И без того было ясно, что ни о чем хорошем. О том мне подсказывала моя рыдающая душа.

Они стояли во тьме и не желали выходить на свет. Их было пятеро: сам начальник и четверо его спутников. Может быть, во тьме скрывался еще кто-то: даже наверняка скрывался, потому что злые дела всегда творятся многими людьми, это только добрые дела делают в одиночку...

– Здравствуй, начальник, – как можно приветливей сказал я. – А у нас свадьба. Сына женю. Настоящая свадьба, цыганская... И цыгане на ней, и не цыгане... много у нас гостей, и каждому мы рады! Проходи и ты, начальник. Проходите все и будьте нашими добрыми гостями!..

Но начальник, это было видно по всему, не желал быть гостем на свадьбе. Он желал быть кем-то иным, носителем черного горя, непопра-

вимого зла... Он по-прежнему стоял во тьме, и те, кто его сопровождали, стояли с ним рядом.

– Значит, говоришь, цыгане и не цыгане? – наконец спросил он у меня. – Ну-ну... Мало мне твоего табора, так еще и другой табор на мою голову. Так мы с тобой не договаривались...

– Так они уедут, начальник! – заверил я. – Вот как только закончится свадьба, они сразу же и уедут!

– Уедут, ты говоришь? – проскрипел во тьме начальник. – Конечно, уедут! А только – прежде чем они уедут... прежде чем вы все отсюда уберетесь... эдак и от города ничего не останется... все разворуете! Знаю я вас!

– Мы ничего не украли, начальник.

– Ну да? – очень весело спросил начальник. – Неужели? Ты в этом полностью уверен?

Конечно же, я не был ни в чем уверен. Я не был уверен даже в своем народце, а не то что в приезжих цыганах, которых я и вовсе не знал. Кто их ведает, может, что-нибудь они и успели мимоходом украсть по въевшейся в цыганскую кровь привычке, потому что – как прожить на свете цыгану, чтобы совсем ничего не красть? Невозможно иначе прожить цыгану... И одолеваемый такими рассуждениями, я ничего не ответил начальнику на его вопрос, а только повторил:

– Они все уедут, начальник. Закончится свадьба – и уедут. Через два дня...

– Завтра утром! – отрубил начальник. – И они, и вы! Все разом! Чтобы вашего цыганского духу завтра не было! Иначе – сильно пожалеете!

На такие слова я и вовсе ничего не ответил, потому что мой житейский опыт мне подсказывал – не о чем было тут говорить. Совсем не о чем: ни о том, что цыганская свадьба длится два дня, а то, бывает, и больше, а завтрашнее утро – вот оно, и потому нам никак невозможно убраться с города утром, ни о том, что я, как-никак, за то, чтобы жить в этом городе до весны, заплатил начальнику немалые деньги... Не было также проку просить начальника о милосердии и сострадании, потому что – нет на этом свете никого, кто был бы милосерден к цыганам... Так что же мне, старому баро, было делать? Этого я не знал: я лишь молча постоял еще с минуту перед пришельцами из тьмы, затем повернулся и пошел к цыганским кострам. Я шел и какой-то, совсем крохотной частицей своей души надеялся, что пришельцы меня окликнут, скажут, что свои губительные слова они сказали просто так, для пущей острастки, а на самом-то деле все оста-

нется, как и было, аж до самой весны... Всякий человек – он так уж устроен, всегда надеется на лучшее, а цыган – он такой же человек, как и все прочие. Но – никто меня не окликнул. Для чего им было меня окликать? Они мне сказали все, что хотели сказать...

...– Кто это был? – раздалось рядом со мною, и я вздрогнул.

Напротив меня стояли наши молодые звери – надежда и опора всего нашего табора. Их было четверо: Ян-Ченя, Егор-Чюри и Смутьян с Грубияном. Пятого, то есть Арсена, с ними не было, да и быть не могло: у Арсена была свадьба, он женился на Ветке, очень хорошей цыганочке из другого цыганского рода. Наверно, вся четверка заметила, что я отлучился, а может, они даже выследили меня и все видели и слышали...

– Кто это был? – повторил свой вопрос Ян-Ченя.

– Вчерашний начальник, – сказал я.

– Зачем? – спросил Егор-Чюри.

– Так... – сказал я. – Пришел проверить, все ли в порядке. Пришел и ушел... только и всего.

– Ну-ну, – хором сказали на это братья Грубиян и Смутьян.

Наверно, они все-таки не слышали, о чем я говорил с пришельцами из тьмы. И, может быть, как раз в этом и было наше всеобщее цыганское спасение. Потому что – я не представляю, что могло случиться, если бы эти молодые звери слышали мой с начальником разговор. Тогда могло случиться все что угодно, много беды: свадьба, пьяные цыгане и вдобавок пьяные гаджэ... ох, сколько же беды могло произойти, если бы кто-нибудь слышал, о чем я беседовал с начальником! Но – никто не слышал нашего разговора. И потому я, старый баро, буду всем лгать. Я буду всех обманывать и надеяться, что до утра начальник образумится и учтет, что – цыганская свадьба, что – на ней много пьяных цыган и гаджэ, и все в итоге будет хорошо, и неласковый цыганский Дэвэл, что означает Бог, в кои-то веки смилостивится над своим многогрешным народом... И так, никаких начальничьих угроз не было, свадьба – продолжается, пой-гуляй, цыганская душа, а ты, мое старое сердце, утихни и не предвещай беду...

– Пойдем, – сказал я четверым молодым зверям. – Там – свадьба...

Но они не хотели уходить. Они, все четверо, стояли, и всматривались, и внюхивались во тьму – так, как будто бы они что-то чуяли

и о чем-то догадывались, и не доверяли мне, своему старому баро...

– Пойдем, – позвал я их еще раз.

– Так что же хотел от тебя этот цыпари? – отозвался из тьмы Ян-Ченя.

– Я все вам сказал, – ответил я. – Пойдем...

– Наша джеибэ – шэло, – словами старой цыганской песни угрюмо изъяснился Егор-Чюри. – Наша жизнь – петля... Что ж... Пойдем, ромалэ, туда, где свадьба... Пойдем, пхуро...

Цыганское слово «цыпари» означало «живодер» и было цыганским ругательством, а может, даже проклятием. И стариком они меня назвали не просто так. Они, эти четверо молодых зверей, явно чуяли грядущую беду, потому что – они были зверьми. Но ведь чувства нас иногда обманывают, разве это не так? И я сам также ничего им не скажу, а там – настанет утро...

\*\*\*

Свадьба угомонилась, когда на востоке уже смутно и угрюмо заалела будто подернутая пеплом цыганского костра утренняя заря. И ромалэ, и гаджэ разошлись по углам и заснули, надеясь с рассветом проснуться и продолжить веселье. Молодые – Арсен и Ветка – еще раньше удалились в специально для них сооруженный цыганский шатер. Там, в шатре, они должны были совершить великое человеческое таинство, а когда над миром поднимется солнце, преподнести миру, солнцу, всем гостям и, наверно, самому Богу символ этого таинства – белую простынь, украшенную алым пятном. Так было всегда на цыганских свадьбах, так оно останется до тех пор, пока не прейдет сам мир, или покамест не исчезнут из мира цыгане. Но пока жив мир и живы в нем цыгане, всегда будет развеваться на утреннем ветру цыганский чистый и святой символ...

Не спали только пятеро: я сам, а также четверо молодых зверей. Я не спал по известной причине: у меня из головы не выходил ночной разговор с начальником. Мое старое цыганское сердце упорно вещало неминуемую беду. Я, как мог, старался урезонить свое сердце, приводил ему всяческие доводы, но оно не умолкало. А отчего не спали четверо молодых зверей, я не знал. Не знал, но – догадывался. Они следили за мной. Они мне, своему старому баро, не доверяли. Они подозревали, что я их обманул. Они сидели на корточках вокруг погасшего костра и смотрели попеременно то в тускло мерцающий холодный жар ранней утренней зари, то, вдруг

разом вскинув головы, начинали всматриваться, вслушиваться и внюхиваться в серое зимнее предутреннее пространство.

Мне надо было развеять их смутные подозрения и их звериное ощущение грядущей беды. И я, напустив на себя легкомысленно-блаженное состояние, стал лениво всматриваться в занимающуюся зарю и запел цыганскую песню. «О заборо роскэдава да явава, дэвлалэ, кэ ту да мэ. Мэ мэрава, мэ хасёвава, мири гожо, мэ мэрава хаsiём. Разговаривать не стану...» – пел я. Но – я это чувствовал – песня у меня получалась плохо. Молодые звери сидели напротив меня, слушали мое фальшивое пение и молчали. Я прервал песню на полуслове, встал и отправился в свой барак. Я вошел в свой закуток, поплотнее задернул цветастую занавесь, упал на колени и стал молиться Богу.

«Дэвлалэ, – молил я незримого Господа. – Ты слышишь меня или не слышишь? Это я, старый и грешный баро Иван! Послушай меня, Дэвлалэ! Много просьб у меня к Тебе не будет, а всего только одна. Только одна, Господи! Пускай сегодняшнее утро начнется и закончится, и Ты сделай так, чтобы ничего худого в это утро не случилось. Потому что нынешнее утро – Ты, Боже, знаешь о том и Сам – утро особенное. Свадьба, Дэвлалэ, между двумя цыганами – Арсеном и Веткой. И разве Ты не знаешь, что оно означает? Это, Господи, означает, что продлится цыганский род на земле, хотя бы еще только на одно поколение, но – продлится... И ради этого, Боже, прости своих грешных детей и меня, старого и грешного, Ты также прости и сделай так, чтобы ничего худого в это утро не случилось...»

Я закончил молитву, умолк и услышал, как за моей спиной дышит бабка Аза. Она, конечно же, слышала мою молитву... Я встал с колен и посмотрел своей жене в глаза. В ее глазах я увидел самого себя и еще – немое отчаянье. Конечно, она могла бы что-нибудь у меня спросить, но для чего ей было спрашивать? Я давно, еще во времена нашей молодости, отучил ее от лишних вопросов, да и потом – она слышала мою молитву, которая и была ответом на все ее вопросы... Мне вдруг захотелось крикнуть – на мою супругу, на вероломного начальника, на весь этот мир, который так неласков к своим детям-цыганам. Мне захотелось крикнуть во всю мочь и выплеснуть в этом своем крике всю свою тревогу, все свое предощущение грядущей беды и всю свою боль... Но я, конечно, не закричал, а только посмотрел

еще раз в глаза своей старой супруге и сказал затем, утешая не то ее, не то себя самого:

– Нанэ-со... Н'андершав... Ничего... Не бойся... Бог милостив...

И я вышел из своего закутка. Разгоралось утро, в мире светлело, и надо было готовиться ко второму дню цыганской свадьбы.

\*\*\*

Второй свадебный день начался, как и обычно, по испокон веку заведенному цыганскому распорядку. Вначале проснулись ромалэ, за ними – гаджэ, затем – затрещали цыганские костры, а еще затем – наступил срок для всеобщего обозрения великого свадебного таинства – того самого таинства, которое свершилось минувшей ночью между Арсеном и Веткой. Моя бабка Аза и еще одна наша старуха, а с нею – две старухи из Веткина рода медленно, сурово и торжественно отправились в шатер для новобрачных. А все остальные – и ромалэ, и гаджэ – стали ожидать. Наступила такая тишина, что стало слышно, как трещат цыганские костры: они трещали всяк своим голосом... Через пять, а, может, семь минут все четыре старухи не спеша вышли из шатра, и бабка Аза несла свернутую в ком белую простыню. Вслед за старухами из шатра вышли молодые – Арсен и Ветка. Наступил главный момент цыганского свадебного торжества. Все четыре старухи взяли за четыре угла простыни, разом потянули каждая в свою сторону, простыня распрямилась – и тотчас же алое пятно расцвело на белом поле простыни! И при виде этого великого символа все цыгане разом радостно закричали и захохотали, а гаджэ, до которых только сейчас дошел истинный смысл торжества, закрутили носами, смущенно заулыбались и зашептали друг дружке на ухо. Ну да, гаджэ всегда так ведут себя на цыганских свадьбах, на то они и гаджэ, а не ромалэ... А затем все четыре старухи, по-прежнему держа в руках белое полотно с алым на нем знаком, подошли к одиноко стоящему дереву и приделали полотнище к ветвям.

И – затрепетало полотнище на утреннем ветру, будто великое и чистое цыганское знамя! А сами цыгане, а за ними и гаджэ бросились к Арсену и Ветке с поздравлениями и всякими шутивыми напутствиями и вопросами. Так оно бывало всегда на цыганской свадьбе, так оно случилось и сейчас. Ветка, конечно же, выглядела смущенной и то и дело пряталась за спину своего мужа Арсена, да и сам Арсен также сму-

ценно вертел головой. Но вместе с тем – радость и гордость читалась на лицах новобрачных, да и было им отчего радоваться! Они выполнили наиглавнейший человеческий, заветный самим Богом закон, они сохранили себя в чистоте друг для друга, и, стало быть, и в дальнейшей жизни все у них будет хорошо, и счастье будет поджидать их за каждым изгибом цыганской дороги. Так гласит древнее цыганское поверье, а всяк вам скажет, что ничего нет на свете правильнее, чем цыганские поверья...

Постояв еще пару-тройку минут, Арсен и Ветка укрылись в своем шатре, и второй свадебный день начал свое восхождение. Костры запылали ярче, запахло самогоном, хлебом и мясом, кто-то лихо тронул гитарные струны, и я осторожно стал надеяться, что, может быть, всемогущий Господь и впрямь услышал мою молитву и миновала нас беда, только погибельным холодком от нее повеяло минувшей ночью...

...Но – не миновала нас беда, вероломный начальник сдержал свое сказанное ночью черное слово. Беду первым заметил я, вернее сказать, я ее вначале почувял, а затем уже и заметил. Ну а за мною беду почувяли и заметили четверо наших молодых зверей, а затем уже и все прочие цыгане и, наверное, даже некоторые из гаджэ. К нам, к нашему пристанищу и нашему веселью приближались две машины. Это были большие, черные, угрюмые машины, и людей на них видно не было; наверно, люди укрылись в чреве машин, потому что ведь не ездят машины сами по себе, без людей. Машины приближались к нам с двух сторон, они двигались медленно, уверенно, грозно и томительно – как движется в своей жертве зверь, который заранее уверен в том, что жертве некуда деться. Наша свадьба замерла, умолкли гитарные струны, и даже наполовину погасли костры: все стали смотреть на двух черных железных тварей, которые приближались к нам с двух сторон.

– Что это такое... зачем? – тихо спросил кто-то из гостей, но ему никто не ответил. Все стояли и ждали, а мое старое сердце вдруг затосковало лютой, просто-таки смертной тоской. Я-то, старый баро, догадывался, что это такое и зачем...

Черные машины остановились. Какое-то время они стояли безмолвные, а затем из их нутра раздался железный голос:

– Значит, так... Я предупреждал вас или не предупреждал, чтобы вы к утру убрались отсюда? Предупреждал... А говорил я вам или не го-

ворил, что если выслушаетесь, то пеняйте на себя? Говорил... И что же? А – ничего... Вы, наверно, думали, что я шучу. А я – не шутил! Значит, так... Даю всем вам полчаса – и чтобы вас через полчаса не было ни видно, ни слышно! Вы уяснили – полчаса! Затем – извиняйте. Итак, время пошло...

Голос умолк, и в черных машинах что-то зашипело и заскрежетало. Какое-то время вся наша свадьба безмолвствовала, а затем Ян-Ченя, Егор-Чюри и Грубиян со Смутьяном бросились к черным машинам. За ними побежали еще человек пять или шесть из Веткина рода, а затем – даже несколько человек гаджэ. Я знал, для чего они бегут, и знал также, что ничего хорошего из всего этого для нас не будет.

– Палэ! – крикнул я. – Назад! Стоять! Я сказал – всем стоять!

Я был баро, и я крикнул очень громко и грозно. Они остановились – и цыгане, и гаджэ, и стали молча смотреть на меня.

– Вы – куда? – спросил я у них. – Я сам... без вас. А вы – ждите...

На такие мои слова никто ничего мне не возразил: все молчали – и мои четверо молодых зверей, и те, кто бежал вслед за ними. Я растолкал их угрюмую шеренгу, вышел вперед и подошел к черным машинам едва ли не вплотную. Вблизи они были еще страшнее, чем издали, от них просто-таки веяло смертью. Да-да, именно смертью: я был старый человек, на своем веку я навидался и нанюхался смертей. Смерть пахнет совсем не так, как жизнь...

– Начальник, – сказал я черной машине. – Полчаса – это не срок. Мы ничего не успеем за полчаса. Прошу тебя – позволь нам уехать завтра. Обещаю, что ничего плохого в твоём городе до завтрашнего дня не случится. Ни один цыган ничего не украдет...

Какое-то время в черной машине молчали, а затем железный голос сказал:

– Значит, как я понял, уходить вы не намерены? Стало быть, вы не желаете слушать моего доброго совета...

– Свадьба у нас, – безнадежно сказал я. – Сына я женю... бияв у нас... свадьба. Мы ничего не успеем – за полчаса...

– Ну, – сказал железный голос, – значит, и ждать нечего. Сами виноваты...

И вслед за этими железными словами сразу же началась беда. Вначале-то ни я сам, ни другие цыгане и гаджэ ничего не поняли. В обеих ма-

шинах что-то заурчало, заскрежетало и зашипело, затем – тонко засвистело, и только уже потом все мы разом ощутили, будто бы в наши глотки кто-то вдруг залил горячего железа, и тем же самым железом кто-то плеснул нам по глазам. Вся цыганская свадьба разом испуганно закричала, забегала и запричитала, кто-то попытался скрыться в бараках, кто-то в испуге упал на синий рыхлый снег, и посреди этого смятения какой-то гаджэ пронзительно крикнул: «Газ! Это – газ... они нас – газом... что же они делают, суки!...»

\*\*\*

...Я не знаю, как мы выбрались из этого ада и куда подевались черные машины. Я сам да и все прочие гости страшной свадьбы стали приходиться в себя уже тогда, когда мы были далеко за городом. Сдается, я опомнился первым: я был баро, я отвечал перед Богом за свой народ и потому именно мне надобно было первым выбираться из ада, чтобы подать руку всем остальным...

Придя в себя, я огляделся. Мой народ, и цыгане из Веткина рода, и некоторые увязавшиеся с нами гаджэ выглядели жалко и печально. На большинстве было надето только то, в чем они веселились на свадьбе, почти никто не захватил с собой никакого цыганского скарба. У многих текли из глаз слезы, многие – кашляли, были и такие, кто безучастно стоял посреди дороги или даже лежал на снегу...

Да, о снеге и дороге. Нам повезло. Нам повезло в том смысле, что этот страшный день выдался теплым. Он был теплым с самого своего начала, а сейчас, ближе к полудню, могло даже показаться, что неожиданно, вопреки природным законам, наступила весна. Снег был еще синее, чем утром, а дорога раскисла, и на ней там и сям виднелись лужи. И это было хорошо, это было нашим всеобщим цыганским спасением. Если бы не оттепель, мы бы все очень скоро перемерзли. А оттепель давала нам шансы выжить. И я во второй раз за этот страшный день подумал, что, может быть, Господь и вправду услышал мою отчаянную ночную молитву и даровал нам, своему многогрешному народу, теплую погоду посреди зимы. Он не даровал нам возможности догулять свадьбу, но даровал нам оттепель...

– Серафим, – позвал я баро из Веткина рода. – Иди ко мне. Будем считать души... Ты считай свои, а я буду считать свои...

Кашляя и протирая глаза, Серафим подошел ко мне, и мы стали считать. Мои оказались почти

все на месте: и старые, и малые, и четверо молодых зверей, и даже моя супруга бабка Аза... Не было только одного – моего нареченного сына, молодожена Арсена. Я пересчитал свои души еще раз, взгляделся в лицо каждому – Арсена точно не было.

– Серафим, – спросил я, и мне вдруг показалось, что я знаю, что мне ответит Серафим. – А кого нет у тебя?

– Ветки, – ответил Серафим. – Все на месте, а ее – нет...

– И Арсена также нет, – сказал я.

Я и Серафим посмотрели друг на друга. Мы смотрели один на одного не просто так, мы, можно сказать, вступили друг с дружкой в беседу, но не словами, а – глазами. Нам было о чем поговорить. Не было наших молодых – Арсена и Ветки. И если с Веткой произошло что-то страшное, то оно непременно повлекло бы за собой беду еще более лютую, чем та, которая случилась с нами нынешним утром. Ведь это именно мы, наш род, позвал к себе в гости и саму Ветку, и весь ее род. И получается, что это именно мы не уберегли Ветку... Вот это и будет сама по себе лютая беда, а она, по цыганским законам, обязательно должна будет потянуть за собою и еще одну беду: Веткин род запросто может, ибо имеет на то древнее цыганское право, вступить во вражду с нашим родом. И тогда – худо придется и нам, и им самим... Конечно, ни я, ни Серафим нипочем не желали такой беды, но помимо нас были еще и другие цыгане, и они могли не послушать нас с Серафимом, и имели на то право...

– Бибахт, – сказал я глазами Серафиму.

– Бибахт, – ответил мне глазами Серафим. – Несчастье...

Пока мы безмолвно общались с Серафимом, другие цыгане стали подходить к нам и выстраиваться за нашими спинами. Мои цыгане встали за моей спиной, другие цыгане – за спиной Серафима. И даже гаджэ, которых мы с Серафимом насчитали шесть душ, также не остались в стороне: трое из них встали за спиной Серафима, другие трое – за моей спиной. Все было готово к началу нового витка беды...

«Что мы будем делать, пхуро? – спросил у меня глазами Серафим. – Что же ты молчишь, старый цыган?»

«Не знаю», – ответил я глазами Серафиму.

Я и вправду не знал, что мне делать. И что делать Серафиму, я также не знал. На нашей с Серафимом стороне было здравомыслие, а на

стороне обоих наших родов – ярость, отчаяние и ненависть. Не всегда в этом мире здравомыслие сильнее ярости, отчаяния и ненависти...

– Где наша Ветка? – начал кто-то за спиной Серафима.

– А где наш Арсен? – отозвался за моей спиной не то Смутьян, не то Грубиян.

– Плевать нам на вашего Арсена! – крикнули за спиной Серафима. – Не мы вас, а вы нас пригласили к себе! Где наша Ветка? Почему вы не уберегли нашу Ветку?..

Мы все были раздетые, неприкаянные и оглушенные свалившейся на нас бедой. И если можно было в такой ситуации говорить о правде, то правда была не на нашей стороне, а на стороне тех, кто стоял за спиной Серафима. Потому что и вправду, говорю еще раз, это именно мы пригласили их к себе и не уберегли Ветку... Но – я был баро, и я обязан был сделать все, чтобы не допустить здесь, на этой раскисшей дороге, братоубийства. И я сказал:

– Еще ничего не ясно, ромалэ! Еще никто ничего не знает! Вот сейчас они к нам подойдут – и Арсен, и Ветка...

– Молчи, пхуро! – крикнули мне из-за Серафимовой спины. – Какой ты баро, если не смог отвести беду? Никакой ты не баро! Ты джювало джюкэл, а не баро! Ты вшивый пес!

– А кто ты будешь такой, чяво, чтобы судить нашего баро? – яростно отозвался за моей спиной Егор-Чюри. – Или ты, парень, не цыган и не знаешь нашего закона? Сказать тебе, что бывает с тем, кто оскорбляет баро?

В ответ раздалось человеческое рычание, и из-за Серафимовой спины на свободное пространство выскочил молодой цыган. В руках у него сверкал нож. Очень скоро к нему присоединились еще несколько цыган с ножами в руках. Само собою, что вослед и за моей спиной раздалось рычание, и на свободное пространство, сверкая ножами, выбежали Ян-Ченя, Егор-Чюри и Грубиян со Смутьяном. Тогда с противной стороны на помощь своим подбежали еще пять или шесть человек. Вослед за этим и с нашей стороны выскочили цыгане, а затем – и трое наших гаджэ с коляями. Тогда и те гаджэ, что были за спиной Серафима, взмахнули над головами коляями...

– Ромалэ! – крикнул Серафим и воздел руки к небесам. – Кого вы собираетесь убивать, ромалэ! Друг друга? Своих же братьев? Опомнитесь! Нас и так мало на этой земле!..

Вряд ли, конечно, на кого-то подействовал бы отчаянный крик баро Серафима. Ненависть и отчаяние ослепляют и оглушают человека. И пролиться бы на этой раскисшей, ведущей неведомо куда дороге молодой, горячей и глупой цыганской крови, но вдруг чей-то голос вскрикнул:

– Смотрите – Арсен! И Ветка...

\*\*\*

Наверно, Арсен отыскал нас по следам. Мы убежали от смерти и оставляли на раскисшей из-за оттепели дороге свои следы. Много следов... Нас нетрудно было найти. И Арсен нас нашел. Но не в этом было дело, как именно он нас нашел. Нет, не в этом было дело...

Арсен шел, скользя и оступаясь, и нес на руках свою жену Ветку. То есть – Ветка шла не сама, а – ее нес на руках Арсен! И чем ближе Арсен подходил к нам, тем пристальнее все мы всматривались в его лицо, и тем страшнее всем нам становилось. Потому что – на лице Арсена читалось горе. Большое горе, великое, непоправимое... И эти два обстоятельства – то есть написанное на лице Арсена горе и то, что Ветка шла не сама, вмиг заставило всех нас позабыть о братоубийственной сваре. Мы все умолкли: и те, кто стоял за моей спиной, и те, кто стоял за спиной Серафима, и даже шестеро гаджэ – затихли все. Мы стояли, держали в руках вмиг ставшие бессмысленными ножи и колья и смотрели навстречу Арсену. А он шел к нам и нес на руках свою жену Ветку. Наконец он подошел к нам совсем близко, и написанное на его лице горе стало для всех нас таким очевидным и невыносимым, что несколько наших женщин всхлипнули и заголосили...

– Вот, – сказал Арсен и остановился со своей ношей. – Это я, ромалэ... Это мы...

А Ветка не сказала ничего. Она по-прежнему покоилась на руках своего мужа Арсена, и ее лицо, наполовину прикрытое черными кудрями, по цвету походило на окружавший нас снег, а ее рука – безвольно касалась Арсенова колена... Какое-то время все мы молча смотрели на Арсена и на Ветку, а затем из-за спины Серафима вышел Ион – отец Ветки. Он вышел и неуверенными мелкими шагами стал подходить к Арсену и Ветке. Когда Ион подошел, то первым делом он дотронулся до безвольной руки своей дочери, затем убрал с ее лица кудри и всмотрелся Ветке в лицо, долго молчал, а потом сказал Арсену:

– Отдай ее мне... Она – моя дочь...

– Не отдам, – ответил ему Арсен. – Она – моя жена...

– А-а-а... – сказал тоскливо Ион. – А-а-а...

И тотчас же из-за спины Серафима вышла Рузанна, Веткина мать. Такими же, как и Ион, мелкими неуверенными шагами Рузанна подошла к Арсену и Ветке.

– Чяй, – сказала она, – чяй... Доченька... – И ничего больше не сказав, Рузанна упала лицом в синий снег и завывала глухим звериным воем...

И только после этого к Арсену и Ветке стали молча подходить люди: и мой народец, и народишко Серафима, и гаджэ, и мы сами с Серафимом – все. Некоторые из женщин падали на снег рядом с Рузанной и также начинали выть. Но большинство, образовав вокруг Арсена и Ветки круг, стояли молча. Я был пхуро, старый цыган, и я много чего видел на своем скорбном цыганском веку. Но, сдается мне, я никогда не видел ничего страшнее и безысходнее, чем этот безмолвный человеческий круг, внутри которого стоял молодой цыган Арсен и держал на руках свою мертвую жену, цыганку Ветку. Я никогда не слышал ничего страшнее, чем этот глухой звериный вой упавших лицом в снег женщин... Мне сдается, что даже если я умру, то и тогда буду помнить эту картину. А если, допустим, Господь захочет стереть ее из моей памяти, то я Ему скажу: «Не надо, Дэвэлалэ... Я прошу Тебя – не надо. Сотри всякую слезу из моих очей, а эту – не вытирай...» И, я думаю, Господь прислушается к моей просьбе и оставит мне это горькое воспоминание, и я буду помнить – вечно...

– Отдай, – сказал Ян-Ченя Арсену. – Я поддержу, а ты – отдохни...

– Не надо, – тихо ответил Арсен. – Я сам... Она моя жена...

Я повел взглядом по толпе и отыскал Серафима. Я сделал ему знак глазами, мы выбрались из круга и отошли в сторону. Мы с Серафимом оба были баро, и мы не имели права печалиться вместе со всеми. У нас было множество забот...

– Она умерла... – сказал Серафим.

– Да... – сказал я.

– Почему она умерла? – спросил Серафим.

– Наверно, газ, – сказал я. – Мы все успели убежать, а она – не успела.

– Может быть, она спала – после брачной ночи, – сказал Серафим. – И не успела проснуться...

– Может быть, – согласился я.

– Лучше бы кто-то другой не успел, а она бы – успела, – сказал Серафим.

– Да, – согласился я. – Например, я сам...

– Или – я, – тихо поддержал меня Серафим. – Но умерла она, Ветка... И я не понимаю, в чем тут Божья справедливость, если она вообще есть на свете...

– Не надо, – сказал я. – Не надо говорить о том, чего мы не можем понять.

– Да, – согласился Серафим. – Не надо...

– Когда мы будем ее хоронить? – спросил я.

– Сегодня и похороним, – ответил Серафим.

– И где же? – спросил я.

– Прямо тут, – сказал Серафим. – Какая разница? Для цыгана весь мир – кладбище...

Мы помолчали, глядя на оба наших народца и слушая, как воют женщины. Вокруг нас простилась черная стена леса. В обмякших из-за оттепели ветвях толстым голосом гудел лесной ветер, он смешивался с женским непрерывным плачем, и мне казалось, будто бы какой-то неслыханный оркестр играет нескончаемую и горькую цыганскую музыку...

– Зови своих, – сказал я Серафиму. – А я – позову своих. Будем копать могилу.

\*\*\*

Место для могилы выбрали хорошее, цыганское, у обочины дороги под калиновым кустом. Копать могилу должны были с нашей стороны Ян-Ченя, Егор-Чюри и Грубиян со Смутьяном, да еще четверо молодых цыган были со стороны Серафима. Никаких лопат, конечно, у нас не имелось, – откуда им взяться? Решили копать исконно цыганским способом – ножами. Для начала с места будущей Веткиной могилы руками сгребли снег. Земля под снегом оказалась совсем не замерзшей, влажной – и тотчас же запахло растревоженной палой листвой и лесными, схоронившимися до весны цветами и травами.

Копали по двое, чтобы не мешать друг дружке. Начали Ян-Ченя и Егор-Чюри. Они подошли к месту будущей Веткиной могилы, какое-то время молча постояли, затем одновременно вытащили из-за поясов свои большие сверкающие ножи, одновременно же опустили на колени и – одновременно – вонзили эти ножи в совсем не зимнюю, податливую землю...

У цыган есть древний обычай: когда собираются кого-то хоронить и копают могилу, всякий живой цыган – от ветхого старика до ребенка – обязан подойти и посмотреть. Не знаю, в чем суть такого обычая, и знать не хочу. Да и не в том дело, в чем его суть, нет, не в том... Ну, так вот:

едва только слышав слаженное дыхание Яна-Чени и Егора-Чюри, женщины перестали выть и поднялись с земли, и все неспешно и поодиночке стали подходить к месту вечного упокоения нашей Ветки. Подходили и из нашего рода, и не из нашего, и даже все шестеро гаджэ – и те подходили тоже. Никто никому ничего при этом не говорил, да и о чем тут было говорить? И очень скоро из тех, кто еще не подошел к будущей Веткиной могиле, остались сама Ветка и ее муж Арсен. Арсен не держал уже свою мертвую жену на руках: кто-то из цыган или, может, гаджэ постелил на снег свою одежку, и вот на этой одежке и покоилась сейчас Ветка. А сам Арсен в безмолвном горе стоял перед Веткой на коленях и гладил мертвую жену по черным кудрям и белому, как снег, лицу.

Я был баро, и я обязан был наблюдать за тем, как идут приготовления к похоронам. Я и наблюдал. Я смотрел, как Яна-Ченю и Егора-Чюри сменили Грубиян со Смутьяном, их – двое цыган из не нашего рода, тех – другие чужие цыгане, затем – опять настала очередь Яна-Чени и Егора-Чюри... А еще я краем глаза смотрел на утонувшего в своем горе Арсена, а еще – за поведением наших и чужих цыган да и гаджэ заодно... Я все замечал и слышал, но одновременно – я будто бы и не присутствовал здесь, на этой раскисшей и ведущей неведомо куда дороге, на обочине которой восемь молодых цыган копали могилу цыганке Ветке: я будто бы пребывал где-то в стороне или даже – где-то в вышине, под самыми угрюмыми серыми облаками, а может, где-то даже еще и выше... И, по большому счету, ничто меня в моей вышине не трогало, и никакое горе не терзало мою душу. Мне не хотелось ничего земного: ни плакать, ни проклинать вероломного начальника, отравившего газом Ветку, ни жаловаться Богу на свою горькую цыганскую долю... Моя душа будто бы застыла и онемела. Наверно, она застыла и онемела от горя, потому что во мне трепыхалась обыкновенная, слабая человеческая душа, не смотря на то, что я был баро...

Скоро могила была выкопана. «Всё!» – коротко изъяснился Ян-Ченя, отошел от могилы и вытер нож о снег, а за ним то же самое сделали семеро других копальщиков. «Всё, – мысленно повторил я за Яном-Ченей, – всё, всё...» И я встряхнул головой, надеясь тем самым привести себя в обыкновенное, земное состояние. Мне непременно надобно было присутствовать на земле, потому что хоронили Ветку, и у цыган

имелись большие сверкающие ножи, а у гаджэ – колья, и всякое могло случиться. «Всё, – сказал я сам себе еще раз. – Всё...»

Цыганские похороны – в особенности, если они случаются где-нибудь в пути, – дело неприхотливое. Там, где настигла цыгана смерть, там его и хоронят. Ах, сколько же их разбросано по всему свету, неприметных и безымянных цыганских могил – кто бы только сосчитал! Но – некому в этом мире считать цыганские могилы и некому над ними причитать. Только один вольный ветер всплакнет иногда над неприметным холмиком где-нибудь у обочины дороги, да окрестные деревья с травами зазвенят, как звенит цыганская гитара, а затем тот же ветер заровняет холмик, и травы оплетут холмик, и деревья укроют его своими ветвями, и никто во всем мире и знать уже не будет, что здесь находится цыганская могила. Даже сами цыгане, если случится им проходить по той же самой дороге, и то, наверно, не припомнят о могиле, а просто – пройдут мимо, и только цыганское сердце вдруг вздрогнет и защемит, а отчего оно вздрогнет и защемит, и непонятно. Много от чего может щемить цыганское сердце на этой неласковой для цыгана земле...

36 ...Всякого покойника перед тем, как предать земле, надобно обмыть – это вам скажет всякий. И потому мертвую цыганку Ветку также надобно было обмыть, – но только не было у нас ни воды, которой можно было бы Ветку обмыть, ни посуды, в которую воду следовало бы набрать. Мало что у нас при себе было: не успели мы ничего из цыганских пожитков захватить с собой, спасая свои жизни. Что у нас при себе было, с тем и бросились мы стремглав по первой подвернувшейся дороге...

– Пхуромны, – позвал я свою супругу бабку Азу. – Слышишь, тебе говорят, старуха... подойди ко мне! Вот что я скажу тебе, пхуромны... а ведь ее, покойницу, следует обмыть... Потому что не полагается без этого хоронить... а как и чем ее обмыть – я и не знаю. Ведь нет у нас ни воды, ни посуды... Ты уж сообрази там что-нибудь сама, пхуромны...

Моя бабка Аза ничего не сказала в ответ на мою просьбу, постояла, молча на меня посмотрела и пошла. Да мне и не надобно было никаких слов от бабки Азы. Зачем слова? Я знал, что она все сделает и без слов. Почти все, о чем я ее просил, она делала молча. Моя бабка Аза была молчаливой старухой...

Обмывали Ветку тем, что имелось под рукой – снегом. Вначале от мертвой Ветки увели ее мужа Арсена. Это было не так и легко, потому что Арсен не хотел оставлять свою жену, он не понимал, куда его уведут и для чего его уведут. Он весь был в своем горе и не желал никуда уходить. Но Ветку надо было обмыть, а такие дела всегда делали старухи-цыганки и притом – без присутствия мужчин: так велел цыганский обычай.

– Пойдем, – сказали Арсену Ян-Ченя, Егор-Чюри и братья Смутьян с Грубияном. – Пойдем... Ее надо прибрать. А потом ты к ней вернешься...

Они взяли Арсена под руки и повели. Они отвели его и стали между ним и его мертвой женой несокрушимой стеной. Впрочем, Арсен и не думал сокрушать эту стену. Он просто стоял, смотрел вдаль, и в его черных кудрях серебрился снег. А, может, это был и не снег, а – горе поселило раннюю мгновенную седину в черные кудри моего названного сына Арсена...

Да, так вот: Ветку обмывали тем, что было под рукой – влажным синим снегом. Старухи-цыганки брали снег в горсти, от тепла старушечьих ладоней снег превращался в воду, и эту-то воду старухи лили на лицо и тело мертвой Ветки. Я, конечно, не видел ни лица, ни тела мертвой Ветки, но мне и не надобно было ничего видеть. Я и так представлял себе, как холодные синие струи талого снега льются из старушечьих ладоней на лицо Ветки, а оттуда стекают на ее шею, на грудь и еще ниже... У меня вдруг ослабели ноги. Я отошел в сторону, снял с себя тулуп, постелил его прямо на мокрую дорогу, сел, отвернулся от моего народа и стал смотреть в сторону недалекого леса. Из леса дул ветер и приносил с собою почти весенние запахи...

...– Готово, – услышал я близ себя знакомый голос. – Все уже готово, пхуро. Уже можно хоронить... Вот только нет у нас ни гроба, ни савана...

Это была моя супруга бабка Аза. Я встал и посмотрел туда, где лежала готовая к погребению Ветка. Я не увидел Ветки, потому что вокруг нее стояли люди: и мой народец, и народишко баро Серафима, и все шестеро гаджэ... Все они стояли и ожидали моего слова.

– Чяво, – поманил я Яна-Ченю. – Иди-ка сюда, парень... Ну и что мы будем делать? Нет у нас ни гроба, ни савана...

– Есть у нас саван, баро, – не сразу отозвался Ян-Ченя. – Есть саван...

– Покажи, – велел я.

Ян-Ченя полез к себе за пазуху и вытащил свернутую белую тряпицу.

– Вот саван, – сказал Ян-Ченя.

– Разверни, – попросил я.

Ян-Ченя помедлил и стал разворачивать тряпицу. А когда он ее развернул, мне вдруг почти неудержимо захотелось заплакать. Да что там заплакать – мне захотелось упасть на мокрую дорогу, скатиться по ней на обочину, в наполненную рыхлым синим снегом яму, провалиться в эту яму, укрыться с головой синим снегом – так, чтобы меня не видел и не слышал никто на всем свете – и закричать во всю силу, закричать так, чтобы криком заглушить боль своей души. Потому что – я узнал эту тряпицу. Это была вовсе и не тряпица, а простыня. Это была простыня с алым пятном на ней, та самая простыня, которая после первой и единственной брачной ночи Арсена и Ветки превратилась в гордое и чистое знамя... Потому-то мне и захотелось упасть на мокрую дорогу и покатиться под откос. Я никогда еще не видел такого страшного савана, я даже и не предполагал, что гордое и чистое белое знамя с алой на нем отметиной может быть еще и саваном... Но – я не закричал и не укрылся с головой синим снегом: я был баро, и я обязан был удерживать свою боль внутри себя, потому что баро не имеет такого права – быть слабым на виду у своего народа. На виду у своего народа баро обязан быть сильным и мудрым...

– Откуда у тебя... это? – спросил я у Яна-Чени.

– Взял у Арсена, – сказал Ян-Ченя.

– А у него – откуда? – задал я глупый вопрос.

– Я не спрашивал, – хмуро сказал Ян-Ченя. – Да и какая разница – откуда? И без того ясно... И говорить не о чем...

Ян-Ченя был прав: и без того все было ясно, и говорить было не о чем. Там, в бараках, спасая от смерти себя и свою жену Ветку, Арсен второпях ухватил самую дорогую для себя вещь – гордое и чистое белое знамя с алой отметиной посредине. А может, все было и не так, и это знамя оказалось у Арсена по какой-то другой причине, кто ведает...

– Дай, – протянул я руку, взял простыню у Яна-Чени и пошел к народу. – Вот, – сказал я народу, – саван. В нем и похороним...

Не знаю, чего я ожидал от народа, когда показывал им саван. Наверно, я все-таки чего-то ожидал: может, каких-то слов, может, чьих-то

слез... Но – ничего такого не случилось: при виде савана люди только тихо прошелестели и пригнулись – будто бы они были вовсе и не люди, а потревоженные ветром колосья, которые нерадивый жнец позабыл на зимнем поле, и потому колосья обречены были умереть под снегом...

– Хороним, – велел я.

– Хороним, – повторил за мной баро Серафим.

– Чяворо, – отыскал я глазами Яна-Ченю, Егора-Чюри и Смутьяна с Грубияном. – Вы и будете хоронить. И – присмотрите за Арсеном. А то мало чего...

\*\*\*

Схоронили Ветку быстро: цыгана всегда хоронят быстро, когда он умирает в пути. Хоронят – и те, кто жив, идут дальше по нескончаемой цыганской дороге. У живых цыган много всяких дел на свете, и потому им надо торопиться; это только мертвому цыгану ничего уже не надо и некуда ему торопиться... Вначале Ветку завернули в саван, который до этого был гордым и чистым знаменем, а еще раньше – простой белой простыней. Ветку завернули так, что открытым оставалось только ее лицо. Я смотрел на Веткино лицо, и мне казалось, что это было не лицо мертвого человека, а – просто Ветка утомилась после своей брачной ночи и крепко уснула. И, наверно, многим другим цыганам казалось то же самое. И даже, наверно, гаджэ – и тем чудилось, что Ветка не умерла, а спит...

Прощались с Веткой также быстро: с цыганом, который умер в пути, всегда прощаются быстро. Все ромалэ и гаджэ выстроились друг за дружкой и молча стали подходить к мертвой Ветке, чтобы последний раз на нее взглянуть. Первыми подошли я и Серафим, а за нами – все остальные. Когда прощание закончилось, рядом с Веткой остались только родные ей люди – мать с отцом и муж Арсен. Веткина мать уже не голосила, да и никто уже не плакал. Все стояли посреди раскисшей дороги, а кто и по ее обочинам, и мне опять почудилось, будто вокруг меня нет никаких людей, а только лишь позабытые на заснеженной ниве колосья...

– Уса, – сказал, наконец, Серафим. – Всё. Хороним.

Четверо старух-цыганок подошли к Ветке и опустили перед нею на колени – прямо в рыхлый синий снег. Постояв так с полминуты, старухи закрыли Веткино лицо краем савана, и на-

род на дороге опять пригнулся и прошелестел, будто по забытым, обреченным колосьям пробежал погибельный зимний ветер. Затем к укутанной в саван Ветке подошли четверо молодых цыган – по двое с нашей стороны и со стороны Веткина рода – взяли Ветку и понесли ее к месту последнего упокоения. Скажу еще раз: хорошая могила досталась Ветке, на зависть всякому цыгану: у обочины дороги, под калиновым кустом, и дно ее было устлано зелеными еловыми лапами. На эти-то лапы Ветку бережно опустили, и сверху ее также прикрыли еловыми ветвями. Все, можно было засыпать землей цыганскую могилу и можно было класть поверх печального бугорка обросший мхом дикий камень – чтобы, значит, не так скоро сравнял ветер с землей это последнее, бесхитрое цыганское пристанище...

Засыпали могилу руками, чем же еще-то было ее засыпать? Работали по двое, чтобы не мешать друг дружке: подходили к могиле, становились на колени и осторожно сбрасывали землю вниз, на Ветку. Земля была мягкая, не успевшая еще окаменеть от мороза, и очень скоро никакой ямы под калиновым кустом уже не было видно. И тогда на могилу поместили большой серый камень. И – всё: больше ничего ни самой Ветке, ни нам, живым, надобно не было. Просто – на земле стало одной цыганской могилой больше, и одним цыганом на земле стало меньше.

– Акэ... уса, – сказал баро Серафим свое погребальное слово. – Вот... всё.

А я так и вовсе ничего не сказал. Не хотелось мне ничего говорить, не было у меня в душе никаких слов, мертвое безмолвие царило в моей душе.

– Можно мангэс дэвлэстэр... – сказал баро Серафим сразу всем живым и никому в отдельности. – Можно молиться... кто хочет и кто умеет, пускай тот молится за рабу Божию Ветку. Чтобы ей там было веселее...

После таких слов Серафима народ снова зашелестел, как забытые пахарем колосья, и разошелся по сторонам. У могилы остался один только Арсен. Он сел прямо в мокрый, перемешанный с землей снег и застыл, глядя в одну только ему ведомую пустоту. А мы с баро Серафимом опять начали говорить друг с другом одними только глазами. Нам было о чем говорить. Оба мы знали, что вот сейчас, когда Ветку схоронили, и начнется самое главное и страшное...

\*\*\*

И точно – оно, это главное и страшное, очень скоро началось. Первым начал, конечно, не мой народец, а народишко баро Серафима: у них имелось такое право – начинать первыми... Пять или шесть человек, которые покрепче и помоложе, вдруг разом встали и направились в нашу сторону. Сразу же им навстречу двинулись и наши. Тогда к не нашим стали присоединяться другие. И к нашим также стали подходить другие. Последними, с кольями в руках, подошли все шестеро гаджэ: трое из них были на нашей стороне, другие трое – на стороне обратной. Оба народца сошлись на середине раскисшей дороги и стали молча смотреть друг на друга. И у наших, и у тех, кто был против нас, читалась в глазах ненависть. Мы ненавидели их, а они – нас.

– Ну, и что же мы будем делать, братья? – начал наконец разговор один цыган из не наших, у которого, я это знал, было прозвище Парно, что означало Белый. Этот Парно по виду ничуть не напоминал цыгана, а, скорее, своими зелеными глазами и русыми кудрями был похож на гаджэ. – Так как же мы будем считаться, ромалэ?

– Ты это о чем, пшалоро? – спросил у Парно наш Егор-Чюри, хотя лично я предполагал, что такой вопрос задаст Ян-Ченя. – На что ты намекаешь, братец? Не понимаем мы твоих намеков...

– Ты знаешь, пшало, на что я намекаю, – сказал Парно. – Все ты знаешь, брат... Ты знаешь также и то, кто лежит в той могиле под калиновым кустом. Там лежит наша сестра. Не ваша, а – наша...

– Не мы ее убили, – сказал Егор-Чюри. – И ты, брат, это знаешь.

– Вы ее убили! – жестко возразил на это зеленоглазый цыган Парно. – Вы! И – вам отвечать! Так как же мы будем считаться, братья? Каким счетом? А?

И с такими словами зеленоглазый цыган Парно вытащил из кармана нож. И те цыгане, что были рядом с ним, также вытащили свои ножи, а трое не наших гаджэ взмахнули кольями. В ответ наши цыгане также вытащили свои ножи, а наши гаджэ взмахнули кольями. А затем обе стороны двинулись навстречу друг другу, а и идти-то тут было всего ничего – пять или шесть шагов. И очень скоро эти шаги закончились, и стороны сошлись грудь в грудь – как раз на такое расстояние, чтобы удобно было взмахнуть рукой и вонзить нож в сердце своему брату...

И тут-то произошло неожиданное событие: вперед вдруг выскочили братья Смутьян и Грубиян. Лично я ожидал, что чего-то эдакого следует ожидать от Яна-Чени, но Ян-Ченя почему-то никак себя не показывал, будто бы его сейчас промеж нас и не было... Итак, Грубиян и Смутьян: они ринулись в самую людскую гущу, мигом раздвинули сошедшихся цыган и гаджэ в разные стороны, так что нельзя уже было достать ножом брату брата с первого взмаха, и ничего такого не ожидавшие люди замерли, ожидая, что же будет дальше. А дальше Грубиян и Смутьян стали говорить.

– Спрячь свой нож, Егор-Чюри! – сказал Грубиян.

– И ты тоже спрячь свой нож, Парно! – выкрикнул Смутьян.

– Все спрячьте свои ножи, ромалэ! – продолжил Грубиян.

– А гаджэ пускай опустят свои кольца! – дополнил Смутьян. – Потому что – мы хотим кое-что всем вам сказать!

– И если вы не бароро и не дылыно, то вы прислушаетесь к нашим словам! – сказал Грубиян.

– Вы станете благодарить нас за наши слова, если вы не бараны и не дураки! – прокричал Смутьян.

– Джюклори... – сказал на все это Парно и, поигрывая своим ножом, презрительно сплюнул. – Щенок... Щенок пытается лаять, как взрослый пес... О чем ты твякаешь, джюклори? Что ты нам всем хочешь сказать? Что вы – все – вообще можете нам сказать, если это именно вы убили нашу сестру Ветку? Вы убили – вам и отвечать. И не надо тут твякать...

– Убей меня, – прищурился на Парно Смутьян или, может, Грубиян. – Подойди ко мне и ударь меня ножом в мое сердце. А может, я убью тебя. Тут, знаешь, как кому повезет... Но все равно – еще одним цыганом на земле станет меньше...

– А потом, – влез в разговор Грубиян, или, может быть, Смутьян, – мы все станем резать друг друга, и через пять минут нас останется в два раза меньше, чем сейчас. А цыганских могил – рядом с могилой Ветки – станет в два раза больше!

Тут в рядах моего народца произошло шевеление, и рядом с братьями Смутьяном и Грубияном возник взъерошенный и злой Егор-Чюри. А вот Ян-Ченя по-прежнему отчего-то не показывался, будто бы он и вовсе загадочно исчез с лица земли...

– Ну, так кто из вас желает лечь первым рядом с Веткой? – прорычал Егор-Чюри. – Может быть, ты, Парно? Ну, так выходи, и мы посмотрим, кто из нас джюклори, а кто – чюри!..

Егор-Чюри прождал целую минуту, но никто к нему так и не вышел: даже сам Парно – и тот не вышел. И Егор-Чюри наполовину успокоился.

– Налачоро... Чibaкироро... – проворчал он. – Черти... Болтуны... Только и знаете, что болтать... А вот мы – предлагаем вам дело. Настоящее дело, справедливое! И там, в этом справедливом деле, мы поглядим друг на друга и поймем, кто из нас кто... Налачоро... Значит, вот что мы вам предлагаем, ромалэ, а также и вам, гаджэ. У каждого цыгана имеется при себе нож: а если каждому поискать у себя за пазухой, то, кроме ножа, отыщется и кое-что посерьезнее. Я знаю, отыщется... А у гаджэ есть колья. А вот это – дорога. А там, в той стороне, город. А в том городе – люди, которые убили Ветку. Все мы знаем, ромалэ, кто убил Ветку... Ну и для чего нам резать друг друга на этой мокрой дороге и для чего нам бить друг друга по голове кольями? Для чего, ромалэ и гаджэ? Что нам, голым и голодным, делить между собой, когда мы можем с нашими ножами и кольями пойти по этой дороге, вернуться в город и рассчитаться с теми, кто убил нашу сестру Ветку? Мангаса тумэн тэ пилэн амаро подаркицо, джюкэлэ! Получите от нас подарочек, собаки, – так мы им скажем!.. Ну, так кто желает пойти с нами по этой дороге? Ты, Ян-Ченя? Ты, Парно? Вы – Киндо, Чордо и Ягори? Вы, Степан и Демид! Ты, Арсен?.. Ну так – пошли!..

Эта долгая речь Егора-Чюри возымела свое действие как на цыган, так и на гаджэ. С обеих сторон раздались радостные крики, и очень скоро к Егору-Чюри и братьям Смутьяну и Грубияну стали подходить цыгане из тех, кто помоложе и попроворнее: даже гаджэ вместе со своими кольями присоединились к компании. Вот это был оборот так оборот, вот сейчас-то и начиналась истинная беда! Не зря мы с баро Серафимом безмолвно общались глазами, и не напрасно наши души маялись в тяжких предчувствиях! Потому что сейчас, на этой раскисшей от негаданной оттепели дороге затевалось дело, которого не видано еще было под небесами! Цыгане намеревались идти войной на город и убивать людей! Никогда еще, говорю, не происходило ничего подобного на этой скорбной земле! Цыган – тех убивали всегда, во все века, и сами цыгане, случалось, убивали друг дружку. Но – никогда цыга-

не не ополчались войной на других людей, даже если эти люди и были виноваты перед цыганами! Таких людей цыгане всегда прощали или, если не могли простить, старались о них поскорее позабыть, уйти из их городов и никогда туда больше не возвращаться. Так велел цыганский закон, а цыганский закон всегда цыганами исполнялся, потому что если бы он не исполнялся, то, наверно, не было бы давно уже на свете и самих цыган... Никогда не нужна была цыганам война, и ни с кем не должен воевать цыган: даже – если уже и не вмогуту, даже – если цыган преисполнен отчаянья, и ему кажется, что не остается никакого иного выхода, кроме войны... Потому что цыган на этой земле – не воин, у цыгана под этими небесами иное предназначение... Но сегодня – случилось то, что случилось. Под водительством моих молодых зверей – Егора-Чюри и братьев Смутьяна и Грубияна образовался отряд цыганских мстителей, желающих идти в город, чтобы там резать и стрелять гаджэ. О, беда, о, бибхат! О, беда! О, горе! Воистину беда и горе – еще и потому, что не было у этого отчаявшегося, опрометчивого отряда ни малейших надежд на победу! Не может победить тот, кто намерен воевать со всем миром... А, между прочим, Ян-Ченя отчего-то к отряду присоединиться не пожелал, и я опять краем своего разумения обратил на это внимание...

Очень скоро цыганский отряд был готов к тому, чтобы по раскисшей зимней дороге идти на собственную гибель. К отряду присоединились почти все молодые цыгане-мужчины, а также и все шестеро гаджэ. И только Арсен и Ян-Ченя не присоединились к отряду. Что касается Арсена, то он, сдавалось мне, вообще не обращал никакого внимания на всю эту кутерьму, а сидел у изголовья могилы на грязном снегу, смотрел куда-то в пространство и шевелил губами, будто бы читал молитву или повторял чье-то имя...

– Ангил! – скомандовал Егор-Чюри своему отряду. – Вперед! Мы покажем этим гаджэ!..

Надо было что-то делать, надо было спасти этих молодых отчаявшихся зверей, да и всех прочих цыган заодно, потому что если погибнут эти молодые звери, то и все мы, оба цыганских рода, погибнем вслед за ними.

– Стойте! – крикнул я. – Палэ! Назад!

– Остановитесь! – крикнул вслед за мной и баро Серафим. – Глупцы... дылыно... куда вы собрались? За смертью вы собрались!..

И мы вдвоем с баро Серафимом встали поперек дороги, чтобы помешать этим безумцам. Нас было всего двое, и мы были старики, а их было много, и они были молодые, отчаявшиеся и злые. Они не ожидали, что мы встанем поперек их пути, и остановились. Они не знали, что с нами делать и как нас миновать, потому что мы с Серафимом были стариками и баро, а стариков и баро цыгане уважают и слушают, уважение к старикам и баро присутствует в крови у всякого цыгана. Но – очень скоро из толпы вперед вышел Егор-Чюри, следом за ним – Парно, а затем – братья Смутьян и Грубиян и еще кто-то...

– Криго! – тихо и яростно сказал мне и Серафиму Егор-Чюри. – Прочь! Дайте нам дорогу!

Мы с Серафимом ничего не ответили, но и не сдвинулись с места. Мы стояли и ждали, что же будет дальше. Я и Серафим ощущали себя... я не знаю, как бы правильнее объяснить такое свое ощущение... наверно, мы ощущали себя преградой, вставшей на пути реки. Река была злой, стремительной и нерассуждающей, а преграда – маленькой и слабой, но она, преграда, была последним препятствием на пути злой реки. И по этой-то причине преграда должна была во что бы ни стало выстоять, иначе – злая река погубила бы все на своем безумном пути... И потому-то я и Серафим стояли и ожидали, что же будет дальше.

– Криго! – крикнул на этот раз Парно. – Прочь с дороги!

– Убери меня с дороги, Парно, – сказал я. – И своего баро Серафима также убери с дороги. А ты, Егор, помоги Парно убрать нас с дороги. И тогда – вы пойдете. Тогда – но не раньше...

– Криго! – выкрикнули братья Смутьян и Грубиян. – Кто вы такие, чтобы стоять поперек нашего пути?

– Мы – ваши баро, – сказал Серафим.

– Вы – старики! – с прежней злостью прошипел Егор-Чюри. – Ты, Иван, – пхуро! И ты, Серафим, также пхуро! Это из-за вас погибла Ветка! Это вы виноваты в том, что мы сейчас здесь, на этой дороге!

– В чем же мы виновны? – горько спросил Серафим. – В том, что все мы – цыгане, и мир за это нас ненавидит?

– Вы – умрете, – поддержал я Серафима. – Как только вы войдете в город, так сразу же и умрете... И ты, Егор, умрешь, и ты, Парно, и вы, Грубиян со Смутьяном... все вы умрете! А тот, кто останется жив, сядет в тюрьму на долгие

годы, а это все равно, что смерть. А следом – умрем и все мы: ваши отцы и матери, братья и сестры... Мы без вас не выживем. Если вы хотите именно этого, тогда – идите в город...

– Пойдем мы в город или не пойдем – мы все равно умрем! – закричали в два голоса братья Смутьян и Грубиян. – Вот настанет ночь – и умрем! Все до одного! Прямо здесь, посреди этой дороги! Замерзнем от стужи! Даже цыганские костры нас не спасут!

– Мы похоронили Ветку – и больше нам здесь делать нечего, – сказал я. – Сейчас мы все пойдем...

– Пойдем – куда? – выкрикнул кто-то из опрометчивого цыганского отряда. – Ну так – куда мы все пойдем? Ответь нам, если ты – баро!

– Ангил и дурэдыр, – сказал я. – Вперед и дальше...

– Ангил и дурэдыр! – озлобленно проскрипел Егор-Чюри. – Ангил и дурэдыр... Куда же ты намерен нас повести на этот раз, пхуро? Кто и где нас ожидает? Кто даст нам пристанище?..

– Нас, – опять на пару закричали братья Грубиян и Смутьян, – изгнали из далекого южного города, куда ты, баро, нас привел! Нас изгнали и из этого – сибирского – города. Нас выкурили из него газом! Нас изгнали уже из тысячи городов! Сколько мы живем на свете, столько нас гонят и гонят – с одного края земли на другой край!.. Мы ничего не видели на свете, кроме дорог! Одни только дороги! И мы спрашиваем – когда же они закончатся, эти дороги? Никогда они не закончатся – вот что мы думаем! И ответь нам, если ты – баро: откуда нас изгонят завтра, если кто-нибудь из нас к утру останется живым?..

– Нам надо идти, – повторил я. – Всем нам надо идти, ромалэ. Ангил и дурэдыр... Мы – цыгане, и мы не должны воевать. Мы не должны воевать, потому что мы не можем победить. Мы не можем победить, потому что нам придется воевать со всем миром. Нельзя победить, когда воюешь со всем миром. Когда воюешь со всем миром, можно только умереть...

– Вы, ромалэ, не хуже нас знаете наши законы, – поддержал меня баро Серафим. – Цыган никого не должен убивать.

– А нас – убивать можно! – выкрикнул Парно. – Нас, ни в чем не повинных, убивать – можно? Ветку после ее первой брачной ночи убивать – можно? Так мы тебя должны понимать, пхуро? Или – мы должны понимать тебя как-то иначе?

– Таков наш закон, – повторил баро Серафим. – Не мы его придумали и не нам его отменять. Мы должны идти...

– К черту ваши законы! – закричали сразу несколько человек. – Мы вам больше не верим! Мы не хотим таких законов! Мы сами для себя закон! Мы не желаем, чтобы нас убивали! Мы сами будем убивать! Пойдем, ромалэ! Повоюем малость с этими собаками гаджэ!..

– Тогда для начала убейте нас, – сказал я. – Меня и баро Серафима. Убейте нас, переступите через наши мертвые тела и идите...

– И убьем! – закричала теперь уже едва ли не вся отчаявшаяся орава. – И перешагнем через тела! Вы – старики! И законы ваши – глупые и никому не нужные! Для чего нам такие законы! Мы все умрем, если будем думать о каких-то законах! А мы не хотим умирать!..

И в руках у многих цыган сверкнули ножи. И шестеро гаджэ взмахнули своими кольями. И, мелькнуло у меня в голове, жить нам с баро Серафимом оставались какие-то мгновения. А всем прочим нашим цыганам – самое большее до полуночи, потому что в полночь вместо оттепели обязательно ударит мороз, и даже цыганские костры никого не спасут... «Дэвлалэ, – хотел сказать я напоследок. – Господи...» Но – я ничего не успел сказать. За меня это слово произнесла бабка Аза, моя жена.

– Дэвлалэ! – вдруг закричала бабка Аза, и закричала она так страшно, что ножи цыган замерли у наших с баро Серафимом старых сердец, и колья гаджэ не опустились на наши головы. – Господи! Ты же все видишь, Дэвлалэ, и чего же Ты еще ждешь? На что ты еще надеешься, Дэвлалэ? Ты, может, думаешь, что этих людей и весь этот мир можно исправить? Так Ты ошибаешься, Дэвлалэ, потому что в этих людях и во всем этом мире не осталось никакого добра! Никакого добра, Дэвлалэ!..

И с такими-то страшными словами моя супруга, пхуромны Аза, упала лицом в грязный снег и тягуче, по-звериному, завывала. Все знали, что бабка Аза была старухой угрюмой и малословной, и поэтому никто не ожидал, что именно она выкрикнет такие страшные слова и забьется затем на мокром и грязном снегу в жутком припадке, как рухнувшая с небес подстреленная птица. Уж кто-кто, но только не угрюмая и малословная пхуромны Аза... Но – произошло то, что произошло, и именно такое неслыханное дело и отсрочило нашу с баро Серафимом неминуемую

смерть. Ромалэ опустили свои ножи, а гаджэ – свои колья, и все стали смотреть на воющую звериным воем старуху Азу.

Но очень скоро все началось сызнова. Едва только бабка Аза окончила свое вытье и, будто мертвая обтрепанная птица, замерла на снегу вниз лицом, цыгане с ножами и гаджэ с кольями вновь подступили ко мне и Серафиму... Однако по неизъяснимому Господнему разумению и в этот миг мы с баро Серафимом не умерли. На этот раз умереть нам не дал Ян-Ченя. Да-да, тот самый Ян-Ченя, самый наш главный и самый яростный молодой зверь, который, по здравому рассуждению, как раз и должен был первым вонзить свой острый нож в мое старое сердце и затем, переступив через мое тело, повести других цыган в город и там, в городе, умереть проклятой, совсем не цыганской смертью...

Так вот – этот яростный молодой зверь и отвел от меня и Серафима неминуемую смерть. Все время, пока продолжалась смута, он никак себя не проявлял и отчего-то скрывался за чужими спинами, а тут вдруг возник на виду у всех, да притом – как возник! С гитарой в руках! Оказывается, когда там, в бараках, мы все стремглав убегали от неминуемой смерти, и каждый из нас на бегу хватал любой подвернувшийся под руку цыганский скарб, Ян-Ченя схватил не абы что, а свою гитару! Ну да оно было и понятно: Ян-Ченя почти никогда не расставался со своей гитарой... Вместе с Яном-Ченей вышла вперед и его сестра Алена. Они вышли вдвоем, и Ян-Ченя изо всех сил ударил по гитарным струнам: раз, другой, третий...

Бывают в жизни случаи, когда не до музыки, когда музыка никому не нужна, когда она неуместна и бессмысленна просто-таки до крайнего предела. Но, с другой стороны, именно в такие-то жизненные моменты музыка и творит чудеса: она вынуждает остановиться на пути в пропасть, опустить занесенный над человеческой головой кол и спрятать обратно за пояс нож, вздохнуть, оглянуться... Бывают, говорю, такие случаи в жизни, и такой-то случай произошел сейчас. Заслышав яростный гитарный крик, все оглянулись с недоумением. Гитара? Зачем? Кому и для чего нужна сейчас гитара? Не до гитары сейчас!.. Но – гитара все кричала и кричала, и играл-то на ней Ян-Ченя, самый яростный из всех наших молодых зверей. Он все бил и бил по струнам, а затем, по-волчьи оскалась, прокричал:

– А кто из вас, ромалэ, умеет играть танец цыганочку? Ну, так кто же из вас сможет сыграть цыганочку? А, ромалэ?..

Умели многие, потому что почти все здесь были цыганами, а что же ты за цыган, если ты никогда не брал в руки гитары? И те, кто брали в руки гитару, первым делом выучивали цыганочку. Поэтому, по здравому рассуждению, Ян-Ченя кричал бессмысленные слова, но очень мало в тот миг было смысла на этой раскисшей и ведущей неведомо куда дороге, где много злобы, отчаяния и ненависти, там всегда мало смысла... А Ян-Ченя между тем все бил и бил по гитарным струнам и все продолжал кричать:

– Цыганочка! Цыганочка! Ну, так кто же из вас, ромалэ, сыграет мне цыганочку? Мне – и моей сестре Алене! Мы хотим станцевать цыганочку! Прямо сейчас, прямо здесь! Ну, ромалэ! Вот же моя гитара! Вам, – взмахнул Ян-Ченя рукой в сторону тех, кто намеревался идти в город, – я не доверю моей гитары! У вас грязные руки! Вы их запачкали о свои острые ножи, а гаджэ – о свои колья! На гитаре можно играть только чистыми руками – таков наш цыганский закон! А вот куда подевался старый Лолинько? Я спрашиваю – где Лолинько? Пускай выйдет и покажет себя, если он живой!

В толпе стариков и детей обозначилось шевеление, и скоро к Яну-Чене подошел старый Лолинько. В былые давние годы Лолинько был очень хорошим музыкантом – даже среди самих цыган, где каждый второй – музыкант. Ах, как же этот Лолинько играл в прежние годы на ярмарках, вокзалах и прочих цыганских местах! От его игры умиленными слезами плакали и гаджэ, и цыгане, и даже цыганские лошади... А затем Лолинько постарел, его пальцы огрубели и скрючились, и он редко стал прикасаться к гитаре, можно сказать – в исключительных случаях... И вот сейчас как раз и был исключительный случай, и старый цыган Лолинько подошел к Яну-Чене и взял у него из рук гитару.

– Играй, Лолинько! – сверкнул глазами Ян-Ченя. – Играй так, как ты умеешь, и даже еще лучше! Играй – как последний раз в своей жизни! А мы с Аленой будем танцевать!

И пхуро Лолинько заиграл так, как он умел, и даже еще лучше. Он заиграл, как последний раз в своей жизни. А Ян-Ченя и его сестра Алена пустились в танец. Они танцевали цыганочку – прямо на раскисшей от оттепели дороге. Они танцевали, и влажный снег синими ошметьями летел во

все стороны из-под их молодых и легких ног. Они танцевали и были похожи на двух молодых, стремительных птиц, которые вот-вот оторвутся от этой страшной и грешной земли и взлетят в самые небеса – туда, где обитает всемогущий и справедливый Господь. «А-ча-ча! А-ча-ча! – выговаривал Ян-Ченя в такт музыке и собственным молодым и легким ногам. – Ах! Ах! Джяв! Джяв!..» А его сестра Алена и вовсе ничего не говорила: она вся была в танце, как птица в полете, и только горели ее большие цыганские глаза на молодом лице и разлетались во все стороны ее прекрасные волосы цвета воронова крыла...

Цыгане на этой скорбной земле – вечные дети. И цыганское отношение к миру – всегда детское, и все цыганские дела и поступки – даже если это жестокие дела и поступки – также сродни детским. Сколько времени старый Лолинько играл на гитаре и сколько времени танцевали Ян-Ченя с Аленой? Может, всего пять минут, может, семь минут – не больше. Но и такого малого времени оказалось достаточно, чтобы случилось чудо. Вначале к старому Лолинько и Яну-Чене с Аленой стали подходить женщины, старики и дети. Затем подала признаки жизни моя супруга бабка Аза. Она шевельнулась, приподняла голову, а затем села на мокром снегу и стала вслушиваться в музыку и всматриваться в танцующих Яна-Ченю и его сестру Алenu. А затем смятение произошло и в погибельном отряде. Одна его часть по-прежнему оставалась мрачной и решительной, а вот другая часть – встрепенулась и потянулась в ту сторону, где была музыка и танец «цыганочка». И это – был перелом, это – было спасением: и для самого погибельного отряда, и для всех нас, прочих цыган из двух родов. Потому что я знал: коль одна половина цыган пошла туда, где музыка, то и другая половина цыган также пойдет вослед за первой. И баро Серафим также это знал. Мы оба это знали. Мы знали, что цыгане – это вечные дети, которые никогда не повзрослеют...

Так оно и случилось: скоро цыгане спрятали свои ножи, а гаджэ опустили свои колья, и весь погибельный отряд столпился вокруг старого Лолинько с гитарой и Яна-Чени с его сестрой Аленой. И тогда Ян-Ченя, не останавливаясь в своем танце, крикнул:

– А вот кто со мной, ромалэ! Присоединяйтесь! Эта дорога – длинная, и места на ней хватит всем! А-ча-ча! А-ча-ча! Чин! Чин! Джяв! Джяв!..

Первыми к Яну-Чене и Алене присоединились простодушные братья Грубиян и Смутьян. Затем в круг вошла тоненькая синеглазая цыганочка из Веткина рода. Затем – юная девочка из нашего рода. Затем – сразу пятеро молодых цыган из обеих родов. И – понеслись цыганские воровые по кочкам да неведомым путям-дорогам! Очень скоро «цыганочку» стали танцевать почти все молодые цыгане и даже трое гаджэ. Даже главные заводилы – Егор-Чюри и Парно также не удержались и вошли в круг. Не танцевали только мы с баро Серафимом да еще дети и старики: дети радостно кричали и хлопали в ладоши, а старики смотрели на пляску скорбными глазами, и некоторые из стариков плакали. Ну, да ведь оно всегда было так, то есть всегда старые цыгане плачут, когда молодые – танцуют. Они плачут потому, что слишком много повидали на своем цыганском веку и слишком хорошо знали цену таким вот самозабвенным, отчаянным танцам, в которых очень мало было радости, а много было желанья позабыть о скитаниях, голодных и холодных дорогах и одиноких цыганских могилах на обочинах этих дорог...

...Как оно обыкновенно и бывает, танец кончился внезапно. Старый Лолинько в последний раз ударил всей своей скрюченной пятерней по струнам, и гитара замолкла – и только эхо, все никак не желая утихать, долго еще перекликалось и звенело промеж черных деревьев, но затем и эхо также затихло... Дело было сделано, никто не хотел больше идти воевать. Все стали смотреть на меня и на Серафима, ожидая наших слов и распоряжений. Но слова сказали не мы, а все тот же Ян-Ченя. Он взял из рук старого Лолинько свою гитару, небрежно закинул ее себе на плечо и не торопясь подошел ко мне и Серафиму.

– Надо идти, баро, – сказал мне Ян-Ченя. – Глянь на восток: вот уже и первая чергэн появилась на небе. И вы тоже гляньте, ромалэ. Это очень злая чергэн. Она несет нам погибель...

Там, на востоке, находился город, из которого нас изгнали сегодня поутру. И там же, на восточной стороне неба, загорелась первая звезда. И это означало многое. Это означало, что день миновал и скоро настанет вечер, а за ним – и ночь. И еще это означало, что наступающая ночь будет морозной. О том нам говорила взошедшая на востоке первая звезда. Мы, цыгане, понимаем толк в звездах, и мы всегда знаем, что они нам сулят. Если бы мы этого не знали, то, может быть, на свете давно уже не было бы никаких

цыган. Ян-Ченя был прав: та звезда, о которой я говорю, сулила нам погибель...

– Вижу, – отозвался на мой беззвучный вопрос баро Серафим. – Все я вижу...

– Ромалэ, – сказал я и указал на звезду. – Нам надо идти. Нам надо идти, если мы хотим дожить до завтрашнего утра...

На сей раз никто не сказал мне никакого слова поперек: все понимали, что надо идти. И – все стали готовиться к отходу. Скарба у нас не было почти никакого, весь наш скарб остался там, в городе, в тех страшных бараках... Поэтому приготовились к отходу мы быстро. Мои люди встали за моей спиной, люди баро Серафима – за его спиной. И только шестеро гаджэ столпились в стороне, да еще несчастный Арсен оставался у могилы своей жены Ветки – правда, теперь он уже не сидел, а лежал, уронив лицо на скорбный холмик под калиновым, с алыми ягодами кустом... Ян-Ченя подошел к Арсену и опустился перед ним на колени.

– Арсен, – сказал Ян-Ченя. – Мы – уходим. Надо идти, Арсен...

Но Арсен как лежал вниз лицом на могиле своей жены Ветки, так и остался лежать. Может быть, он и вовсе не слышал слов Яна-Чени, или, может, он их не понимал... Ян-Ченя оглянулся, и тотчас же к нему подошли братья Смутьян и Грубиян. Они бережно взяли Арсена под руки и подняли его с сырой земли. Арсен не сопротивлялся...

– Ну а вы – что же? – подошел я к шестерым гаджэ. – Если хотите, можете идти с нами. Куда мы – туда и вы... Наш хлеб будет и вашим хлебом...

Какое-то время гаджэ переглядывались между собой, а затем пятеро из них покачали головами: нет, с нами они идти не желают, они пойдут обратно в город. И только шестой гаджэ – молодой, русоволосый и зеленоглазый – сказал:

– Я – пойду с вами. Если примете...

– Как тебя звать, чяво? – спросил я у него.

– Я не помню, – сказал он. – Я позабыл свое имя. В городе – сегодня утром...

От такого ответа у меня вдруг перехватило дыхание: мне захотелось заплакать и обнять этого доселе незнакомого мне русоволосого зеленоглазого мальчика. Потому что он сказал честные и горькие слова. Такие слова невозможно сказать просто так, с налету, не выстрадав их в своей душе. Предельно велика была цена таким словам.

– Ничего страшного, сынок, – сказал я ему. – Мы придумаем тебе новое имя. Например, Роман. Ты хочешь, чтобы тебя звали Романом?

– Да, – сказал он, – хочу...

– Ромалэ, – сказал я громко. – Сегодня у нас и горе, и радость. Горе у нас оттого, что сегодня мы похоронили цыганку Ветку. А радость – оттого, что сегодня одним цыганом на свете стало больше! Вот он, новый цыган. Его зовут Роман. Ну, а какой он человек – про то мы все узнаем очень скоро...

Никто, конечно, не изъявил никаких восторгов после моих слов. Просто – все коротко взглянули на Романа, да и только. И это было объяснимо, потому что назваться цыганом и быть цыганом – не одно и то же. Между этими двумя понятиями – бездна, и мост через эту бездну сделан из горя и отчаяния, голода и холода, нескончаемых дорог и неудобных пристанищ, и только редкими гвоздями в этом мосту – покой, любовь и радость. Дай Боже, чтобы наш новый цыган Роман был хорошим человеком, помоги ему в этом, добрый и всемилостивый Дэвэлалэ...

– Уходим, ромалэ! – сказал я своим цыганам.

– Уходим, ромалэ! – сказал своим цыганам баро Серафим. – Прощаемся с нашей Веткой – и уходим!..

И все мы стали прощаться с Веткой. По одному мы подходили к холмику под калиновым кустом, на миг останавливались – вот и все прощание: если цыган умер и его похоронили в пути, с ним всегда прощаются наскоро: потому что – живых зовут дорога, потому что – живым надо идти...

Попрощавшись с Веткой, мы вновь выстроились напротив друг друга – в последний раз. Мои люди стояли за моей спиной, люди из рода Ветки – за спиной своего баро Серафима. Мы смотрели друг на друга и ничего друг другу не говорили, потому что – нечего нам было друг другу сказать. Все уже было сказано, и не надо было больше никаких слов. Жестокий нынешний день безо всяких слов все расставил по своим местам – окончательно и навсегда. Наш род и род Ветки расставались. Мы, слава Богу, расставались не врагами, но и – не друзьями. Отныне и до скончания века наши дороги всегда будут порознь. Смерть несчастной и ни в чем не повинной цыганки Ветки всегда будет стоять промеж нашими родами, и потому наши пути никогда больше не пересекутся и не сольются воедино.

Если мы пойдем на восток, то род баро Серафима пойдет на запад, а если мы пойдем на юг, то они обязательно пойдут на север...

– Прощай, Серафим, – сказал я баро Серафиму.

– Прощай и ты, – ответил баро Серафим, помолчал и добавил: – Жэко кирло... По горло...

– Жэко кирло... – с тоской повторил я. – Не поминай меня злом, пхуро. И твой народ пускай не поминает нас злыми словами. Потому что – и без того много зла на свете. И одно зло другим злом не изгонишь...

– И вы не поминайте нас злом, – сказал баро Серафим.

Пока мы с Серафимом прощались, оба наших народца молчали. Потому что – так оно полагается по цыганскому закону. Когда два баро прощаются, ромалэ должны молчать...

– Авэн, ромалэ! – сказал я своему народцу. – Пойдемте, люди...

– Прощайте, ромалэ! – со злой веселостью выкрикнул кто-то за моей спиной: кажется, это был Егор-Чюри. – И вы, гаджэ, также прощайте! Возвращайтесь в свой город, найдите там того самого начальника и передайте ему, что он – злыдари и джювало джюкэл! Так и передайте – он поймет!.. И еще передайте, чтобы он берег свои карманы! Потому что – мы еще вернемся в его поганый город! Земля – она, говорят, круглая!..

А затем мы пошли, и мне в последний раз почудилось, что все мы – колосья на забытой пахаре ниве. Как мы ни крепились и как мы ни надеялись удержаться своими немощными корнями на своей ниве, но подул злой ветер и сорвал нас с места, и, влекомые ветром, мы все покатались, сами не зная куда. Я повел свой народец на запад, и в наши спины светила яростная предвечерняя чергэн. И я невольно подумал: сдается, впервые мне и моему народцу приходится уходить от звезды. Раньше всякая чергэн была для нас путеводной, а вот нынче – она предвещала нам гибель. Ах, каким же страшным выдался сегодняшний день – от его начала до его окончания!.. Рядом со мною молчали Ян-Ченя и его сестра Алена.

– Спасибо тебе, – сказал я Яну-Чене. – За весь сегодняшний день тебе спасибо. Потому что – если бы не ты...

– Не трать слов, баро, – ответил мне Ян-Ченя и оглянулся на звезду. – Что – слова? Они – не накормят и не согреют. Надо идти...

Ян-Ченя, конечно же, был прав: слова не накормят и не согреют, а потому – надо идти. И – тут же я понял, кто будет следующим баро моего народца после меня. Им будет Ян-Ченя. Он будет баро потому, что сегодняшний жестокий день его изменил и переделал в правильную сторону. Горе – оно трогает человека по-разному: тут, наверно, многое зависит от самого человека. Одно-го человека горе ожесточает, другого – повергает в печаль, а третий от горя становится мудрым. Ян-Ченя был из третьих: сегодняшнее горе сделало его мудрым. Сейчас рядом со мной шел совсем другой, нежели чем был прежде, Ян-Ченя, мудрый и терпеливый. А баро и должен быть мудрым и терпеливым. Поэтому-то Ян-Ченя и будет новым баро моего народца. «Вот, – скажу я моему народцу, – ваш новый баро. Он вас и согреет, и накормит. А я – пхуро. Я – старик. Я – ничего больше не хочу в своей жизни, и сама моя жизнь мне в тягость. И пускай Господь дарует вам и вашему новому баро легкой жизни и хлеба досыта, хотя я в том и сомневаюсь, потому что не для легкого хлеба сотворил Господь цыган...» Так я скажу моему народцу, и больше мне нечего будет ему сказать. Но вначале мне надобно вместе со своим народцем убежать от вещающей погибель зеленой предвечерней звезды и привести всех хоть под какую-нибудь крышу...

...Пройдя сто или сто пятьдесят шагов, мы остановились и как один оглянулись. В общем, мы увидели то, что и ожидали увидеть. На восток, обратно в город, навстречу злой зеленой звезде, уходили пятеро гаджé. Они шли и постоянно на нас озирались, и было такое ощущение, что сейчас они все остановятся, повернут обратно и пойдут с нами или с народишком баро Сера-

фима. Но они не остановились и не повернули, а все шли и шли в сторону своего города и все озирались и озирались, и скоро их почти не стало видно из-за вечерних сумерек... А на север, прямо по редколесью и по синему глубокому снегу, уходил народишко баро Серафима. Идти им было трудно, и, может быть, именно потому они не останавливались и не оборачивались. Наверно, они и не пошли бы по редколесью и по тяжелому синему снегу, да только – некуда им больше было идти. В обозримом пространстве была лишь одна дорога, а у дороги, как известно, всего только два конца. Один конец дороги вел обратно в город, навстречу злой зеленой звезде, и не было туда ходу цыганам, а по другому продолжению дороги я повел свой народец.

– Авэн, ромалэ, – сказал я своему народцу. – Авэн...

И мы пошли дальше, то и дело озираясь на злую зеленую звезду. Эта злая чергэн разгоралась все ярче и неистовее, и все быстрее становился наш шаг. Мы скользили, оступались, падали, помогали друг другу подняться и все шли и шли по нескончаемой дороге. Мы не знали, куда мы идем, но наше незнание нас ничуть не страшило. У всех у нас, во всех наших – с учетом нового цыгана Романа – сорока шести цыганских душах присутствовала великая и спасительная вера, что не позднее полуночи мы обязательно набредем на какой-нибудь приют, где будет и крыша над головой, и стены от четырех ветров, и, может быть, будет даже хлеб. Может быть, хлеба будет столько, что его хватит по ломтю на всех – на все сорок шесть цыганских душ. Если бы у нас не было такой веры, то, наверно, не было бы на этой земле и самих цыган...



Юрий  
ПЕРМИНОВ

ПЫЛЬЦА  
ТЕПЛА НОЧНОГО...



\* \* \*

В доме – хлебушек есть,  
ни один мой выносливый чёбот  
нынче каши не просит,  
поскольку и маслица нет:  
значит, смерти моей  
не дождутся вражины, о чём бы  
не вещал из дупла теляжника их меламед,  
или как там его...

Да какая мне разница! – Худо  
жить, кого-то боясь, кроме Господа:  
не на века  
злая сила...

Моя – в малой степени в том, что покуда  
в доме хлебушек есть,  
в том, что чёботы целы пока.

\* \* \*

Ночь. Плацкартный вагон.  
Вижу: взрослые спят и ребятки...  
Проводник выдаёт мне бельё и –  
по просьбе – стакан.  
Блеклый свет ночников  
омывает настойчиво пятки  
дорогих россиян.

Скорый поезд «Москва – Абакан» –  
наш, но временный дом.

Общежитие судеб.

Спроси я  
у любого: куда, мол? –  
Расскажет подробно. Пока  
спят попутчики, я помолчу-поскучаю...  
Россия  
и в плацкартном вагоне –  
вагоне ночном – велика!

77

Спит плацкартный вагон,  
спит родня по вагону – босая.  
Спит в ботинках турист  
(нехорошие хрипы внутри)...

Ночь проходит...  
О чём повествует нам утро, бросая  
в окна спелые гроздьи  
плывущей навстречу зари?..

\* \* \*

Спросило бы время: «Ты здешний?», –  
ответил бы: «Свой».  
Такой, что другого рассвета –  
ни капли не надо.

**ПЕРМИНОВ Юрий Петрович** родился 16 мая 1961 года в городе Омске. После учёбы в ОмГПИ им. Горького (филологический факультет) служил в рядах Советской армии (ЗабВО), работал на промышленных предприятиях города. С 1993 года – на журналистской работе: корреспондент, обозреватель, заместитель главного редактора, с 2005-го – главный редактор общественно-политической газеты «Омское время».

Автор семи поэтических книг. Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Новая книга России», «Родная Ладога», «Сибирские огни», «Алтай», «Простор», «Север», в «Литературной газете». Член Союза писателей России. Живёт в Омске.

...Рассветное время пульсирует  
 влажной листвой  
 кустов облепихи,  
 живущих напротив детсада.

Пока – тишина...  
 До неведомой близкой поры  
 она – по соседству – ещё уживается  
 с нами,  
 людьми, вызывающим  
 с тутошней Лысой горы  
 безбожного шума, базарного ора цунами...

Но – утро: мамыши ведут  
 ребятишек в детсад,  
 и время надеждой, пока невесомой  
 и тихой,  
 как бабочка,  
 дышит над городом утренним, над –  
 Бог ведает,  
 сколько живущей у нас – облепихой.

\*\*\*

Ночь – как бездна:  
 такая же чёрная, жуткая.  
 Ни тебе пешехода, ни зги, ни авто...  
 Синагогу на улице Маршала Жукова  
 милицейский наряд охраняет зато.

То, что давеча пряталось,  
 вылезло нонеча.  
 Время тенью лежит,  
 как под лавкой топор,  
 на дороге нечаемой...

На Рабиновича  
 охраняют менты православный собор.

Чечевичная память на поиски тёмного  
 потекла, и безродно болит о пустом...

Сам Господь согревает  
 бродягу бездомного,  
 прикорнувшего  
 под Ленинградским мостом.

\*\*\*

Помстилось мне: людей в округе нет,  
 есть – толпы, человеческие массы.  
 Сомкнулся мир настолько, что рассвет  
 встаёт из-за ближайшей теплотрассы,

где чутко, без мобилы и гроша,  
 укрывшись несминаемой рогожей,  
 спит Вечный Бомж, настойчиво дыша,  
 ни на кого на свете не похожий.

\*\*\*

Казались бесщётными летние дни, да  
 опутала город ненастная мгла.  
 Из осени в зиму дорога-планида  
 сквозь время и космос родной пролегла.

Надежды сердечной ручная синица  
 притихла на краешке стылого дня,  
 но жить от весны до весны разучиться  
 никто и ничто не заставит меня –  
 по собственной воле не смог бы иначе!..

Далёк от заката осенний рассвет,  
 но тягостный дождь, убаяканный плачем  
 младенца, несуетно сходит на нет...

\*\*\*

Привыкли мы довольствоваться кашей  
 и щами – лишь бы с крыши не текло,  
 но живы тем, что нам с округой нашей  
 взаимно и незыблемо тепло.  
 Здесь даже – беспробудные веками! –  
 пропьянствовав бессмертные души,  
 горящими с утра колосниками  
 округу согревают алкаши.

\*\*\*

Зарплаты нет, погода – хороша...  
 Вот и пора – отмыв от мыла холку –  
 пойти без цели, трезво, без гроша  
 бродить по бескорыстному посёлку.

Вот и брожу – по-свойски, не дрожа  
 за кошелёк...

Свободой – дорожу я,  
 но так, что сердце больше гаража,  
 коттеджа или – местного буржуа.

Мне жаль его, простого торгаша:  
 не знает он – любви в его палаты! –  
 как может быть погода хороша  
 без гаража, коттеджа и зарплаты.

\* \* \*

Проснуться рано – верная примета:  
к большому дню окраины родной.

...Тревожит самочувствие рассвета,  
лай во дворе и кашель за стеной.

Житуха!

Из подвального оконца  
парит – необитаемый подвал...

Тревожит вид болезный  
незнакомца –  
сердечник или водки перебрал?

Тончает лёд – не лёд уже, а плёнка.  
Прояснило...

И пенсии (а вот –  
квитки),  
как похоронки, почтальонка  
одышливо и медленно несёт...

\* \* \*

День жизни тоже срок не малый...

Возьмёт – легка ль её рука? –  
медичка буднично у мамы  
сегодня кровь с утра...

Века,  
как долгожданный свет, впитало  
пространство медленного дня...

Молитвой –

мама спит устало –  
дышу, кровинушка ея.

\* \* \*

В январе – погоды зимней ради –  
снег пошёл, на шаг сменив шажок:  
ползимы в сибирском нашем граде  
был не снег – бесчувственный снежок.  
Старожилы буднично ворчали,  
во дворах скучала детвора...

Нынче – только дворники в печали.  
Наш хотя бы, трезвенник...

С утра  
счастьем разрумянились мамыши,

дескать, на Крещение –  
не без  
Божьей воли –  
выпросили наши  
ребятишки снега у небес!

\* \* \*

Надо бы здоровьишко беречь, а я  
крепкий ... чай с утра пораньше пью.

Божья птичка – скворушка беспечная –  
залетела в комнату мою,  
где до безобразия накурено:  
утварь – заваливающая – в дыму...

Залетела к Перминову Юре, но  
знать не знает птичка, что к нему...

В голове – тревожных мыслей заросли,  
оседает  
свет в моём окне...

Что случилось в мире,  
если запросто  
залетела скворушка  
ко мне?

\* \* \*

Прибилась хрупкая звезда  
пичугой зимней к дому...

Я по-другому жил бы, да  
живу не по-другому.

Ночную жажду  
утолю  
с утра сердечной жаждой...

Сказал бы женщине: «Люблю»,  
но – говорю не каждой.

Зима – морозами крепка,  
но солнце – светит ало...

Слепил бы я снеговика,  
но снега нынче мало...

Ночная женщина, прости! –  
Как нищий – что не ново –  
стою под небом,  
а в горсти  
пыльца тепла ночного...

\*\*\*

Отчего же нынче не спалось? –  
Может быть, любовь меня не грела?  
Может быть, всю ночь земная ось  
как берёза старая скрипела?  
Оттого ли, что сегодня мал  
минимум прожиточный? –

Едва ли...

Или бомж беспаспортный стонал –  
не найдя провизию – в подвале?

Было тихо. Ночь была темна...  
Несмотря на долгую усталость,  
не спалось...

Поскольку... тишина  
в темноте мне вечной показалась.

\*\*\*

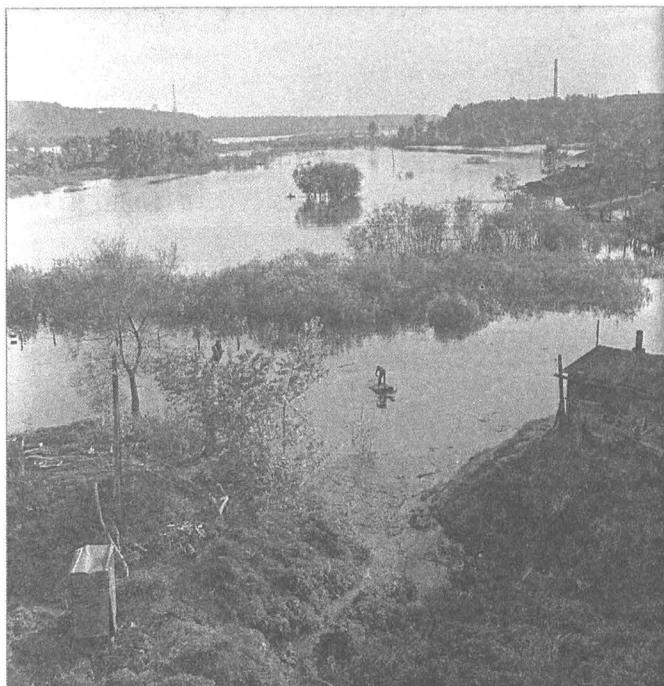
И подумать не мог, что у нас в ноябре  
будет солнечно,  
словно в погожем июне,  
в неказистом,  
обычно невзрачном дворе...  
Словно Пушкин сюда заглянул накануне!

Из окна моего – ослепительный вид.  
Здесь, конечно, не в сказке,  
но всё-таки жалко,  
что могла бы сидеть, но, увы, не сидит  
на ветвях  
неохватной рябины – русалка.

А с Кащеем – никто из жильцов не знаком,  
потому что окраина  
наша богата  
тем, что здесь никогда,  
слава Богу, в таком –  
чтобы чахнуть – количестве  
не было злата.



## Домашний архив



Юрий Дьяконов. Весна на Томи. Кемерово

**Владимир  
МАЗАЕВ**

**ПЕЩЕРА**

Повесть



Знаменитый Чуйский тракт вьет и вьет свои бесконечные петли. От этого однообразного кружения клонит в сон. Лида, привалившись к соседке, дремлет. Открывает она глаза оттого, что автобус, замедлив ход, ныряет в ущелье. Они едут по бому – узкой каменной полке, вырубленной в отвесной скале. Внизу шумит вспененная Катунь. Смотреть туда страшновато.

Далеко впереди в тесный коридор дороги вытягивается стадо. Шофер тормозит впритирку к каменному барьерчику, отделяющему дорогу от пропасти, глушит мотор. Ничего не поделаешь, такой порядок, надо ждать, пока пройдет стадо.

Первыми идут сарлыки. Маленькие горбатые животные косятся на машину, раздувают ноздри, хрюкают, как свиньи. На брюхе шерсть длинная, до земли. Они жмутся к скале, однако подгоняемые бичами погонщиков, галопом проносятся мимо машины.

Потом пошли овцы. Впереди вожак – крупный, с мощными рогами баран. Рога оттягивают голову назад. Шагах в двадцати от машины он останавливается, испуганно озираясь. Вместе с ним стоят, как загипнотизированные, передние овцы. Отара сзади напирает, и вожак упрямо бо-

роздит копытами дорогу. Погонщик далеко. Его лошадь, затертая живой массой, не может ступить шагу.

У сидящих в автобусе в недобром предчувствии сжимается сердце.

– Дурак! Трусливый дурак! – наивно тараторит Лида соседка. – Рога нажил, а ума нет! Трус рогатый!..

А отара все напирает. Погонщик спрыгнул с лошади и по спинам животных пытается пробраться вперед. Овцы испуганно блеют, задирая морды. Баран затравленно вертит рогатой башкой, глаза его наливаются кровью. Шофер запоздало нажимает на стартер, чтобы сдать назад. «Не надо!» – кричит погонщик.

Но уже поздно.

Баран, испуганный взревом мотора, кидается влево к скале, потом вправо к барьеру и неожиданно, с коротким пронзительным блеянием, перемахивает барьер, исчезает под обрывом. Лида соседка вскрикивает, закрывает руками лицо.

И тут начинается самое страшное. Овцы, фанатично следуя за вожаком, начинают одна за другой перемахивать барьер.

**МАЗАЕВ Владимир Михайлович** родился 12 мая 1933 года в селе Васильчуки Алтайского края. Прозаик. Окончил государственный педагогический институт. Автор более 20 книг прозы. Печатался в журналах: «Звезда», «Москва», «Наш современник», «Сибирские огни», «Советская литература» (на чешском языке, г. Прага), «Огни Кузбасса». Участвовал в сборниках: «Рассказы. Молодая проза Сибири» (Новосибирск, 1968), «Сибирский рассказ» (Новосибирск), «Смотрю в твои глаза» (Кемерово, 1997), «Категория жизни» (Москва, 1985), «Набат сердца» (Москва, 1988), «Рабочий характер» (Пермь, 1987), «Зов» (София, 1979), «Сибирский рассказ» (Будапешт, 1980), «Белые города» (Мюнхен, 1991), «Венок славы». Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 томах (Москва, 1984).

Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Из-за шума реки и рева ошалевшей отары падений не слышно; от этого трагедия происходящего становится особенно отчетливой.

Погонщик наконец добрался до головных. Рискавая быть спихнутым вниз, в пропасть, он вскакивает на каменную стенку и с искаженным от крика лицом бьет рукояткой бича по тупым орудиям мордам.

Овцы шарахаются от барьера. Потом мало-помалу заполняют узкую щель между скалой и автобусом. Когда отара проходит, погонщик тяжело взбирается в седло, подъезжает к машине.

Вытерев шапкой лоб и скулы, просит закурить. Крепкими зубами прикусывает папиросу, глубоко, жадно затягивается. Лида видит, как дрожат его пальцы, перебирающие поводок уздечки.

И потом всю дорогу до Горно-Алтайска перед ее глазами стояло молодое, блестящее от пота лицо погонщика и его сильные руки, вздрагивающие от пережитого напряжения.

Тетка не высказала большой радости по поводу приезда племянницы. Однако и не выразила неудовольствия. Приехала, ну и живи, тем более что племянница – девушка вполне самостоятельная, закончила курсы швей и на чужой шее сидеть не будет.

Она устроилась в мастерскую и тут же написала матери, что дела у нее идут хорошо и город ей нравится. В конце все же оговорила, что готова вернуться домой, как только там найдется работа по специальности.

Днем она трудилась в мастерской, а вечерами дома шила, продавала на рынке. Тетка целиком была занята хозяйством и семьей, и Лида жила сама по себе. Подруг у нее не было, да она и не пыталась их завести. В детстве она после неудачной операции долгое время страдала глухотой. В играх со сверстниками не участвовала – ее дразнили. И как все дети с физическими недостатками, была замкнутой и впечатлительной.

В один из воскресных дней Лида познакомилась на рынке с пожилой женщиной, торговавшей вязаными кофточками, шарфиками, беретами. Ей очень понравились кофточки. Женщина, участливо поговорив с ней, предложила научить этому нехитрому делу – вязанию кофточек.

Они стали встречаться.

Сидя где-нибудь в скверике или на скамейке чужого двора, Мирония (так звали женщину) обучала Лиду приемам вязания. Сама она вязала очень ловко, почти не глядя накидывала петли.

Костяной крючок так и мелькал в ее сухих цепких пальцах.

Так же ловко и плавно она умела говорить. Из-под темного, наглухо повязанного платка на Лиду смотрели острые пронизательные глаза. Дряблое, со старческим блеском лицо Миронии всегда было печально, и, слушая ее ровную, как вязание, речь, девушка мало-помалу проникалась к ней доверием.

– Ты, сестричка моя, – говорила Мирония, – очень молода. Но ты познала уже, что повреждает душу. Ты повинешься во всем воле своей, а это уже нехорошо.

– Почему – нехорошо? – спрашивала девушка.

– Потому, что это противно воле нашего спасителя.

– А кто ваш Спаситель?

– Я говорю о Боге, – Мирония поднимала глаза к небу, крестилась двумя перстами. – Бог – он, сестричка моя, невообразим по своему существу и непостижим для нашего разума. Он вызвал к бытию все видимое, создал человека и ввел его в рай. А человек, по зависти дьявола, впал в преслушание. Спаситель наш, победив смертью своей дьявола, восшел на небеса и нас призывает туда же...

– Вы так странно говорите...

– Не я так странно говорю. А ты, сестра моя, живущая по своей прихоти, так странно смотришь на истины жизни духовной...

Мирония, собрав в кошелку вязание, уходила. А девушка еще долго сидела на скамейке, наедине с охватившими ее чувствами.

После этих ласковых и тихих бесед на душе оставался легкий осадок грусти. Хотелось почему-то вспоминать трудные моменты своей жизни – гибель отца, полуголодное детство, ужас и стыд глухоты, одинокие игры с тряпичными куклами, все большие и маленькие обиды; вспоминать и кому-то жаловаться, жаловаться...

Жизнь в Горно-Алтайске среди чужих людей, работа в мастерской давали мало радостных минут. И перед Лидой постепенно встал тяжелый, как глыба на тропе одинокого путника, вопрос: для чего живет человек?

В самом деле, для чего? Чтобы есть, спать, работать, дать жизнь детям и безропотно дожидаться старости? А дети начнут все сначала? Но зачем это? Кому это нужно? Сидя над стрекочущей машинкой, Лида до головной боли думала: зачем? зачем? зачем?..

Встречи с Миронией продолжались. Девушку смущало лишь одно: почему новая знакомая встречается с ней где угодно, только не у себя дома. Однажды она осторожно спросила об этом. Мирония, смиренно взглянув на девушку, сказала, что у нее нет дома.

— Как нет? Но вы же где-то живете, ночуете? — удивилась Лида.

— Нету дома у меня, — повторила Мирония, и лицо ее сделалось скорбным и даже в чем-то несчастным. — Есть только пристанище.

— Пристанище?

— Владыка наш — терпеливо пояснила Мирония, — провел земную жизнь странником, не имея дома. Если он, творец наш, не имел, где приклонить голову, то я, несчастный человек, почему должна высокоумствовать о себе?

«Действительно, почему?» — подумала Лида, и с этого момента тетушка Мирония с ее набожностью и непривычно ласковыми речами стала расти в ее глазах. «Что у нее за вера такая, что она на все имеет готовые ответы, ни над чем, кажется, не мучается и ни о чем не переживает?»

...В этот небольшой южный город поезд пришел ночью. Среди немногих пассажиров на перрон вышли две укутанные в платки женщины — старая и молодая. Они торопливо перешли площадь, сели в такси, которое давно ожидало их. Машина помчала по широким пустынным улицам.

Стояла глубокая осень. Ветер гулял по опавшим садам, приносил в машину запахи прелой листвы, фруктов. Таксист в расшитой тюбетейке и с перстнями на пальцах, не спросивший ничего, не проронивший за всю дорогу ни слова, после долгих петляний остановился возле дома на одной из окраинных улиц города. Дом был обнесен глухой оградой-дувалом, а во дворе гремела, бегая вдоль проволоки, как трамвай, огромная собака.

Через минуту щелкнула калитка. Две женские фигурки, словно две тени, исчезли за высоким дувалом.

Дом, в который так неожиданно попала Лида, поразил царившей в нем тишиной и загадочной умиротворенностью. С улицы, отгороженной дувалом и стеной деревьев, не доносилось ни звука. Редкое шарканье ног, разговор вполшепота глохли в коврах, в бесчисленных складках занавесей, шторок, покрывал.

Тишина была тем более удивительной, что дом кишел людьми.

В первые дни, бродя по дальним комнатам, Лида то и дело наталкивалась на молчаливые коленапреклоненные фигуры. Женщины в черных до пят платьях были похожи на ожившие тени. Были тут и мужчины. Их аскетически-скорбные лица пугали. У нее было такое чувство, словно где-то за стенкой лежит покойник.

Поместили ее в крохотную полутемную комнату с голыми стенами и тремя железными кроватями. Здесь уже жили две девушки: Августа и Катерина.

Августа — маленькая и толстенькая, с круглым и невыразительным лицом, не понравилась Лиде. С самого утра, истово помолвившись и пожевав постный завтрак, садилась она переписывать в тетрадку всяческие мудреные изречения святых отцов. Или учила наизусть молитвы. А их была тьма, на все случаи жизни. При этом полные губы ее шевелились, а на висках выступал пот — так она старалась.

Катерина же — была ее прямая противоположность. Тоненькая и смуглая, как южанка, неуслуживая. Большие глаза Катерины были всегда тревожны, будто она постоянно жила в ожидании какой-то опасности. Когда, ложась спать, девушка сбрасывала тяжелое и грубое платье послушницы, Лида любовалась ее стройной фигуркой, завидовала ее красоте.

У Катерины были прекрасные волосы, она заплетала их в косу, а вечером, перед сном, расчесывала большим, похожим на полумесяц гребнем. Тугой блестящий ливень падал на голые плечи; под гребнем синими искрами бушевали крохотные грозы.

Однажды Лида не выдержала, простодушно сказала ей, всплеснув радостно руками:

— Ой, Катенька, какая ты красивая...

Но Катерина, сделав вдруг испуганное лицо, пробормотала:

— Что ты, Лида, что ты. Ведь так говорить — грех. — И почему-то оглянулась на Августу.

На следующий день тетушка Мирония, зайдя в комнату, положила перед Лидой раскрытую книгу и как бы невзначай ткнула пальцем в строчку. Лида прочитала: «Любострастное осязание своего и чужого тела есть нечистота».

Господи, подумала она, склонив вспыхнувшее краской стыда лицо, какая я, оказывается, порочная! Что же будет?..

Лида чувствовала благоговение перед тетушкой Миронией. Может быть, именно поэтому она ни разу всерьез не задумывалась о столь быстрой перемене своей судьбы. Если тетушка говорит, что так надо – пусть будет так. Она добра и ласкова и – главное – бескорытна... Она даже билет купила Лиде на свои деньги.

– Самое важное для истинного православно-го, – втолковывала Мирония, – стяжание вечного спасения. Ему нужны в земной жизни одежда, питание и другие подобные потребности. Но спасение! – голос ее при этом переходил на свистящий шепот, а глаза сухо и пронзительно впивались в Лидино лицо. – Но спасение нужнее всего! А обрести вечное спасение можно только праведной жизнью!

Ее гладкие, гипнотически страстные речи ошеломляли девушку; из мира простых и привычных понятий они медленно, но верно уводили в иной мир – таинственный и тревожный. «Небесный дух», «вознесение», «божья благодать», «вечное блаженство», «таинство души» – все эти слова почти ничего не говорили уму, зато от них сладко щемило сердце и на глазах невольно выступали слезы.

В этой чистенькой полутемной комнатке-келье, пропахшей сладковатым запахом стеарина, отгороженной от внешнего мира высоким забором и неусыпным оком инокини Миронии, для Лиды начались дни, заполненные чтением священных текстов, молитвами, душевспасительными беседами сестер и братьев.

– Ум молится словами, а сердце – плачем, – говорила Мирония. – А плачем доставляется совершенство и безгрешие.

И Лида молилась и плакала. Плакала искренне и тяжело, до сердечных болей и полной потери сил. Мысль ее словно оглохла, и она жила в этой вязкой глухоте, выполняя все, что от нее требовала инокиня.

Но вскоре произошел случай, в котором характер Миронии проявился по-иному.

Поздними вечерами девушки выходили во двор и в большой фруктовый сад вокруг дома. Эти короткие, точно украденные, прогулки по тропкам темного осеннего сада утомляли Лиду не меньше, чем зубрежка и бесконечные бдения.

Запахи увядших растений, палой листвы кружили голову, заставляли тревожно-взволнованно биться сердце. Оставаясь одна, она садилась и смотрела на подсвеченное небо, перечерченное решеткой ветвей. Больше смотреть было не-

куда. Жизнь, оставшаяся по ту сторону глухого дувала, казалась зыбким, далеким сном. Но думать о ней как об утерянном благе было приятно: это было хоть маленьким, но страданием. Ведь страдая, она приближает себе вечное спасение!

Бродя по шуршащей тропинке вдоль забора (поверх которого густо росли какие-то колючки), она однажды наткнулась на темную фигурку, прильнувшую к щели, в том месте, где камень лопнул. Это была Катерина. Несколько мгновений они молчали. Лида испуганно сказала:

– Ведь это же грех, разве не знаешь? Что ты там на улице рассматриваешь?

– Ничего, – ответила Катерина и, помолчав, вдруг проговорила злым прерывающимся голосом: – Что, доносить теперь пойдешь? Иди, Мирония любит, когда доносят!

– Катя, что ты? Что ты? – забормотала Лида.

– А разве нет? Сказано: обличи ближнего своего и не понесешь за него греха!.. Иди, иди! – бросала ей в лицо Катерина. – Августа доносчица, хотя и дура, ты, видать, тоже. Все вы тут доносчики и шпионы!

Она прислонилась к камню забора и заплакала. Лида, обескураженная, стояла рядом. Катину откровение было слишком неожиданным, чтобы сразу понять и принять его.

Она стала успокаивать девушку, уверять, что никому не собирается доносить. Постепенно Катерина затихла. Возвращались они вдвоем, чувствуя, что с этого момента стали чем-то ближе друг другу.

Ночью, когда уснула, засопела Августа, Катя перебралась к Лиде и шепотом рассказала ей о себе.

...Лет до семи Катя жила с родителями в Барабинске. У них был свой дом с маленьким огородом, засаженным огурцами, помидорами, корова в сараюшке. Хозяйство вела мать: поливала из длинного шланга гряды, провожала корову в стадо, перегоняла через сепаратор молоко. Отец, инвалид труда, не работал на производстве. У него был красивый, каллиграфический почерк, и он целыми днями занимался перепиской каких-то книг. Ему, кажется, неплохо за это платили, потому что деньги, насколько помнит Катя, у них водились, и немалые. В доме бывали посторонние люди, чаще это были женщины, тихие, молчаливые, одетые во все темное.

Мать была верующей, но верующей как-то несерьезно, и дочку к вере не приобщала, гово-

ря: пусть она идет своей дорогой. Отец на это сердился, отчего между родителями часто вспыхивали ссоры.

Все началось со смерти матери.

Вскоре после похорон отец продал дом и увез Катю в поселок, на берегу одного из бесчисленных барабинских озер. Здесь девочка поступила в первый класс, но школа была начальная. После четвертого класса Катя осталась дома: отец посчитал, что для девочки уметь читать и писать – вполне достаточно. Катя охотно шла с отцом в молельный дом, воспринимая все это как забавную игру, в которую с серьезным видом играют взрослые.

Но, должно быть, материнская кровь в ней была сильнее. Девочка могла посреди молитвы или песнопения вскочить с колен и, засмеявшись, запрыгать неизвестно отчего, просто так, от избытка жизнелюбия. О наказании, которое за этим последует, она в такие минуты как-то забывала.

Потом она стала помогать отцу в переписке текстов. Ей нравилось выводить буквы со старославянским начертанием. Она сразу разделила их на мальчиков и девочек. Девочки были капризные, с завитушками, а мальчики тощенькие вроде буквы «і». Так переписывать было интереснее, получалась снова игра.

Как-то зимой (когда Кате было уже 15 лет) отец, возвращаясь из соседнего поселка, куда он относил переписанные тексты, попал в пургу и простудился, слег в постель. Позвать поселкового фельдшера он не захотел. Уже на третий день от высокой температуры потерял сознание, бредил. Многочисленные тетушки и дядюшки, вдруг неизвестно откуда заполнившие их тесный домик, стали настойчиво внушать девочке как можно усерднее молиться за отца. Может быть, бог смилостивится.

Катя так была напугана всем этим – возможной смертью отца, уговорами, уверенным хозяйничаньем в доме чужих людей, – что упала на колени и стояла коленапреклоненно несколько часов, пока не случился с ней обморок.

Организм отца сам справился с болезнью, отец встал на ноги. А к девочке верующие стали относиться с благоговением: ведь она обладает силой молитвы!

Женщины стали брать ее с собой в странствия, и куда бы она ни приходила, ее там знали, старались угодить, ждали слова.

Кате это нравилось, и, чтобы поддержать в верующих чувство благоговения, пришлось ей

тщательно соблюдать уставы духовной жизни. Выучила она несколько проповедей святых отцов. Их образный строй, старинные русские обороты, музыкальность фразы трогали ее. И когда она произносила их перед верующими, у нее самой мурашки пробегали по телу – так многозначительно и непонятно, так завораживающе звучал язык проповедей: «Какая твердая, какая непоколебимая оборона, какая небесная помощь для обладания вечными благами заключается в том, чтобы быть свободным от сетей лукавого мира!..»

Росла среди верующих Барабинской степи слава юной и велеречивой «подвижницы».

Но случилось совершенно непредвиденное, что резко поломало привычный ход Катининой жизни, нарушило так удачно начавшуюся «духовную карьеру»...

Возвращаясь из очередного «странствия», Катя и ее спутница, пожилая женщина, задержались, вечер застал их посреди степи.

Их обгоняли редкие машины, но женщины, шагая в стороне от дороги, даже не оглядывались. Перспектива заночевать в степи была малоприятной, но что делать, они привыкли терпеть «за веру» не такие невзгоды.

Один из грузовиков, уже обогнав их, вдруг затормозил. Шофер крикнул:

– Эй, бабоньки, садись, подброшу! – потом, взглядевшись, спросил: – Катя, что ли?

Это оказался их поселковый шофер, обслуживающий рыболовецкие бригады. Катя его тоже немного знала (встречаясь, здоровались). Звали его Павлом.

К знакомому можно и сесть, тем более – сам пригласает.

Не проехали они и получаса, как мотор застрелял, зафыркал и наконец заглох. Павел, чертыхаясь, полез под капот и надолго застрял там. А женщины отошли, присели на бережок маленькой речушки, мимо которой проходила здесь дорога.

Вскоре подошел Павел, он был расстроен. Отладить мотор не удалось, у него что-то там «сгорело», придется ждать, кто-нибудь проедет, выручит.

Они насобирали хвороста, разожгли костер, у Павла нашлась банка консервов, у женщин хлеб и чай. Разогрели консервы, вскипятили чай, стали ужинать.

У Павла хватило такта не задавать женщинам «крамольных» вопросов, они разговарива-

ли на самые отвлеченные темы: об урожае, о черной буре, пронесшейся весной по полям Барабы. Говорил больше Павел, рассказал несколько веселых историй из своей недавней армейской жизни. Когда заметил, что Катину спутницу клонит в сон, ушел куда-то в темноту и вернулся с огромной охапкой сена. Женщина поблагодарила и легла, Катя и Павел остались вдвоем.

Ночь была июльская – теплая и светлая. Серебрилась речная трава, звенели кузнечики, под берегом плескалась рыбешка.

Некоторое время они сидели молча. Катя украдкой поглядывала на парня. Розоватый свет зари, который уже заливал небо, освещал Павла, его взъерошенную голову, руки с крепкими запястьями, охватившие колени. Он смотрел на темнеющие угли, потом, не говоря ни слова, встал и спустился на берег, к воде.

Катя подождала его, потом тоже встала и пошла следом: спать ей совсем не хотелось! Павел был далеко, на конце узкой косы, ползал по галечнику на четвереньках. Катя окликнула его:

– Что ты там делаешь?

– Клад ищу, – засмеялся тот.

Поколебавшись минуту (все-таки ей не следовало забывать себя), она пошла к нему вдоль дымящейся воды, по чистому хрустящему песочку.

– А ну-ка, держи! – Павел высыпал ей в руки горсть холодных окатышей. Это были необыкновенные камушки – полупрозрачные, дымчатые, золотистые. Они были влажны от росы и точно излучали свет.

– Ой, какая красота, – сказала Катя, пересыпая их из ладони в ладонь. – Где насобирали? Неужели все здесь?

– А ты думала!

Катя окинула взглядом косу, посмотрела под ноги.

– Да они все тут серые, одинаковые!

– Это на первый взгляд, – сказал Павел. – А ты вот присядь, взглядишь внимательней.

Слегка смущаясь, но уже заинтересованно, Катя присела на корточки. Вскоре она подняла какой-то камешек, и Павел с серьезным видом похвалил ее:

– Молодец, делаешь успехи. Погляди-ка на свет. Видишь, внутри точка. Может, это песчинка, а может – древний жучок!

Заря полыхала уже во все небо, в кустах проснулись и заперекликались птицы, а они все

бродили по косе, радуясь каждой удачной находке.

Странно, Катя чувствовала себя рядом с этим в общем-то малознакомым ей парнем совершенно свободно. И Павел – какой умница! – не замечал ни ее темного глухого платья, ни платка до бровей. Он, казалось, вообще не смотрел на нее. Когда коса была исследована, Павел разулся, закатал штаны выше колен и стал бродить по мелководью.

Было часа четыре утра, горбинка солнца выгнулась над горизонтом, и речка наполнилась розовым дымом. В придорожной траве зашелестели, запересвистывались суслики. От ног Павла текли мерцающие волны, ломая устоявшееся стекло плеса. Он позвал ее, и Катя, не колеблясь, пошла, сбросив на ходу туфли. Она забрела по щиколотки, и низ платья сразу вымок, стал тяжел. Катя засмеялась чему-то и стала вглядываться в переливающееся дно.

– Катя, дай-ка платок, – попросил Павел.

Она легко, послушно сдернула с головы платок, и он ссыпал в него камни, связал концами.

Потом сели на бережок, на травяной обрывчик; выгрузив добычу, стали отсортировывать. Павел был строг в отборе, безжалостно отбрасывал «брак», а Кате наоборот – все нравилось, и они даже немножко поспорили.

С высокого берега против них свешивались белесые от росной влаги гривы кустарника. Капли звонкими гвоздиками падали на воду, и глинистый берег, точно раковина, отражал их тончайший перезвон.

Боже мой, красота какая, чудо, думала Катя, с необыкновенной душевной остротой вглядываясь в окружающее.

Где-то рядом раздался тревожно-лихой пошест. Суслик «попиком» стоял возле норы, мерцая бусинками глаз. Павел кинул в него камешком, и суслик выёркнул в нору, с трудом протиснувшись толстым задом.

Они оба рассмеялись. Павел предложил:

– Хочешь, я его сейчас вылью?

– Не надо, мне его жалко.

Сказав это, Катя опустила лицо. Отчего-то радостно застучало сердце. Павел как будто впервые за все утро внимательно посмотрел на нее. Волосы ее, скрученные слабым узлом, скатились на плечи, были матовы от росы; гребень, косо заколотый на затылке, едва держался.

– Гребень потеряешь, – сказал Павел и протянул было руку.

Катя вскочила на ноги, и с таким трудом собравшиеся на нее цветные камешки резво запрыгали с коленей под травяной бережок, в воду. Не поглядев даже на них, она пошла в обход прибрежных кустов к машине, покрывая на ходу голову.

Она шла и никак не хотела признаться себе, что ее испугал не жест Павла. Даже если бы он обнял, она, кажется, не пошевелилась бы – наваждение какое-то, господи. Испугала ее вдруг легкость, с которой «отлетела» от нее с таким трудом накопленная в молитвах лет душевная «оборона». Это ошеломляющее открытие надо было пережить наедине.

Несколько дней после поездки Катя не выходила со двора, занималась домашними делами. Она старалась не думать о Павле, но постоянно ловила себя на том, что думает о нем. Когда за окном раздавался шум проезжающей машины, она вся цепенела.

Однажды автомобильный требовательный гудок послышался у самой калитки. Катя тихонько отогнула занавеску. Из кабины выглядывал Павел, он был в синей футболке с закатанными рукавами, сидел, щурился от солнца, ждал... Ждал ее!

Из соседней комнаты появился отец. Передвинув на лоб очки, посмотрел в окно.

– Чего это он?

– Не знаю, – прошептала Катя.

Отец вышел за двери, они о чем-то поговорили. Павел тут же отъехал; а отец, вернувшись, сказал:

– Едет в район, ты, говорит, тоже собиралась. Говорит, мог бы подбросить.

– Нет, я не еду, – ответила Катя, отворачиваясь, боясь, как бы отец не догадался о ее душевном состоянии.

– Я так ему и сказал. – Отец строго и внимательно посмотрел на дочь и ушел в комнату.

«Никуда я не собиралась и ничего ему не говорила, – со страхом, с трепетной радостью думала ночью Катя, сидя на постели, комкая на коленях одеяло. – Он сам это придумал, чтобы встретиться со мной. Господи, дай мне силу...»

Она тихонько зажгла лампу, достала тетрадку и, найдя нужные страницы, стала читать о том, как глава женских побед и трофеев всевальная Фекла, как огонь возгоревшись среди волн страстей, приплыла в безопасную пристань...

Тут же почувствовала, что читать ей о поучительных похождениях Феклы стыдно. Потому

что у нее, у Кати, совсем другое! Никто ее не «обольщает», и никакого она не испытывает «нападения желаний», и тем более не искушают ее «сны сладострастия», чему так мужественно противостояла «всевальная Фекла»...

Она отбросила тетрадку, подошла, держа у лица лампу, к висевшему на стене зеркалу. Эх, Катька, Катька! – сказала мысленно своему отражению. – Никакая ты не «подвижница», пусть не выдумывают. Вот увидела Павла сквозь занавесочку – и все. И поняла: нет тебе и не будет никого дороже. И носить в душе это открытие невмочь, и поделиться не с кем. Что же будет?

Дня через три-четыре, когда она ходила по двору, кормила кур, кто-то за спиной кашлянул. Она оглянулась: у ограды стоял Павел, улыбался. Все в ней затрепетало, и она едва нашла в себе сил в ответ улыбнуться ему.

– Может, выйдешь? – спросил Павел.

Продолжая разбрасывать корм прямо на спину курам, Катя отчаянно замотала головой: нет!

– Катя! – сказал Павел, и лицо его стало серьезным. – Приходи в десять часов к озеру, за дальние мостки. Буду ждать.

И ушел не оглянувшись.

Остаток дня Катя не находила себе места. Кое-как приготовила ужин, позвала на кухню отца, а сама вышла на крыльцо, боясь каким-нибудь движением выдать себя.

От их дома видна была озерная гладь. Краски закатного неба сливались со своим отражением в озере, едва разделенные ниточкой далекого берега. От одного взгляда туда, в сторону озера, у Кати холодели губы; десять часов неутомимо приближались, и надо было решать.

Нет, он, наверное, не добрый, неужели он не знает, что ожидает меня, если нас увидят. Он просто не представляет...

А в десять часов, уже в сумерках, слабо заливавших поселок, бежала она по огородной тропке к озеру. В руке держала ведро. Ведро фальшиво позванивало, будто поддразнивало. До дальних мостков, где когда-то разгружались рыболовецкие катера (а потом озеро обмелело, и мостки оказались на суше, не у дел), было около километра. Катя раза три останавливалась, порываясь вернуться. Радости уже не было, был один страх: а вдруг он просто посмеялся над ней? Тогда лучше не возвращаться с озера вовсе...

Склоненную спину Павла, сидевшего на мостках, она увидела издали, на фоне темной сверкающей воды. Он тоже увидел, встал и по-

шел навстречу. Когда он приобнял ее, ведро выпало из ее рук, со звоном откатилось. И вместе с ведром откатились, покинули ее последние колебания.

...Расстались они глубокой ночью, у калитки Катиного дома. Катя не дыша пробралась в свою комнатушку, быстро разделась и легла, – впервые легла без молитвы.

Она лежала, улыбаясь в темноту, трогая кончиками пальцев свои припухшие губы. С этой улыбкой она и заснула.

Утреннее пробуждение было мучительным...

В первые мгновения она ничего не могла понять. Над ней нависал отец, костистое лицо его в сером свете утра было искажено, он что-то настойчиво спрашивал. Нет, просто кричал. Какие-то страшные слова. Катя видела его таким впервые. Это был не ее отец, кто-то другой – в гневе и злобе принявший обличье отца.

«Видели, донесли», – обожгла мысль.

Он схватил ее за руку и так дернул, что она, соскользнув с постели, едва устояла на ногах.

– Блудница! Как ты могла! Ты!.. – отец хватал воздух ртом, руки его метались, точно ища опоры и не находя ее.

«Он убьет меня, такой, – подумала Катя с каким-то опустошающим равнодушием, прижимаясь полуголой спиной к стене. – Если не теперь, то ночью».

– Ты... лежала с ним?! – на его редких ощеренных зубах запузирилась слюна. – Сознавайся, растленница!..

Катя ахнула в душе. Чувство слепой покорности никогда не было сильно в ней. Она оттолкнулась от стены и пошла мимо беснующегося отца, стала размеренно одеваться. Тот вырвал из ее рук кофточку, швырнул на пол. Потом вдруг выскочил из дому. Через минуту ставни на Катином окне захлопнулись (до этого ставни были всегда открытыми).

Вернулся он тяжелыми шагами обессиленного человека, хрипло повторил:

– Лежала? Сгною, если не сознаешься.

Весь день просидела Катя в темной комнате, ничего не ела, а за дверной занавесью, как в те дни, когда болел отец, снова зашаркали таинственные гости, забормотали таинственные голоса. Такое впечатление, что божи люди держали совет.

А ночью случилось ужасное...

Легла Катя рано – в ставнях закатно золотились щели. Сон был неглубок, тревожен, и еще во сне она почувствовала: в комнату вошли.

Страх ударил в грудь, она рывком поднялась, села.

Перед ней в желтоватом пронзительном свете внесенной лампы стояли четыре женщины; трех она знала, встречались в молельном доме, четвертую – крупную женщину с нездоровым, одутловатым лицом – видела впервые.

– Что вам надо?.. Зачем? – прошептала Катя, съезживаясь; ее потихоньку заколотило.

Три женщины молча, не произнося ни звука, деловито взяли ее за руки и за ноги, повалили, придавили к кровати. Катя порывалась крикнуть, но голоса не было: ужас чего-то неизбежного словно вязкой глиной забил рот.

Незнакомка с одутловатым лицом откинула одеяло, крепкими уверенными движениями вздернула к голове, взбила на Кате рубашку. И только когда холодные пальцы скользко коснулись ее тела, Катю потрясла, оглушила догадка. Она рванулась, выгнувшись всем корпусом – от чувства гадливости, грязи, куда внезапно окунулась с головой.

– М-м-м! – замычала она, задыхаясь.

Сквозь взбитую на лицо рубашку она ухитрилась кого-то укусить, потому что одна из женщин вскрикнула. Но силы быстро иссякли, и все последующее время, пока ее осматривали, Катя лишь вздрагивала...

С этого дня жизнь потеряла для Кати свои былые краски. Встретиться с Павлом было бы мучительно. Отца она не могла видеть. Две женщины остались в их доме жить, причем одна всегда, в любое время суток, была рядом с Катей.

Через несколько дней, ночью, ее вывели, посадили в легковую машину и увезли. Кате уже все было безразлично.

Трудно в шестнадцать лет привыкнуть к мысли о неизбежности смерти. Ее холодное дыхание – это скорбные, потухшие лица окружающих, черные платки до бровей, трепетное потрескивающее мерцание свечей, это долгое, хватающее за сердце пение псалмов (Лида не поверила своим ушам, когда услышала псалом на знакомую с детства мелодию песни «Катюша»), это тихие истерические плачи послушников и послушниц в цементированном подвале божьего дома.

Лида стоит на коленях перед раскрытой книгой. «Стяжай вечное спасение! – безмолвно кричит книга. – Спасение, спасение!.. Все вещественное, что мы приобретаем в земной жизни, мы оставим в день смерти. Все: родственников, друзей, богатство, почести, тело наше! Вечное спасение и вечная погибель – вот что пребудет нашим достоянием и доставит нам или нескончаемое блаженство, или нескончаемое бедствие!... Уверь себя, что ты умрешь, умрешь непременно...»

Лида с силой сжимает ладонями виски. Она не может уверить себя в этом, не может. Не может! Ей страшно оттого, что всевышний не дает веры. Слезы текут по ее щекам. «Когда, окончив земное существование, – бормочет она, – вступишь на грань, отделяющую временное от вечного... от вечного...»

Поодаль бьет поклоны Катя. Стоя на коленях, она почти касается лбом пола и при этом шепчет молитву.

В руках лестовка – тесемка с нашитыми костяными бобочками для подсчета поклонов. Поклон – бобочек под пальцами долгой, еще поклон – еще бобочек. Голова не должна отвлекаться от молитвы, пусть счет ведут пальцы. А бобочки эти – не просто круглые костяшки. В каждом ряду их – свой ритуальный смысл. Двенадцать бобочков – двенадцать апостолов с господом по земле ходили. Кланяйся! Тридцать семь бобочков – столько недель богородица во чреве Христа носила. Кланяйся! И еще ряд, и еще. Кланяйся, кланяйся! Круг бобочков замкнулся – начиная снова, следующий круг. И кланяйся, кланяйся!..

Лицо Кати бледно, а в глазах обреченность и тупая невыразимая тоска. Пятьсот поклонов во искупление греховных помыслов. Пятьсот, когда уже после сотого деревенеет спина, и сердце стучит в самом горле, и отвратительным песочным звоном наполнена голова! «Да просветится свет ваш пред человеки... да прославят отца вашего иже на небеси...»

Августа забила в угол и там зубрит стихи. Слышны тихие, слезные повизгивания:

*«Когда Христос выходил из храма  
Пред крестного смертью своей...»*

Внезапно Катя, прервав поклоны, несколько мгновений тупо смотрит перед собой. Потом судорожно всхлипывает и с криком валится на бок, отбросив лестовку.

– Не могу-у! – кричит она, и крик этот в благо- стной тишине дома подобен удару бича. – Не могу! О господи! О-о!..

Лида в растерянности пятится. Прижавшись к стене, она смотрит на бьющуюся в истерике девушку, часто-часто крестится. Августа медлит лишь секунду и выскальзывает за двери, Лида подбегает к подруге, обнимает ее, пытается успокоить.

– Мама моя!.. Мама моя! – всхлипывает Катя. Голос, перехваченный спазмами, хрипит. Она, задыхаясь, рвет на груди рубашку и иступленно, страшно бьется об пол головой.

В дверях вырастает Мирония. За ее спиной мелькают бородатые лица послушников, показывается и вновь исчезает перепуганная Августа.

Инокиня с несвойственной возрасту живостью семенит к Кате, пытается поднять, оттолкнув при этом Лиду. Катя отбрасывает ее руки, точно они ожгли ее, кричит:

– Уйди! Ненавижу! Всех ненавижу! О-о!

– Господи Иисусе Христе, дочь моя, опомнись, – тараторит инокиня.

Девушка отползает в сторону, пытается встать.

– Не хочу... дайте мне уйти... – бормочет она, – уйти... сгинуть... 59

Инокиня кидается к ней и неожиданно, размахнувшись, сухой жесткой ладонью бьет ее. Голова девушки мотается, как тряпичная; мотается за спиной растрепавшаяся коса.

– Демон! – шипит инокиня, и щеки ее трясутся от ярости. – Демон вселился в нее. Изыди, нечистый!

– Бейте! Бейте! – кричит Катя, срывая с головы покрывало. Пряды гусых волос липнут ко лбу, она всхлипывает: – Лучше... в пустыне со зверьми... жить...

Инокиня делает знак послушникам. Путающаяся в полах, они подхватывают под руки отбивающуюся девушку, волокут к дверям.

– Это у нее от гордости! – шипит вслед Мирония. – А гордость презренна перед Богом и святыми его!.. Изыди, демон!

Катя исчезла. По крайней мере, никто в этом доме больше не видел ее...

Лида от пережитого потрясения слегла. Мирония каждый день навещала ее. Приближалось крещение девушки, и это больше всего беспокоило инокиню. Но она и виду не подавала. Присев на Лидину постель, гладила она ру-

кой больную и говорила тихим проникновенным голосом:

– Ты, дочь моя, одержима телесного болезнью. Но малодушествовать по этой причине не надо. Если Господу Богу угодно, чтобы ты немоществовала по телу, то кто ты, чтобы огорчаться этим? Переноси болезнь терпеливо и безмолвствуй в терпении. И пусть свершится над тобой воля его...

Лида слушала, смежив веки. А перед глазами стояла простоволосая красивая Катя и рядом – перекошенное злобой лицо Миронии. Она пыталась осторожно вытащить свою руку из-под холодной сухой ладони – ведь эта ладонь только что хлестала Катю.

– Скоро ты вступишь в высокий сан, – продолжала Мирония. – Помни, наша обязанность – не допускать братьев и сестер наших заблуждаться и жить по своей прихоти. Мы должны подавать им верную помощь... – И, словно прочитав мысли девушки, она минуту молчит и потом, поджав губы, скорбно добавляет: – Не тот несчастен, дочь моя, кто терпит, а тот, кто наносит оскорбления...

Обряд «спасительного» крещения Лида помнит смутно. Полубольная, оглушенная слезами и молитвами, она безропотно отдала себя в руки многочисленной братии.

Ее одевали и обряжали, потом вели по гулким каменным ступеням. Она шла, и одной мыслью ее было: устоять на ногах, не упасть! В смутном мерцании свечей мелькали какие-то лица, от белых и черных одежд рябило в глазах. И только раз, когда в хоровом тягучем пении псалмов ей почудился Катин крик, она остановилась, но сзади на нее наткнулись, и она снова пошла.

Потом – громадный чан, сшитый из кожи и наполненный водой. Когда ее погрузили трижды с головой, она захлебнулась. Выбравшись из чана и отдирая от тела рубашку, она почувствовала ледяной озноб.

Она не видела, как сжигали ее документы, хранимые ею письма матери, мирское платье – все, что связывало ее с суетным житейским миром.

Так из жизни исчезла, перестала существовать девушка по имени Лида. Зато ряды секты «истинно православных христиан странствующих» пополнились одной молодой послушницей по имени Нина.

Ночью Лида-Нина металась в жару, бредила. Она разговаривала с Катей, плакала, жаловалась ей, осуждала инокиню Миронию – теперь свою крестную мать, – бормотала молитвы, стонала.

А рядом у постели, прикрывая свечу рукой, стояла на коленях сама Мирония. Она напряженно смотрела в лицо больной и слушала ее бормотания. Возле нее ежилась полураздетая Августа. Прошло уже немало времени, как она позвала инокиню. Ей уже хотелось спать, она украдкой зевала, крестилась. Но уйти и лечь не решилась – вдруг она еще понадобится инокине?

Когда Лида выздоровела, матушка стала ласково, но настойчиво внушать ей, что она поражена земляным тлением и что спасти себя может только одним – удалением из мира житейского, долгим постом и молитвами. ...По вечерним улицам города мчит такси. Боковые шторки задернуты. Лида видит только летящую под колеса дорогу, яркие вспышки реклам да в пятнах электрических светильников редкие фигуры прохожих.

Рядом в машине – матушка Мирония. Она сидит, строго собрав сухие губы, вперив недвижный взгляд в расшитую тюбетейку шофера. Лида замечает поблескивающие на пальцах шофера массивные перстни – и узнает его. Шофер тот же самый, значит, он не настоящий таксист, а под видом таксиста работает на Миронию.

Как давно это было! Кажется, целое тысячелетие отделило ее от того времени, когда она, полная смутных надежд и волнений, обласканная незнакомой женщиной, ехала в этой же машине и мимо так же стремительно проносился чужой для нее город. Он так и остался для нее чужим. Она даже не смогла бы сейчас найти дом, в котором прожила долгую и такую мучительную зиму.

Машина шла всю ночь. Лида несколько раз засыпала. Просыпаясь, видела рядом качающийся безмолвный профиль Миронии, точно вырезанный из черного крепа. И ей от этого соседства впервые стало по-настоящему страшно. Почему они так долго едут?

Утром Лида увидела горы. Серые расколотые громады – настоящий каменный океан – тянулись до самого горизонта, утопая в рассветной дымке. Таких гор она не видела даже на Алтае.

Это было так неожиданно и необыкновенно, что Лида, выйдя из машины, в первую минуту за-

была все: и ночные страхи, и то, зачем ее сюда привезли.

Такси тут же уехало, а они с Миронией по травяному склону, усыпанному камнями, пошли в сторону от дороги. За выступом скалы их ждал человек. Лида увидела лохматую баранью шапку, сросшиеся брови и скобку черной бородки на скулах. Поодаль два ишака жевали колючки.

Женщины сели на ишаков. Мужчина, взяв в руки уздечку, пошел впереди.

Ехали почти весь день, все глубже и глубже в горы. Только когда животные начинали спотыкаться от усталости, делали остановку. В полдень пообедали хлебом и полдюжиной яблок, запив водой из горного ручейка.

Под вечер впереди сверкнуло озеро – точно осколок зеркала, брошенного в каменный хаос. Маленький караван прошел по его берегу и стал карабкаться вверх по гранитным террасам. На одной из площадок они наконец остановились. Лида увидела пещеру. У ее входа сидел человек. Вид его ошеломил девушку, потому что сначала она приняла его за мертвеца. Это был глубокий старик с маленьким пергаментным личиком, заросшим поределой какой-то прозрачной бородкой, грудь едва прикрывали лохмотья.

Так вот он какой – отец Веникий, с которым ей предстоит жить вдали от суетной славы и очищать свою душу! Она немало слышала о его святости, живя в сектантском доме и готовя себя к крещению.

Религиозный фанатизм Веникия не ведал пределов. Шестилетним ребенком, не зная отца и матери, пошел странствовать с чужими людьми. Бездомная жизнь верующего бродяги была несладкой. Но чем больше обрушивалось на его голову бед и несчастий, тем смиреннее принимал их удары инок Веникий.

Мир сотрясился от войн и революций, наука делала великие открытия, рождались государства. Разрушенная гражданской войной страна восстанавливала свое хозяйство, свою промышленность, строила города, каналы, возводила плотины. Истекая кровью, отбивала фашистское нашествие. И снова вырастала из руин.

Но далек от всего этого был Веникий. Он смиренно странствовал, плача и молясь, он обретал утешение, обетованное спасителем. Он странствовал, чтобы по окончании земного пути

попасть в горную страну вечного блаженства, называемую небесным царством.

Он молился двумя перстами и отвергал все религии, кроме собственной. На своем покаянном пути он искал таких же шатких духом людей и заражал их своим фанатизмом.

Он ненавидел всякую власть, не хотел работать и жил милостыней. Когда однажды за бродяжничество и проповедь мракобесия суд приговорил его к тюремному заключению, он и это воспринял как новое испытание, ниспосланное ему Богом, и смиренно отсидел положенное.

На склоне жизни своей он в глазах верующих совершил подвиг – удалясь от бренного мира в горы, всецело погрузился в покаяние. Инок Веникий во что бы то ни стало хотел попасть в небесное царство. И там, как обещает святое писание, «вечно блаженствовать блаженством внутренним, а также наружным».

Сумерки в горах накатывают быстро.

Лежа на тощей травяной постели, девушка с трепетом душевным прислушивалась к многочисленным ночным звукам. В пещере было сыро, затхло, где-то постукивали капли; в расщелинах потолка попискивали летучие мыши; ветер у входа трепал кусты; из угла неслись старческие вздохи и бормотания Веникия.

Поднимались рано – с первыми холодными проблесками рассвета. В своем религиозном рвении инок был неумолим. К этому он приучал и послушницу. Он заставлял ее читать молитвы, делать выписки из священных текстов, пересказывать учения святых отцов, которых было такое великое множество, что она безнадежно путалась в их именах, чем доставляла Веникию невыразимые огорчения.

Между молитвами пела она псалмы или учила наизусть стихи, которые, как ей казалось, сочинял сам Веникий. В стихах этих, слезных и тоскливых, инок прославлял бога, уничижал себя и призывал братьев своих безропотно идти уготованным путем: «Бывают дни, пленит и давит тоской измученную грудь. Не верь! Премудрость миром правит. Свершай безропотно свой путь...»

В усердии своем он часто доводил себя до иступления, валился на землю, хрипел и царапал себе лицо и шею, выл. И испуганная послуш-

ница не смела в это время приближаться к нему, ибо на инока в такие минуты «проливался» сам небесный дух...

Еду готовили на керогазе – этот закоптелый кухонный инструмент был единственной уступкой цивилизации. Костер разжигать старец не решался, боясь привлечь дымом случайного человека. В дни поста – а они бывали очень часто – не готовили вообще, питались фруктами и сухарями («Постом усмиряется тело», – твердил старец).

Раз в месяц или в полтора приезжал от Миронии посланец, хмурый неразговорчивый парень, привозил запас продуктов, керосина. Случалось, его подолгу не было, продукты иссыкали. Тогда Лида уходила в горы собирать ягоды барбариса. От слабости у нее кружилась голова. Если это происходило за молитвой, она не могла даже подняться с колен и, уронив голову, бесильно плакала.

Виникий принимал эти слезы как проявление усердия.

Лида спустилась к озеру за водой.

Стоял ясный безоблачный день. Мягкими порывами подувал ветер. Озеро, запрятанное природой в глубокую каменную чашу, слегка волновалось; мириады солнечных бликов рябили дно – так чиста и прозрачна была вода.

Она немного посидела на берегу, наслаждаясь солнечным теплом. Потом решительно разделась и вошла в воду.

Купалась она недолго, вода была холодна. Но когда вышла на берег, почувствовала, как освежило и взбодрило ее. Ведь не купалась с самой школы! Она легла на горячую, замшелую по краям каменную плиту, закрыла глаза.

Солнце жгло плечи, ветер трепал рассыпавшиеся волосы, остро пахло нагретым мхом, у ног шуршали и всхлипывали волны. Ощущения эти были так глубоки и необыкновенны, что она никак не могла пересилить себя и встать. Не хотелось вставать, не хотелось натягивать на себя черное и душное платье послушницы!

Были мгновения, когда Лида с трепетом подумала: для чего весь этот кошмар – пещера, молитвы, этот дряхлый старец со своими заупокойными стихами? Но это – только мгновения.

Уже в следующую минуту мысль эта показалась дерзкой и кощунственной. («Почему я осуж-

даю? Потому что не познала самое себя!») Она тут же отогнала ее и, вскочив, начала одеваться. Зачерпнула котелком воды и, сгорбившись, торопливо зашагала к пещере.

Виникий, узнав, что девушка искупалась в озере, был обеспокоен. Он долго молился за нее, потом встал и изрек: «Нельзя, дочь моя, пройти по жизни духовной, не подвергаясь искушениям. Но не может быть такого искушения, которого бы не перенес человек, укрепляемый силой божьей!»

– Отец Виникий! – решила возразить Лида (купание на нее подействовало, что ли?). – Сказано: не осуждай! А вы меня постоянно осуждаете...

Это страшно не понравилось Виникию. Слепив губы в ниточку, он долго смотрел в лицо послушнице своим подлобным взглядом, сдержанно сказал:

– Я не осуждаю, дочь моя, а обличаю. Обличаю же – чтобы исправить. А исправляю – чтобы спасти.

Нет, старец Виникий знал свое дело тонко!

Послушнице, не устоявшей перед соблазном и искупавшейся в озере, было положено наказание – тысяча поклонов во искупление греха.

62 В поисках ягоды Лида ушла далеко. Она спускалась по крутым склонам, переходила каменные реки осыпей, продиралась сквозь жесткий и колючий кустарник.

Она так привыкла к безлюдью и тишине здешних мест, что, увидев человека, вздрогнула и отступила назад.

Человек был далеко. Он стоял на краю скального обнажения и что-то писал в тетрадку. На нем были сапоги и белая парусиновая шляпа с откинутой назад сеткой.

Девушка хотела было уже незаметно повернуть назад, но в этот момент человек поднял с земли молоток с длинной ручкой и, опираясь на него, пошел в ее сторону.

Путаясь в полах платья, Лида побежала. Она спряталась за громадный, расколотый надвое валун. Геолог прошел совсем близко. В расщелину она увидела его лицо – молодое, белобровое, с коричневыми от загара скулами. Он что-то пел вполголоса и щурил глаза.

Удивительно знакомые глаза! Где она уже видела похожее на это лицо? И тут же вспомнила: дорога на Горно-Алтайск, бушующий внизу

поток, отара и молодой скуластый погонщик с папиросой в дрожащей руке.

Она так заволновалась, стоя за валуном, что едва геолог скрылся, поставила корзину на камни и сама опустилась рядом. «Господи, что же это? Я уже пугаюсь живого человека!..» Чтобы успокоиться, она стала перебирать собранные ягоды. Несколько ягодок положила в рот. Но их кислый вкус вызвал тошноту. Она вдруг поднялась, постояла – и так поддала корзину, что та покатила, разбрызгивая на камнях ягоды.

Весь вечер и все утро следующего дня она думала об этом геологе. А к полудню, недоумившись, что с ней случилось впервые, схватила корзинку и пошла в горы. Она долго искала тот расколотый валун. Наконец нашла, присела рядом, стала ждать. Ей почему-то казалось, что геолог должен пройти именно здесь.

Она ждала долго и терпеливо, и когда геолог в самом деле появился из-за скалы и прошел поодаль мимо, она опять так разволновалась, что позабыла спрятаться. Но геолог все равно не заметил ее. По-видимому, этой дорогой ходил он всегда.

Потом она стала часто бывать здесь.

Если геолог почему-то не проходил, Лида возвращалась как потерянная, и никакие молитвы и псалмы не шли в голову. Старец Веникий, должно быть, заподозрил что-то, потому что всякий раз, заглянув в полупустую корзинку, недоверчиво и пристально смотрел послушнице в лицо. Но запретить ходить по ягоду не мог. Последнее время они питались исключительно ягодой и сухарями: хмурый посланец от Миронии задерживался.

Однажды, когда она сидела у валуна и ждала, геолог прошел, сильно хромая. Брюки на коленке разорваны. Она подумала, что могла бы хорошо заштопать, ведь она швея! Однако на следующий день брюки на геологе оказались починенными, и заплатка была пришита так аккуратно, что в этом сразу была видна женская рука.

Девушку так огорчило это открытие, что она ушла и не приходила несколько дней. Потом не выдержала, прибежала снова. Прождала день, а геолога так и не увидела. Не приходил он и на второй день, и на третий.

Лида забеспокоилась. Просидев однажды с полдня впустую, она пошла в ту сторону, куда

уходил геолог. Спустилась в одну из ложбин и увидела на полянке следы лагеря: вбитые колья, кучи консервных банок и черное пятно давно остывшего костра...

Как-то подметая пещеру, Лида в одной из расщелинок вымела обломок женского гребня – и оторопела. Чтобы не закричать, она стиснула рот ладонью: у Кати был точно такой!

Она выбежала на площадку. Веникий, сгорбившись, сидел возле плоского валуна, заменявшего им иногда стол. Зажатым в прозрачном кулачке камешком расщелкивал на валуне орехи. Аккуратно собирал раздробленное ядрышко, отправлял в рот. Потом долго, вдумчиво жевал, поднимая глаза к небу, и выражение лица было таким, будто он не желудок насыщал, а общался с самим Господом Богом.

Задохнувшись от омерзения и только что пережитого испуга, Лида торопливо пошла по тропинке вниз – так, без цели, чтобы только прийти в себя. Теперь под каждой кучей наваленных камней мерещилась ей Катина могила.

Она разжала ладонь, стала внимательно рассматривать кусочек гребня: господи, неужели все-таки Катя?..

В этот вечер, лежа в холодной пещере и слушая тяжкие болезненные вздохи спящего за пологом в углу Веникия, она впервые с колотящимся сердцем подумала: надо бежать. Во что бы то ни стало бежать – от этого выжившего из ума старика, от его заспунявленных до лоска книг, именуемых святыми. От его страшной, постоянно напоминавшей о смерти религии. И еще одна запоздалая догадка терзала: для «спасения» ли в самом деле упрятана она сюда? А не для того ли, чтобы прислугой быть немощному Веникию?

Прежде, еще живя у тетки в Горно-Алтайске, она непрестанно мучила себя мыслью: для чего живем? И не находила ответа. Если видела она людей с веселыми смеющимися лицами, веселость их казалась неискренней, фальшивой. Грубость, корыстолюбие людей, забота только о собственном благе представлялись ей обычными. И только воспоминание о молодом погонщике, так самоотверженно, с риском для жизни спасшим на ее глазах отару, смущало. Для этого случая она готова была сделать исключение.

Религия, которая сулила разрешить ее сомнения, отвечала на мучивший ее вопрос так. Че-

ловек – изгнанник неба, а земля – страна его ссылки. Кратковременное пребывание на земле дано ему для наказания. Если он удовлетворит Бога своей жизнью, значит, вернется на небо. А если же сгубит положенное ему время, употребив на занятия суетные и служение греху, то низвергнется навечно в ад. И поэтому, живя на земле, кайся, очищай себя от грехов и думай, думай о смерти.

Но она не хочет думать о смерти! Она хочет жить, ведь ей еще так мало лет! Теперь она не ставит себе вопроса – для чего жить. Просто жить, находиться среди людей, работать, не истязать себя постом, носить легкие красивые платья, рвать цветы, купаться и загорать, любить...

С тех пор как она поселилась здесь, не раз подолгу смотрела на небо. Но не видела там ничего, кроме облаков, да иногда тонких серебристых полос, оставляемых в синеве высотными самолетами.

Она поднялась со своей лежанки, тихо вышла. Темное ослизлое небо было без единого просвета. Ветер, холодный и стремительный, ударил в глаза, рванул из рук накидку. Глухо и тревожно прогрохотало эхо каменного обвала.

Куда бежать, если на дворе декабрь, а кругом на десяток километров только угрюмые горы, скалы, колючие заросли – и ни единой живой души.

...Зима прошла для Лиды как дурной нескончаемый сон. Сухие песчаные ветры, дующие с высокогорных степей, сменялись затяжной изморосью. Мокрый снег вперемешку с дождем покрывал блестящим панцирем камни. Постели и одежда, пропитанные сыростью, леденили тело. Запах керогаза вызывал головную боль и тошноту.

Инок Веникий со сморщенным, как печеное яблоко, лицом подолгу сидел перед огнем, кутаясь в лохмотья... Сухой отрывистый кашель валил его на пол. Лишения, которым он себя подвергал, губили его тело, но не трогали, казалось, его дух. Бормотания его все больше походили на бред.

– Три вещи века сего страшат меня! – поборов очередной приступ кашля, хрипел Веникий. – Не вем, когда умру... Не вем, как умру... И не вем, что ожидает меня по смерти!.. А тебя, – оборачивался, ища воспаленными глазами по-

слушницу, – тебя что страшит? Огонь адский, отступница!

И он начинал церковным языком длинно и путано излагать происхождение греха или рассуждать, какие подвиги важнее в деле спасения: внешние или внутренние...

Наступил апрель. С востока подуло теплом. Долины окутались дымкой зелени. От щедрого весеннего солнца таяли, сжимались снежные шапки на хребтах.

Однажды вечером над горами собрались тучи, и с наступлением ночи разразилась первая гроза.

Со скрежетом и треском разламывалось небо. Громовые раскаты эхом метались среди гор, словно чугунные мячи. Всплески молний обжигали глаза.

Веникий выполз из-за своего полога, руки его подламывались. Лида, свернувшись на лежанке, увидела, как старец попытался встать, но тут же упал, и чепец с головы погнало залетевшим порывом ветра. Она вскочила и подбежала к нему.

– Зажги... лампадку... – захрипел Веникий. – Читай... на исход души...

Девушка хотела помочь, но старец оттолкнул ее руки и уполз назад, за полог, пробормотав:

– Небо ужасается... земля трепещет, читай, умираю...

Порывы ветра колебали пламя. Ожившие тени наполнили катакомбу движением. Лида, испуганная и оглушенная, опустилась на колени и стала читать. Собственный голос казался чужим, а смысл слов до нее не доходил.

Вдруг лампадка погасла. Ломая спички, она долго зажигала трепещущий язычок. А когда зажгла, старец стоял на нетвердых ногах, хватаясь за полог, и хрипло, с трудом дышал.

Ощувив внезапно весь ужас своего положения, она замолчала.

– Читай! – проговорил тяжело Веникий.

Молнии рвали темноту, в их мертвенно-белесых всплесках взгляд старика каменел.

– Почему замолчала? Или Бог не дает тебе силу молитвы, отступница?..

Отпустив полог, он с усилием подошел к ней. Не спуская лихорадочного взгляда, протянул в обвисающем рукаве руку, точно слепец.

Лида невольно отступила, но сзади была стена.

Костистые ладони скользнули по ее покрытой голове, плечам, коснулись груди. Безгубый черный рот Викикия прыгал в гримасе, и непонятно было – то ли плачет он, то ли так жутко смеется.

– Молодая... здоровая... – стонал он и вдруг, ухватившись цепко за вырез, рванул холст, обнажив ей плечи, грудь.

Лида вскрикнула, инстинктивно прикрываясь книгой, которую держала в руке; она была на грани обморока.

– Я умру, – стонал, корчился в бессильной злобе Викикий, – а ты... это тело будет жить... искать наслаждения... насыщения...

Его качнуло от приступа кашля, он оперся о стену, стал сползать, потом потащился, как летучая мышь, на свою лежанку и там затих. Долго еще слышался его кашель, свистящее дыхание.

Лида бездумно и оцепело читала молитву, не решаясь даже взглянуть в сторону инока. И только когда книга выскользнула из онемевших рук

и гулко ударилась о землю, она вздрогнула, подняла глаза.

Инок был недвижим. Он лежал, вытянув руки, задрал включенную бороду.

Девушку охватило отчаяние. Темные закоптелые своды пещеры навалились на нее своей тяжестью. Дрожа и всхлипывая, она стала пятиться к выходу.

Гроза уже прошла. Моросил редкий пронзительный дождь. Западная половина неба была наглухо заложена тучами, и там время от времени вспыхивало и грохотало.

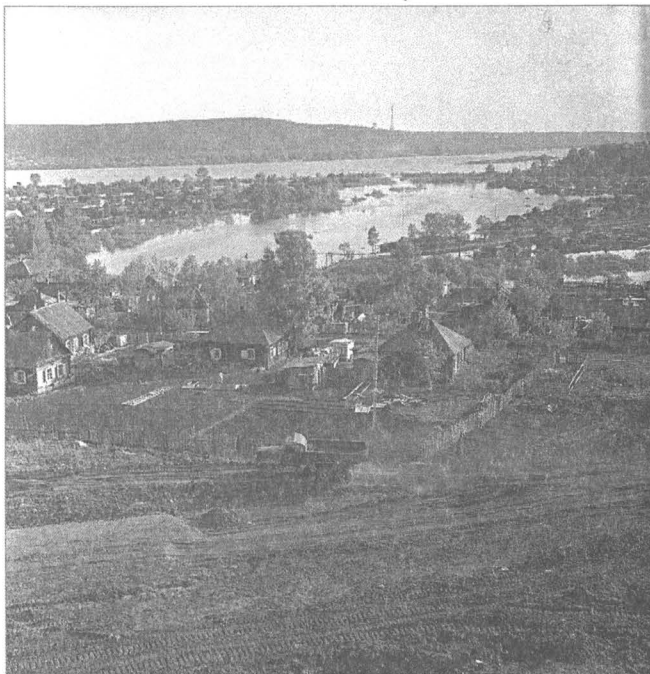
На востоке светлело. Сломанная грань далекого хребта четко выделялась на горизонте.

Несколько минут она стояла в мучительном смятении, со страхом глядя в черную дыру входа. Никакая сила теперь не заставила бы ее войти туда снова!

Потом, оскользаясь, падая, побежала вниз, мимо озера и дальше – где за гранью хребта перемелькивались звезды и белела узкая холодная полоска зари...



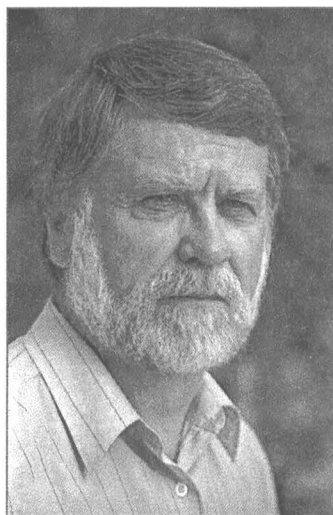
## Домашний архив



Юрий Дьяконов. Заречные улицы. Кемерово

**Борис  
БУРМИСТРОВ**

**ДУША  
И В РАДОСТИ  
БОЛИТ**



\*\*\*

*Когда застигнет ветер в поле,  
Весенний гром оглушит вдруг...  
Судьба немыслима без боли,  
И нет больней душевных мук.*

*Когда людские кривотолки  
Тебя смутят, ты промолчи.  
Судьбы зеркальные осколки,  
Как звезды, высыпят в ночи.*

*По ним судьбу свою сверяя,  
Поймешь, что мучился не зря –  
Любовь придет в начале мая,  
Или в начале сентября!*

*Кому весенние разливы,  
Кому осенняя тропа.  
Как песен разные мотивы –  
У каждого своя судьба.*

*И кто какой достоин доли,  
Пройдя сквозь тысячи обид?  
Судьба немыслима без боли,  
Душа и в радости болит.*

**МОЛИТВА К БОГУ**

*Посох творящий возьми,  
Гибнут без веток корни.*

66

*Господи, мир вразуми –  
Разум любовью наполни.*

*В смутные думы добавь  
Добрые, светлые мысли...  
Только великое славь,  
Только прекрасное числи.*

*Чтобы всегда по весне  
Птицы стремились к гнездовью,  
Чтоб наяву и во сне  
Мир наполнялся любовью!*

\*\*\*

*На этом неласковом свете  
Судьба оступалась не раз.  
Мои нерожденные дети,  
Как больно и горько без вас.*

*На этой гудящей планете  
Есть тихое слово – прости.  
Мои гениальные дети,  
Вам крест непосильный нести.*

*За вас я, любимых, в ответе,  
Но жизни так мало одной.  
Мои неизвестные дети,  
Все ваши печали со мной.*

*Душа моя юностью грезит,  
Но край горизонта в огне.*

**БУРМИСТРОВ Борис Васильевич** родился в 1946 году в городе Кемерове, член Союза писателей России, председатель Правления Союза писателей Кузбасса, секретарь Правления Союза писателей России, автор поэтических книг: «Не разлюби», «Душа», «Поклонись земле русской», «Лирика», «Песочные часы», «Живу, и радуюсь, и плачу», «День зимнего солнцестояния», «О чём не сказано ещё». Живёт в Кемерове.

Мои нерожденные дети  
Приходят и плачут во сне.

Мы вместе и плачем, и бредим  
Своей и чужою судьбой.  
Мои нерожденные дети,  
Мы встретимся в жизни другой.

\*\*\*

Не кличь по имени меня,  
Я позабыт тобою.  
Где были травы – там стерня,  
Все скошено судьбою.

Так колко, холодно в душе.  
И в поле одиноко...  
Черным-черно, лишь на меже  
Цветов осенних много.

И в ожидании огня,  
Палящего, степного –  
Не кличь по имени меня,  
Не обжигайся снова.

\*\*\*

В дни памяти Н. Клюева  
23.10.09 г., Томск

Обезнежили мы, обезнежили –  
То ли жили мы, то ли не жили  
В мире праведном и неправедном,  
Да в обратный путь не пора ли нам,  
Да на том пути все извядано,  
Да под тем крестом то, что предано,  
Да под тем дождем все до ниточки,  
Кому постны щи, кому сливочки,  
Кому свет в окне, кому темень-зла,  
А любовь мою всю сожгли дотла...  
То ли жили мы, то ли не жили,  
Злостью сладкою всех потешили.

\*\*\*

От печали надолго ли скроюсь,  
Перемешан с закатом рассвет.  
Успокоиться не успокоюсь,  
Потому, что спокойствия нет.

Потому, что в далеком да близком,  
Как в тумане, не видно ни зги,  
Перепутаны, видимо, слишком  
В моей памяти годы мои.

Перекручены ниточки, нити,  
Узелками отмечены дни...  
Видно, все мы живем по нитию,  
Укрываясь от света в тени.

Укрываясь от хмурого взгляда,  
Мы торопим течение лет.  
А печалимся – значит, так надо –  
Без печали и радости нет.

\*\*\*

В любви, как в карточных гаданьях,  
Дни перемешаны судьбой...  
Всего страшнее расставанье  
С самим собой, с самим собой.

Когда природы увяданье  
Вдруг обозначит свой предел,  
Всего печальней расставанье  
С тем, что познать ты не успел.

## ВЕСНА-2010

На земле происходит  
смещение полюсов.  
Из ученых статей

Еще не начиналось лето,  
Еще февралило в апреле,  
Но понимали мы, что где-то  
Уже проклюнулись капели.

На грани сумерек и света  
Сдвигала полюса Планета,  
Еще не начиналось лето,  
Уже заканчивалось лето.

## ВОЛК

Что же ты, милый,  
все рыщешь и рыщешь,  
Все по лесам, по распадкам глухим.  
То ли беду свою верную ищешь  
В зимнем краю, где никем не любим.

Что ж ты при встрече глазами сверкаешь,  
Я враждовать не намерен с тобой.  
Ты, как и я, в этой жизни мытаришь.  
Видно, одной нас связали судьбой.

Гнев усмири, и взгляни подорожее,  
И в человечность людскую поверь.  
Может, друг другу мы станем роднее,  
Дай обниму тебя, ласковый зверь.

Серый загривок рукою поглажу.  
Не опасайся тепла моих рук,  
Может, с тобой и с собою полажу,  
Мой недоверчивый названный друг.

## ПОЭТ

За все, что выдумал, простите –  
Поэт на выдумки горазд,  
Он столько в этой жизни видел,  
Не выставляясь напоказ.

Он столько верст земных отмерил,  
Прошел сквозь сумерки времен,  
И он один, наивный, верил,  
Что мир добром не обделен.

Сменялись дни, сменялись ночи,  
Храм воздвигался на крови,  
А он любил и жаждал очень  
В ответ хоть капельку любви.

Слова придумывал такие,  
Каких еще не слышал свет.  
И утихали все стихи,  
И умолкал безумный бред.

\* \* \*

Чем дольше живу,  
Тем реальнее сны.  
А там, наяву,  
Все от злобы пьяны,

А там, наяву,  
Свет холодной луны.  
Чем дольше живу,  
Тем прекраснее сны.

Чем дольше живу,  
Тем страшней наяву.

\* \* \*

Я выдумал тебя,  
Теперь пред всеми каюсь  
За то, что не любя  
Исправить мир пытаюсь.

За то, что вопреки  
Всем домыслам и смыслам,  
Не дописав строки,  
Перехожу вдруг к числам.

Из памяти моей  
Вновь выплывают даты –  
Рождение друзей  
И горькие утраты.

И я, судьбой храним,  
Вдруг понимаю ясно,  
Что в мире больше зим  
И больше дней ненастных.

Метели декабря  
Мою тревожат память.  
Я выдумал тебя,  
Пытаюсь мир исправить.

\* \* \*

Я грустить подолгу не умею,  
Женский взгляд лишь чуточку кольнет –  
Я уже от радости шалею,  
И душа срывается в полет.

Я в любовь таинственную верю,  
Потому навстречу ей лечу.  
Я грустить подолгу не умею,  
А вернее, просто не хочу.

Радости не так уж в жизни много,  
Каждый миг удачливый ловлю  
И взлетаю высоко-высоко  
От щемяще-нежного «люблю».

\* \* \*

68

Я покидаю с горечью тебя –  
Москва, Москва – нерусская столица.  
Мне, русскому, хамят здесь и грубят,  
Здесь негде от разбойников укрыться.

Россия, необъятная моя,  
Гляжу с холма, и сердце замирает.  
Я уезжаю в дальние края,  
Где русский дух пока еще витает,

Где Русь моя, надеждами полна,  
Что через годы возродится снова.  
Москва, Москва, – есть в том моя вина,  
Что не сказал в твою защиту слова,

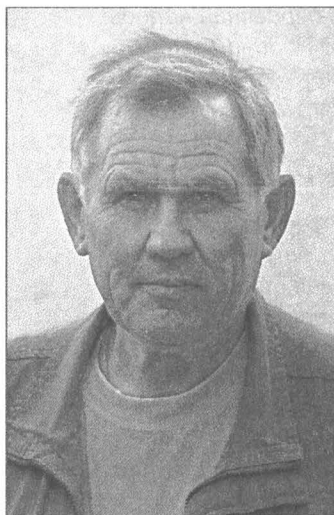
Что промолчал, когда ввели в полон  
Твоих детей, оторванных от древа.  
Ни Ангара, ни Енисей, ни Дон  
Из берегов не выплеснули гнева.

Москва, Москва, прости мне этот стыд  
За всех, за все и за мое молчанье,  
Прости меня, и нас Господь простит.  
И всех вернет к любви изначальной.



Геннадий  
ПОПОВ

НА ВЗЛЕТЕ  
МЯТУЩИХСЯ ЛЕТ



**ДВА КРЫЛА**

Маме моей – Клавдии Федоровне  
Поповой – при жизни...  
Сегодня – вечной памяти ее.

Не крести ты меня на дорогу  
И рукою вослед не маши.  
Не молчи отрешенно и строго  
И жалеть обо мне не спеши.  
Где туманная даль заклубится  
И простынет горячий мой след,  
Там судьба, перелетная птица,  
Протрубит, сколько зим, сколько лет,  
Сколько жить мне осталось на свете  
В предлежащей дороге земной...  
Белый ворон добычу отметит,  
Проворчит про себя домовой:  
Белый ворон, мой братец названный,  
Домовой – позабытый уют...  
Не горюй, – колокольные звоны  
Не по мне аллилуйю поют.  
Не меня этот голос печальный  
Отпевает в остывшей тиши:  
Это песня Отчизны опальной  
На помин ее светлой души.  
На прощание руки на плечи  
Положи мне, скорбящая мать.  
По тропинкам судьбы бесконечным,  
Где нелегкую долю топтать,

69

Я твою материнскую ласку,  
Как спасательный крест, понесу...  
Где природа зеленую краску  
Оживляет в озябшем лесу.  
Там бурлящей, весенней порою,  
Собираясь в нехоженный путь,  
Снова я тебе сердце открою,  
Упаду головою на грудь.  
И пойду под весенние звуки...  
Домовой мне вослед проворчит...  
И метнутся в бессонные ночи  
Два крыла – твои нежные – руки.

**ПРЕДДВЕРИЕ**

А память еще не остыла...  
Но нет больше летней брони,  
Как вороги, крадучись, с тыла  
Заходят холодные дни.

Морозной декабрьской погодой,  
Промерзший до самых костей,  
В преддверии Нового года  
Я жду сокровенных вестей.

И вспомнив счастливое детство,  
Ушедшее было в провал,  
Стараюсь душой отогреться,  
Которую чуть не сорвал.

**ПОПОВ Геннадий Андреевич** родился в Москве. Окончил Рязанский радиотехнологический институт, более тридцати лет проработал в электронной промышленности в Рязани, Северной Осетии, а с 1974 по 1995 год – в Орле. Ответственный секретарь Орловской областной организации Союза писателей России, сопредседатель правления Союза писателей России. Поэт, лауреат многих литературных премий. Живёт и работает в Орле.

Пусть тает сердечная наледь!  
Да будет над Родиной свет,  
Державная сила во взгляде  
На взлете мятущихся лет.

### СИРЕНЬ

Так незаметно расцвела сирень...  
Над миром солнце отмеряет сроки.  
И падает сиреневая тень,  
И ворошит сиреневые строки.

Весь белый свет в сиреновом цвету,  
А прошлое – в сиреновом тумане.  
А время, набирая высоту,  
Все кружит и никак не перестанет.

А небеса безоблачно чисты.  
В листве весенней – яркие просветы.  
Еще не все в сиреновом кусты  
И не на все получены ответы.

Несу в руках сиреневый букет:  
Свиданья жду во времени нескором...  
Нас так давно уже в помине нет,  
Но есть сирень за стареньким забором.

### ДВОЕ

Морозный ельник затаился.  
Я это чувствовал спиной,  
Когда совсем с дороги сбился  
И ночь надвинулась стеной

Кричал в бездонные провалы –  
Ни звука, ни огня в ответ.  
Пока, промерзший и усталый,  
Не ткнулся в свежий волчий след.

Волк шел в село тропой разбоя,  
Звериным голодом гоним,  
Нас в этом мире стало двое,  
К жилью я вышел вслед за ним.

Мы на задворках разминувшись, –  
Я не посмел спустить курки.  
И разошлись...

И оглянулись –  
Друг друга спасшие враги.

\* \* \*

Николаю  
Дмитриеву

Мы шли крошечным коридором...  
Но не о том сегодня речь:  
Мы шли во времени, в котором  
Нельзя любимых уберечь.

Сквозило смутным непокоем  
В тот предрассветный зимний час.  
Часы подлунные конвоем  
Незримо окружали нас.

Бесстрашных всадников Вселенной  
Шуршал неторопливый шаг.  
А время исходило пеной  
На небе звездном в двух ковшах.

Так было муторно и плохо,  
Как будто кончился запой,  
И в крике горло пересохло  
От глупой ярости людской.

Вставало знобкое светило  
В окне небесного куска.  
Нам душу снегом заносило  
И жгла вселенская тоска.

\* \* \*

Мы не доспорили вчера,  
Еще вчера не докричали,  
Но подступили вечера,  
И встали годы за плечами.

Все меньше радостей земных,  
Все тяжелее на подъемах.  
Все уже круг друзей былых,  
Их не заменит круг знакомых.

Другая времени цена,  
И мы в нем движемся иначе.  
Все горше каждая вина,  
А каждый миг все больше значит.



Юлия  
ЛАВРЯШИНА  

---

ТЕМНОЕ ЭХО

Роман



ГЛАВА 1

– А можно устроить на Новый год факельное шествие!

Перед глазами заколыхалось огненное марево, и Мишка едва не зажмурился. Его воображение создавало другую реальность мгновенно, на время вытесняя знакомый мир и обставляя в сочности красок. Мальчик даже не догадывался, что другие люди не умеют видеть так. Сотни нетерпеливо подрагивающих, рвущихся куда-то огоньков вытянулись неровной цепью, высвечивая в домах, знакомых уже двенадцатый год, новые черты.

Увиделось, как криво ухмыляются окна, за которыми прячется что-то страшное... Как металлические морды подъездов холодно скалятся, заманивая в темноту, что была их сущностью... А растопыренные мерзлые ветки тянутся прямо к глазам, не боясь опалить себя...

– Нет, вообще-то лучше без факелов, – пробормотал он, не решившись поднять глаза на Стаса. Тот, может, и не разглядел этой жуткой ночи, зато он всегда замечал, когда с Мишкой что-то не так...

– Конечно, не надо, – снисходительно заметил брат. – А то папа тебе голову оторвет, если ты пожар устроишь!

– Папа не оторвет!

Стас нехотя согласился:

71

– Ну, не оторвет. Он этого и не умеет... Таким добрым, как он, всегда не везет. Запомни!

Мишка оглянулся, хотя отца не было дома, и спросил шепотом:

– Она не звонила?

– Я с ней и разговаривать не стал бы, – отрезал Стас. Глаза у него стали похожи на стеклянные шарики. – Ушла и ушла. И нечего к нам лезть.

– Она не ушла, а уехала, – зачем-то сказал Мишка, хотя и сам понимал, что это ничего не меняет.

Старший брат посмотрел с той насмешливой снисходительностью, от которой внутри у Мишки все вскипало, как в серебристом высоком чайнике, что появился у них после маминого отъезда. Отец пытался, как сорок, отвлечь их блестящей штуковиной...

– Без разницы, – лицо у Стаса сделалось скучным и длинным, как случалось всякий раз, когда разговор касался их матери. Правда, не в первый момент, когда он ощетикивался со всей непреклонностью шестнадцати лет, а спустя минуту, позволявшую не доказывать больше, как же он презирает эту... Ее...

«Они в жизни ее не простят», – Мишка попытался сглотнуть эту мысль, но она так и застряла в горле. Он испугался, что сейчас брат спросит о чем-нибудь, а он даже не сможет ответить.

**ЛАВРЯШИНА Юлия Александровна** родилась в 1965 году в городе Кемерове. Окончила Кемеровский институт культуры, затем работала в библиотеке КузГПИ, в школе № 89. Автор многих книг прозы.

Член Союза писателей России. Живет в Королёве.

Но Стас лишь небрежно бросил:

– Ну, ладно...

И быстро ушел в свою комнату. Мишка побродил по своей, отыскивая, чем бы заняться, и взял недочитанного Крапивина, чтобы спокойно подумать, никого не беспокоя тем состоянием оцепенения, в какое хотелось погрузиться. Он не часто позволял себе думать о маме, потому что мысли эти были острыми, от них все болело в груди...

...В тот вечер родители заперлись на кухне, а Мишка подслушивал из своей комнаты через розетку, приставив к стене банку. Обычно он не делал этого, но у мамы были такие глаза, что он ждался от страха перед тем, что неожиданно поселилось в ней. Видимо, оно ей самой казалось настолько ужасным, что им с братом даже нельзя было знать об этом.

Но сначала разговор между родителями, голоса которых шелестели, как бумага, показался ему самым обычным – о новой работе, которую маме предлагали. Что в этом было страшного? Но следом Мишка понял, что речь идет о другом городе, и не понял: испугался этого или нет.

«Зато директором всего телевидения – это ж здорово!» – он все силился понять, отчего же в голосах обоих родителей уже звучит такая мука?

А потом было произнесено имя какого-то Матвея, который займется маминым будущим, и Мишке сразу все стало ясно. Ладони сделались влажными, и банка опасно заскользила, норовя грохнуться на пол. Он еще с опаской подумал: «А током не шарахнет?» И понял, что нарочно отвлекает себя этой глупостью от того непоправимого, что родители выпустили наружу. Только через много дней Мишка задумался над тем, как же они оба жили, когда это было у них внутри?

«С какой стати мальчишки должны ехать с тобой? Их дом, их почва здесь, незачем вырывать их с корнем!» – голос у отца стал скрипучим, как у старика, и Мишке захотелось крикнуть, что не так он должен быть, когда уговариваешь! Неужели папа не помнит, он же сам учил этому. И вдруг понял: уговаривать никого не приходится, раз мама не протестует. Это у них просто такая игра в слова. Отец вынужден был сказать это потому, что маме было не выговорить.

Мишка поставил банку на пол и забрался в постель. Потом залез под одеяло с головой и час-то задышал, но все равно не смог согреться. Наверное, потому, что в сентябре квартиры еще не

отапливали. Но вот с тех пор прошло уже больше двух месяцев, а он все еще не отогрелся...

В книге Крапивина оказались перекошенные строчки. С этим Мишка уже сталкивался: буквы вдруг становились жидкими, как медузы, и начинали ползать по странице, налезая друг на друга. Удерживаясь, чтобы не шмыгнуть, ведь брат тут же услышал бы, Мишка быстро вытер глаза и мысленно отругал себя басом: «Здоровый пацан! А разнюнился, как маленький». Почему-то, когда пытаются укорить, всегда с кем-то сравнивают...

Ему вспомнилось, как папа сказал по телефону: «Ради Бога, не изображай Анну Каренину!», и почему-то Мишка понял, что звонит мама. Хотя кто такая Анна Каренина он знал только понаслышке, ведь этот роман был о любви, а ему такие книжки казались скучными. Мама, правда, говорила, что там есть глава о скачках, но не будешь же читать целую книгу ради одной главы! Зато он слышал, чем закончилась та история, даже анекдоты такие были, и сразу испугался за маму.

Мальчику захотелось перезвонить ей тайком и запретить даже думать об Анне Карениной и сравнивать себя с ней. Но в тот день Мишка не оставался дома один, а на следующий уже побоялся напомнить матери о том, что может случиться настолько страшное. Может, она уже и забыла о разговоре с отцом...

Иногда она успевала позвонить, когда Мишка возвращался из школы раньше Стаса. Но если брат уже оказывался дома, то молча отключал трубку, и мама не перезванивала. А в этом месяце не звонила вообще, хотя целую неделю Мишка просидел дома с простудой и мог бы поговорить с ней хоть час, не опасаясь, что кто-то будет этим недоволен.

У мальчишки, о котором писал Крапивин, мама как раз была, а вот отец погиб. Мишка подумал, что это ничуть не лучше. И еще – с горечью – о том, что мир устроен как-то однобоко: всегда чего-то ты оказываешься лишен. Если родители на месте, так болячка какая-нибудь прицепится, или в школе зашпыняют...

Он закрыл книгу, в которой все равно невозможно было что-либо прочесть, и, вывернув шею, посмотрел в окно. Уже начался декабрь, а снега еще было мало, и папа все откладывал обещанный поход на лыжах. Не бороздить же по земле, в самом деле! Правда, сегодня с утра мело, как-то прямо остервенело, и когда Мишка возвращался из школы, ему холодно кололо щеки.

Эти самые щеки просто бесили его! Они до сих пор были пухлыми, как у младенца, и сколько бы Мишка ни поднимал гантели и не подтягивался на турнике в коридоре, на них это никак не сказывалось. Мама говорила, что он сразу же показался ей похожим на игрушечного медвежонка из ее детства, поэтому она и назвала его Мишкой.

– А Стасик был похож на таракана, – ехидно добавлял он, если брата не было поблизости.

– Не болтай! – пресекала мама. – Стас у нас просто красавец... А ты – мое теплое солнышко. Самое лучшее солнышко...

«Я не скучаю по ней, – упрямо сказал себе Мишка, наблюдая, как ветер подхватывает с земли едва осевший снег, не дает ему слежаться как следует. – Чего мне скучать? У меня вон и папа, и Стас... А у нее один этот Матвей. Пусть они купаются себе в своих деньгах! Пускай даже захлебнутся!»

На самом деле он этого не хотел. И если бы мама вправду захлебнулась на его глазах, Мишка тащил бы ее и откачивал, пока сам не рухнул бы. Но она, видно, больше надеялась на этого Матвея... Говорили, будто он так богат, что купил для мамы телевидение, но Мишке не очень-то в это верилось. Неужели может быть столько денег, чтобы купить целое телевидение?

Однажды он сделал неприятное открытие: если взять первые слоги от имени этого Матвея и от ее – Мария, то как раз и получится «МАМА». А с папиным именем, Аркадий, составлялось что-то пугающее, звучащее по-военному. Может, поэтому у них и не сложилось?

– Не болтай! – строго сказал он себе маминим голосом. – Придумал же...

Вытащив из ящика стола заготовки для картонного самолета, Мишка принялся вырезать оставшиеся детали, нашептывая, что вот это будет настоящая военная техника. Надо только покрасить его поярче, а то он какого-то болотного цвета. Может, так и лучше для маскировки, но это ведь некрасиво...

«Если она приедет на Новый год, я подарю самолет ей! – эта мысль успела обжечь радостью прежде, чем он придушил ее. – Очень он ей нужен... Она его и не довезет даже, помнет весь. Лучше Стасу... Или еще лучше себе оставлю. Стас все равно уже не играет...»

– А папа когда придет? – спросил он громко, чтобы брат услышал в своей комнате.

Тот отозвался почему-то недовольным голосом:

– Не знаю. А чего тебе? Есть, что ли, хочешь?

– Да нет. Я так...

– Придет и придет. У него встреча со спонсором. Если их лаборатории дадут денег, он свою новую работу сможет закончить.

В отличие от брата, Мишка не слишком хорошо разбирался в том, чем именно занимается отец. Но машиностроительный завод разработками его лаборатории очень даже интересовался, и время от времени отец получал от них суммы, казавшиеся Мишке гигантскими. Только их почему-то все равно ни на что не хватало... Отец говорил про эти деньги, что они в машинном масле, поэтому просто выскальзывают из рук.

«А у Матвея, видно, не выскальзывают. Интересно, в чем они?» – противно было то, что все время думается об этом человеке, которого Мишка даже не видел. По какому-то неведомому праву тот вошел в их жизнь и распахнул всех по разным городам... И Мишка не представлял, как теперь собрать всех воедино, хотя с младенчества поражал всех способностью справляться с любым конструктором. Только это ведь было совсем другое...

Он повторял себе: «У меня есть папа и Стас», но одиночество, которому Мишка не знал имени, заливало его изнутри, будто он был пустотелым шоколадным человечком, который никому не в радость.

Ножницы непослушно вихлялись в руке, норовя разрезать важную деталь фюзеляжа поперек. Ее, конечно, можно было склеить потом, но Мишка выходил из себя, когда что-то получалось не так, и мог бросить всю затею. Слишком многое у него получалось, как надо, и это уже стало естественным. Только не в последнее время.

## ГЛАВА 2

«Может, выключить свет? – подумал Аркадий, не тронувшись с места. – Может, утро уже набралось розовой силы достаточно, чтобы высветить на бумаге эти странные, придуманные каким-то арабом значки? Он сам назвал их цифрами? Почему он нарисовал каждую так, а не иначе? И почему все человечество подчинилось его прихоти? Кроме римлян, пожалуй, но и они сдались... Вот оно – арабское владычество в действии! Господи, какая ерунда лезет в голову...»

Не шевелясь, Аркадий смотрел на чайно-золотистую портьеру, которую надо было отодви-

нуть, чтобы впустить утро, еще не разбудившее сыновей. Проснувшись, он передвигался по квартире тише кошки, под ней-то вечно скрипели половицы, хотя она весила всего кило девятьсот. Аркадий знал это наверняка, ведь на днях мальчишки снова затолкали Нюську на кухонные весы. Стас еще деловито подвел:

– Да минус грамм сто какашек, она еще на горшок не ходила.

Нюська мрачно смотрела на них с пластикового поддона глазами осознавшего свое предназначение убийцы и прижимала уши все сильнее, делаясь похожей на затаившуюся в листве рысь. Морда у нее была такой узкой и вытянутой, что казалось, будто кошка постоянно принюхивается. Аркадий незаметно загородил младшего сына, ведь если б Нюська вздумала броситься на одного из них, то, конечно, выбрала бы Мишку. Его самого она просто любила, а Стас мог свернуть ей шею одним ударом, и кошка хорошо понимала это. Она была женщиной...

– Во всех нормальных семьях отцы уходят, а не матери, – как-то бросил Стас, уверенный, что он не слышит. – У нас все не как у людей!

И хотя, поразмыслив, мальчик вслух добавил: «Ну и ладно, лучше быть не как все», Аркадий так и не смог отделаться от мысли, что сыновья предпочли бы, чтоб в этом их семья не отличалась от остальных.

Заметив, что Аркадий не пишет, Нюська легко вспрыгнула ему на колени и вопросительно муркнула. Они часто разговаривали так – каждый на своем языке, но обоим эти беседы доставляли удовольствие.

– Что, малышка, не спишься? – он медленно провел рукой по гладкой, скользкой шерсти. – Ты ведь у меня сытенькая, только спать да спать... За окном столько снега навалило, что ты ушла бы в него целиком. Всю зиму его почти не было, а тут разом! Тебе туда не надо выходить, тебе и дома хорошо, правда?

Кошка согласно зажмурилась и задрала слегка выпяченный подбородок, чтобы он почесал. Аркадий потеревил короткую шерстку пальцем.

– Вот ты от меня не уйдешь... Я даже не спрашиваю, ты заметила? Самоуверенность просто дьявольская. А ведь стоит забрести сюда какому-нибудь паршивому коту с его могучим зовом природы...

Это было не совсем справедливо, ведь даже у него сложилось впечатление, что Матвей любит его бывшую жену. Фактически – бывшую,

хотя никто из них до сих пор не подал на развод. Впрочем, Аркадий сделал бы это, если б у него было время и не было такого отвращения к бумажной волоките. Он до сих пор с ужасом вспоминал, как они приватизировали квартиру...

С Матвеем они встретились всего раз. А зачем больше, ведь надо было просто увидеть... Он показался ему молодым до того, что Аркадий даже растерялся.

– Ты его усыновляешь? – он понял, что со злости сказал пошлость, но извиняться не стал. Подавить эту непривычную для него злость Аркадий даже не пытался. Она спасала его от боли.

Маша улыбнулась виновато, – это у нее тоже появилось в последнее время, – и проговорила совсем тихо, чтобы Матвей, задержавшийся у своего огромного джипа, не расслышал:

– Я и сама понимаю, что это безумие. Но я... Видишь ли... Я ничего не могу с собой поделать...

– Зачем было рожать детей, если ты, оказывается, так и не научилась держать себя в руках? – пошлость сменилась банальностью, но Аркадий тоже ничего не мог с собой поделать.

Маша не ответила. Если б она уже нашла те почти невозможные слова, что могли оправдать ее, то уж, наверное, произнесла бы их вслух. Но их не было, этих слов. Любовь? Когда-то они сходились в том, что если страдают дети, любовь не может служить оправданием.

– А у него?

Аркадий не уточнил, о чем спрашивает, но она поняла, как всегда тотчас догадывалась обо всем, что он и додумывать-то не успевал.

– Нет, – она нервно улыбнулась Матвею, который был уже близко. – Хотя он был женат. Но детей нет.

У Аркадия вырвалось нелепое:

– Прекрасно!

– Что – прекрасно? – Матвей заинтересованно поглядывал на обоих. С одинаковым дружелюбием. Точно и не он, походя, растоптал то, что выстраивалось ими чуть ли не двадцать лет.

Маша противилась, когда Аркадий округлял до такой степени. «Всего семнадцать! – уточняла она. – Ты же математик, должен бережно обращаться с числами».

– Прекрасно то, что вы будете жить в пяти часах езды отсюда, – сказал Аркадий. И хотя до того он говорил о другом, это тоже было правдой.

– Я думаю! – откликнулся Матвей и весело тряхнул светлыми, ровно остриженными чуть ниже уха волосами. – Вот торчали бы у вас перед глазами!

Но взгляд у него оставался настороженным и, как показалось Аркадию, чуточку умоляющим. Было понятно, о чем он просит, но Аркадий и без того не собирался ни проклинать их, ни устраивать скандала. Не то чтобы потрясение прошло, а обида уже улеглась, но он знал: времени упиться ими будет вдосталь. Когда эти двое наконец уедут...

Матвей перестал улыбаться. Похоже, это нелегко давалось ему. Он оглянулся на засыпанные листьями столики летнего кафе. Их еще не убрали, хотя желающих выпить «Пепси» в такую погоду уже не было. Аркадию показалось, что столы усеяны скомканными носовыми платочками, и подумал, что это, должно быть, кафе прощания...

– Давайте сядем, – предсказуемо предложил Матвей и отодвинул для Маши стул.

Теперь, когда он ссутулился и перестал встряхивать волосами, почти невозможно было поверить в то, что этот человек так богат, как говорили. Разве богатые ходят в свитерах и джинсах?

Усаживаясь, Аркадий несколько раз пристально взглянул ему в лицо. Оно было крупным, но не полным, скуластым, и желваки ходили так заметно, что на мгновение Аркадию стало жаль его. Это чувство было столь же нелепо, как и предстоящий разговор, каким бы он ни вышел. И как вся их история, если ее поведать в двух словах: сорокалетняя женщина (ну, почти сорокалетняя!), мать двоих детей уходит к тридцатилетнему... или сколько там ему... парню и при этом не устает твердить, что на деньги ей плевать.

Это лицо... Аркадий цепко взглянул еще раз. Что в нем такого, перед чем невозможно устоять? Маша ведь была не из тех, кому слово «ответственность» вообще незнакомо. Сыновьям она отдавала столько себя, что другая уже опустилась бы, состарилась, а у Маши только черты стали чуточку острее за эти годы. Почему же они, все трое, внезапно растворились в тени этого Матвея, словно за ним тянулась полоска кислоты?

– Как же нам быть с мальчишками? – спросил Матвей, пристально глядя на искореженный старостью лист, который отрывисто трогал пальцем, будто пытался дозвониться до осени. Может, просил послать дождь, чтобы этот мучительный для всех разговор прервался...

Аркадий с трудом принял то, что он так просто назвал его сыновей «мальчишками». Хотя они и были мальчишками, как еще можно было сказать о них? Дети? Они убили бы, не задумавшись, если б услышали. Вернее, Стас убил бы.

– А что вас волнует? – Аркадий смотрел на него холодно, но без той злости, которая сама прилиwała к глазам, стоило только взглянуть на Машу.

Матвей несколько раз кивнул, хотя вопрос не предполагал согласия или несогласия. Волосы упали ему на глаза, и он отбросил их раздраженным жестом. «Он сердится на себя за то, что моложе меня, и носит модную стрижку, а я лысею, и ездит на джипе, – насмешливо подумал Аркадий. – Он решил, что я ненавижу его за все это».

– Вы не хотите их отпускать?

– А вы хотите попытаться забрать их?

– Не я... Почему я? Но это же Машины дети.

«Вот сейчас Стас все же убил бы его», – отметил Аркадий и, думая, что говорит спокойно, пояснил:

– Маша меняет свою жизнь. Кто может ей запретить? Но почему по ее прихоти мальчишки должны менять и свои жизни? Ей этого хочется, а им нет. Они здесь выросли, тут их друзья, школа...

– Школа-то заурядная, – заметил Матвей. – Терять особо нечего. Я, например, сменил пять школ.

– Меня не интересует, что вас вынудило.

– Ну, понятно!

– А вы понятливый! Тогда вам не составит труда понять все, что я могу сказать, но не хочу этого.

Бросив на Машу тревожный взгляд, Матвей выложил последний козырь:

– Я мог бы организовать им обучение за границей. В Англии, например. Легко!

«Организатор хренов! – едва не вырвалось у Аркадия. – Массовик-затейник!»

– Вы не поверите, – отозвался он церемонно, – но я сторонник российской системы обучения...

– В МГУ хотите?

– Также легко? Я ничего не хочу. Я уже отучился, слава Богу!

У него мелькнуло язвительное: «У этого типа хоть образование-то есть? Или начальной школы хватает, чтобы деньги считать?»

Он посмотрел на Машу, еще полгода назад (или когда там у них началось?) считавшую себя духовной гурманкой. Трудно было поверить, что Матвей обворожил ее, читая Бродского... Ему показалось, что Маша их даже не слушает, так увлеченно она гоняла по десятисантиметровому квадрату оставленную кем-то пивную пробку. Этот кто-то и не подозревал, в каком разговоре примет молчаливое участие его пробка...

«Да что с тобой! – Аркадий еле удержался, чтобы не отбросить Машину руку. – Ты же брезглива, как черт знает кто! Что с тобой происходит?»

Почувствовав его взгляд, она подняла глаза, и Аркадий опять увидел то, что месяц назад заставило его оцепенеть: Маша смотрела сквозь него. Его больше не было, он просто растворился в пространстве, и ее ничуть это не расстроило. Ему стало страшно случайно перехватить ее взгляд, устремленный на Матвея...

– Так что обсуждаем? – заторопился он, боясь отпустить ее невидящие глаза. – Все предельно просто и ясно. Мальчики остаются со мной. А вы живите, как хочется, никто вам не указ.

– Я могу... – первые слова дались Маше с трудом. – Я могу приезжать?

– Ну, разумеется!

Аркадию показалось, что он говорит голосом героя какого-то семейного фильма о правильном поведении при разводе.

– А ты будешь отпускать мальчиков к нам? Ко мне, – быстро поправилась она.

Аркадий внезапно выронил маску:

– Я думал, ты жить без них не можешь! А ты оговариваешь часы свиданий!

– Я не могу! – голос у нее взлетел и смешно сорвался. – Действительно не могу! Но ты же не хочешь меня понять...

– Я еще помню, как ты брезгливо кривилась, когда одна певичка ушла от мужа к стриптизеру, – выпалил он, отлично понимая, что это – вызов.

У Матвея помертвело лицо.

– Я вам не стриптизер, – его голос прозвучал так низко, что Аркадий без особой радости отметил: задел как следует.

Следовало бы остановиться на этом, но он язвительно добавил:

– И вы, конечно, будете любить ее до конца дней своих! Пока смерть не разлучит вас...

– Я вам шею сверну, если вы попытаетесь ее обидеть!

«А вот это моя реплика, – ревниво отметил Аркадий. – Он нарушает правила игры. Может, он просто не знает их? Классику не читал?»

– Не надо...

То, что Маша шепнула это, отозвалось новой болью: она допускала интимность прямо при нем. И в том, что короткие черные волосы ее были взъерошены, тоже проглядывала интимность, будто Маша только выбралась из постели, которую делила не с ним.

– Это уже ни в какие ворота – заверять, что я буду любить Машу вечно, – заговорил Матвей почти спокойно, только под кожей щеки что-то подрагивало. – Никто не может знать, сколько это продлится. И вы в свое время не знали. Маша не знает... Но сейчас... Маша, закрой уши! – повеселев, прикрикнул он. – Сейчас я готов землю прогрызть, чтобы она была счастлива!

– Зачем грызть землю? – бесстрастно поинтересовался Аркадий. – До Австралии вы и на самолете можете добраться. А сейчас садитесь в свой джип и уезжайте за счастьем. Никто у вас на дороге не встанет.

Смахнув со стола горсть листьев, Матвей выкрикнул, подавшись к нему:

– Да вы уже и так стоите! И уходить не желаете.

– А вам надо, чтобы я застрелился? Или чемоданы помог донести?

– Я... Мы хотим быть уверены, что вы не станете настраивать мальчишек против Маши.

– Больше, чем она сама против себя настроила? Не стану, будьте спокойны.

С сомнением дернув сломанной в середине бровью, Матвей пробормотал:

– Будешь тут спокоен...

– А как же ваше «легко»? Я думал вам все – легко!

– Не все, как видите, – он вдруг улыбнулся. – Но я уж постараюсь, чтобы нам всем стало легче. Разве такое невозможно?

### ГЛАВА 3

«Однажды из твоей комнаты исчезнут игрушки... Как это происходит? Их собирают в мешок и выносят на свалку? Или они и вправду на цыпочках уходят ночами, как представлялось мне в детстве? По одному: солдат за роботом, медвежонок за лошадкой с безумным взглядом... Так незаметней. Детство уходит именно так. По капле. По выдоху.

Со Стасом мы такого не пережили, его игрушки просто перекидывали в твою комнату. Сколько им осталось жить там? Тебе скоро двенадцать. Когда заходят девочки, ты уже стесняешься своих молчаливых друзей, и твои все еще нежные ушки начинают гореть и светиться красным. На их глубоких ободках чуть заметные серебристые волоски, которых я уже много лет не касалась губами, ведь это ласка женская, не материнская.

Я лишила себя возможности быть с тобой рядом, когда ты будешь прощаться с детством... Ах, какое торжественное словосочетание! А ведь на самом деле никакого прощания не бывает, потому что никому не дано угадать тот ускользающий миг, когда растает последний луч этого долгого солнечного дня.

Впрочем, я говорю глупости. Это солнце – твоё детство – может остаться в тебе навсегда, как навечно поселилось оно в Матвее. Это теплое свечение притянуло меня и погрузило в себя так глубоко, что уже и не выбраться. Жаль, что вы не познакомились, он понравился бы тебе. Как и ты, он видит в этом мире столько красок, что их веселый вихрь заставляет его сердце колотиться вдвое быстрее, чем у обычного человека.

Его детская непоседливость иногда пугает, он не может надолго успокоиться чем-то. И его капризное: «Хочу немедленно!» тоже пугает... Трудно представить, чтоб он не добился, чего хочет по-настоящему. Но эти мелочи не заслоняют от меня главного: его способности изумляться Красоте, упиваться ею.

Влажные ложбинки на утренних листьях сирени и вельможное покачиванье папоротника, вспышки летящей паутины – все это он замечает и дарит мне. Он первым слышит новые интонации в возгласе птицы, почуявшей весну. И трепетный запах этой поры еще чувствует, хотя мне самой кажется, что весной давно уже не пахнет.

Я могла бы сказать, что мой мир расцвел с появлением Матвея, если б не видела, как непоправимо померк он без тебя. Без вас со Стасом...»

– Ты молчишь уже третий час, – Матвей смотрел на влажно темнеющую среди белесых от снега полей дорогу, летевшую им под колеса, но страх в его взгляде отразился от лобового стекла, и Маша поймала его.

– Мне есть о чем подумать, – заметила она.

– И это, понимаешь, правильно, – сказал он голосом Ельцина.

Маша рассмеялась, ведь обычно это смешило ее. Но сейчас, но ведь обычно так было...

– Не смешно, да? – Матвей взглянул мельком, но тот же страх успел холодом скользнуть по щеке.

– Смешно. Я просто немного трушу. В последнюю встречу он вел себя, можно сказать, по-рыцарски, а я потом неделю была какая-то опустошенная. Наверное, было бы легче, если б он орал...

– Тогда я тоже начал бы орать, – сообщил Матвей. – Мы подрались бы. Я, конечно, убил бы его одним ударом. Легко! И на целую вечность сел бы в тюрьму. Тогда тебе было бы легче?

– Это было бы прикольно.

Маша знала, что он не любит, когда она заговаривает языком своих детей. Но ей казалось, что если эти словечки забудутся совсем, это будет предательством с ее стороны. И тут же вспоминала, что больше того предательства, которое она уже совершила, вряд ли могло что-то быть...

– У твоего мужа, если честно, следует брать уроки выдержки. Но мне что-то не хочется... А у него, между прочим, хорошее лицо.

– Ты говоришь о нем, как о собаке.

Ей было известно, что Матвей любил собак. Только почему-то так и не завел ни одной. Поколебавшись, Маша спросила об этом сейчас. Он взглянул удивленно, смущенно усмехнулся, потом все же выдал:

– Понимаешь, они все такие чудесные, одна лучше другой. Вот так возьмешь одну, а потом другая понравится еще больше. Разве я смогу себе отказать? А с той что делать? Не питомник же заводить...

Ответ не требовался, и Матвей опять заговорил о ее муже. Было похоже, что он наслаждается, истязая себя.

– А глаза у него всегда были такими... усталыми? Или это мы его так выпотрошили?

– Усталыми? Мне они казались просто серьезными. Умными.

Он скосил заблестевший усмешкой взгляд:

– После него приятно влюбиться в круглого дурака! Почему это он тогда сравнил меня со стриптизером? Я только сейчас вспомнил.

Маша прорычала ему в ухо:

– У тебя роскошное тело!

– Щекотно! – Матвей потерся ухом о плечо. – Я, в самом деле, похож на дурака, или это он со злости?

– А ты как думаешь? – она с облегчением обнаружила, что тяжесть, совсем расплывшаяся ее за три часа пути, понемногу стекает на дорогу.

Он вдруг сказал:

– Не волнуйся. Пацаны ждут тебя. Все-таки Новый год. Семейный праздник... Я испарюсь. Потолкаюсь в каком-нибудь клубе. Надеюсь, вас есть?

– Ты сейчас – моя семья, – Маша поморщилась, потому что в ее словах прозвучало название одного из телевизионных ток-шоу, от которых уже подташнивало.

– Но меня-то, признаем, там никто не ждет!

– А меня? Стас бросает трубку...

– Ну, так! В шестнадцать лет я был еще той сволочью!

Она возмутилась:

– Хочешь сказать, что мой сын – сволочь?

– Да нет, нет! Он – ангел во плоти. Только ведет себя по-сволочному...

– Я заслужила.

Было необходимо, чтобы Матвей тотчас начал разубеждать ее, а он на секунду замешкался. «Он тоже считает, что заслужила, – Маша успела понять это и замерла, как от удара исподтишка. – Он, конечно, рад, что я так сделала, но и ему это кажется предательством. А как еще это можно назвать?»

Злость сдавила ей горло, отдаваясь в голове фразами, в которых было столько банальности, что самой стало противно: «Я всем пожертвовала ради него! И он еще смеет... Какая же я...»

– Мы на твоей земле, – сказал Матвей так весело, будто они шутили все это время.

– Что? – она еще не очнулась от обиды.

– Неприступная граница осталась позади. Это уже ваша область.

– Чья это – ваша? – горло не отпускало, и Маше хотелось, чтобы он тоже ощутил хоть отголосок ее боли. – Я здесь больше не живу, если помнишь!

Просевшие от холодного груза лапы елей мчались на нее лопастями гигантской мельницы, готовой измельчить в труху все, что составляло сейчас Машин мир. Ведь все это было ничтожно, ничтожно...

Матвей быстро взглянул на нее и воскликнул, пытаясь удержать тот же беспечный тон:

– Так это ты живешь со мной? А я-то голову ломаю: где я тебя видел?

«Не смешно. Он ребячится, потому что не может иначе, или чтобы я поменьше тосковала о мальчишках? В любом случае, ему не удастся заменить их... Если б мне нужен был еще один ребенок, я родила бы его, вот и все», – Маша отклонила голову к стеклу. В машине было тепло, и она сняла вязаную шапку, которую носила зимой. Ей вспомнилось: «Мишка хотел сестренку. Он посмотрел «Корпорацию монстров», и ему захотелось, чтобы по нашему дому тоже бегала маленькая хохотушка, которая нежно говорила бы Ньюске: «Кися...» Надо было родить и сидеть дома. И не было бы никакого Матвея...»

– Останови машину!

Она выкрикнула это, и Матвей резко нажал на тормоз. Обоих швырнуло вперед, и он будто окунулся во что-то белое – так побледнело его лицо.

– Ничего, – выдохнула Маша прежде, чем он спросил. – Я хотела сказать, что люблю тебя. Но это нельзя говорить на ходу.

– Я очень боюсь этой поездки, – тихо признался он, не отводя глаз, и ей подумалось: это лучшее из всего, что он мог ответить.

– Бояться нечего. Тебе-то уж точно. Все уже разорвано. И все уже пережили это...

– Так может... – Матвей оборвал себя и мотнул головой. – Нет. Нет, конечно!

– Лучше и не ездить? – она сама столько раз спрашивала себя об этом, но сейчас у нее онемели губы.

Он молча заставил машину тронуться.

– Я хочу их увидеть, – сказала Маша через силу. – Это будет не радостная встреча, я знаю. Но если я не приеду, они решат, что я совсем отреклась от них. Ведь Новый год... О господи!

У нее уже так болело в груди, что впору было кричать, а она лишь прижала к глазам стиснутые кулаки. Пальцы были ледяными, а лицо горячим. Маша подумала, что вся ее жизнь из таких противоречий и состоит, и разозлилась на себя за эту непреходящую способность к мышлению. Кого она сделала счастливым?

Тормоза горестно вздохнули, и рука Матвея, теплая и тяжелая, легла на ее волосы.

– Попробую поговорить с ним еще раз, – сказал он, не призывая Машу успокоиться. – Может, он уже измотался за эти месяцы?

Она опустила руки, а Матвей убрал свою и отвел глаза, чтобы не раздражать ее состраданием.

– Дело ведь не в том, что Аркадий не хочет их отпускать. Они сами не хотят ко мне. И знаешь что? Если б все это происходило не с нами, я была бы на их стороне. Я всю жизнь презирала Анну Каренину! Со школьных лет. Когда он по телефону сравнил нас, меня так и прошло. Мне то всегда казалось, что со мной такого просто не может случиться! Скажи мне, как это произошло, что я не могу жить без тебя?!

Она прокричала это, уже не пытаясь скрыть упрек, почти ненависть к тому непонятному в Матвее, что полонило ее, притянуло так мощно, что освободиться и при этом остаться в живых было уже невозможно. И все же, если б Маша позволила вырваться тому, что жгло горло: «Ты лишил меня счастья!», это было бы правдой. Счастливой она себя не чувствовала.

– Мне нужно было испариться еще тогда... Весной. Было еще не поздно.

– А ты смог бы? – Маша напомнила себе любовь из миллионов женщин, ищущих подтверждения неодолимости любви, направленной на них. Она поежилась.

Матвей смотрел на застывшую перед ними дорогу.

– Не знаю. Как узнать, если я уже не сделал этого?

– Действительно...

– Я стараюсь быть честным.

– Мы живем в грехе, а ты говоришь о честности?

– Я считал, что мы живем в любви... Стой! – он приказал это будто себе самому и повернул к ней лицо, готовое к смеху. – Я придумал! Раз наступает год Лошади, мы должны подарить им лошадь!

Его фантазии Машу уже не поражали, они сделали их телевидение смотрибельным. Она лишь уточнила:

– Живую?

– Ну, не смердящий же труп!

– Идея грандиозная. Только сначала придется подарить им усадьбу с конюшней.

Матвей разочарованно пробормотал:

– Да, действительно. Это я сейчас не потяну...

«Слишком много затрат в последнее время», – она опять подумала о телевидении. Маша прекрасно знала, что все вокруг считали,

будто она задурила голову богатому парню только ради своей карьеры. И было скучно объяснять каждому, что любимому человеку хочется подарить то, что ему нужнее всего. К тому же, тогда следовало бы добавить, что на самом деле Матвей ошибся...

Ее вдруг толкнуло:

– А что, если нам с тобой купить лошадь?

– Легко! И заманить их этой скотиной? – сразу сообразил Матвей.

– Мелко, я знаю, – Маша почувствовала, что улыбка становится заискивающей.

Он заговорил виновато, быстро поглядывая на нее:

– Не в этом дело. Понимаешь, пока не видишь, не можешь и хотеть этого... чего-то... так сильно, чтобы переступить через себя. Мечту тоже можно видеть, как в живую. Только разве твои пацаны мечтают о лошади?

Маша тронула руль:

– Поехали. Ты прав. Они не хотят лошадь.

– А чего они хотят? Каждый из них. Ты знаешь? Ну, вспомни! Мы купим.

У нее вырвался недобрый смех.

– Они хотят вернуться в прошлое, – сказала она уверенно, потому что временами хотела этого нестерпимо. – На год назад. Тогда был веселый декабрь...

Несколько минут Матвей молчал, а когда она уже далеко ушла в мыслях от последних слов, вдруг сказал:

– Где-то он должен быть, этот ход. С чего бы столько писали о перемещениях во времени, если б на самом деле его не было?

– О скатерти-самобранке тоже писали...

Он тут же отвлекся и пожаловался:

– Есть хочется!

– Ты опустишься до придорожной забегаловки?

– Легко! Нам еще час ехать, не меньше. Мой желудок уже сожрет себя.

«Сердце тоже может сожрать себя. Раньше я этого не знала», – Маша отвернулась к окну, но быстро устала от того, как перескакивает взгляд с устрашающе торчавших веток голого куста на озябшую березу, потом на брошенную покрывку, потом...

– У тебя такое лицо, что впору сказать: «Лучше б мы не встретились», – Матвей пытался улыбаться, потому что это звучало слишком страшно. – Так ведь могло быть... Ты не приехала бы на тот телефестиваль. Послали бы кого-то другого...

– Это был мой материал, кого еще могли послать? – вяло возразила она.

– Да могли бы! Уж ты-то знаешь... Да и я мог заняться не телевидением, а...

– Металлорежущими станками, – Маша сказала наобум, а получилось – напомнила себе о муже.

Ему тоже вспомнился Аркадий:

– Или стриптизом.

– Да-да, – ей не хотелось шутить. И откликаться на шутки тоже не хотелось.

Он спросил:

– Помолчим?

Маша не ответила. Ее память, как в игральном автомате, вдруг выбросила тот день, когда Маша угодила в поток энергии, который несся вслед за Матвеем. На том фестивале работали мастер-классы, и в одной из студий снимали короткометражку для новой региональной передачи, в которой зрителям предлагалось выбрать финал истории. Предусматривался интерактивный опрос и дискуссии в студиях областных центров, и все это могло вылиться во что-то интересное. По крайней мере, так показалось Маше, которая осталась на съемку, пожертвовав очередным просмотром конкурсных работ. Легко! К тому моменту она видела Матвея только издали (разве можно его не заметить!), а тут решила, что он – режиссер, потому что все в студии слушали только его. Потом уже выяснилось, что он из тех продюсеров, которые на самом деле и определяют судьбу фильма.

– Я хочу, чтобы этот план ты слегка завалил, получится динамика, – убеждал он оператора, все показывая руками. – Крупняки потом снимем, сейчас давай диалоги.

Пока работали артисты и операторы, Матвей стоял у одного из них за спиной и чуть ли не оглаживал его, воздев руки, так ему хотелось управлять и камерой тоже. Игнорируя настоящего режиссера, маленького, похожего на обиженного хомячка, он обращался к актрисе, классически красивой, как отметила Маша:

– Я попросил бы вас, когда будем снимать крупным планом, сделайте движение бровями. Да, вот так! Наезд на зеркало! Вот, план сразу ожил. Еще раз. Все, пишем.

От напряжения, которое возникло в ней в какой-то момент и задержалось, вытянув шею, Маша следила не только за тем, как Матвей работает, но ловила и то, как он морщит большой выпуклый лоб, как взмахивает длинными рука-

ми, ничего не замечая в своей углубленности, как всем лицом откликается на игру актеров. Вдруг он нашел глазами Машино лицо и улыбнулся. Если б он не сделал этого, Маша бережно унесла бы из студии восхищение профессионалом, но Матвей поймал ее этой улыбкой, посланной ей через головы десятка людей. Она так растерялась, что не сообразила улыбнуться в ответ.

Даже обманчивый свет жарких софитов не смог скрыть от нее, что глаза у него зеленые. Как у той беды, про которую они пели с девочками в школе. Правда, эти были почти бирюзовые. Она еще не видела таких глаз. И ей вдруг показалось, что всю свою жизнь она искала эти глаза. Этот неземной свет, который способен перенести в другую реальность.

«Я нагнетаю, придумываю, – пыталась она убедить себя в те безумные дни, когда рыскала взглядом по залу, по коридорам: «Где он? Где?» – У меня ведь все уже сложилось, этим нельзя рисковать. Менять я ничего не собираюсь. Мне просто понравились эти ощущения... Эти замирания в груди... в животе... Эти сны, в которых я все время плачу и говорю ему, почему-то по-английски: «Ты – моя мечта... Моя мечта». Но я ведь уже знаю, что мечты никогда не сбываются. Я уже выросла из времени незнания».

Она действительно верила в это...

В придорожном кафе со смешным названием «Остановись-ка!» пахло жареной курицей в чесночном соусе, и Маше тоже захотелось поест, хотя минуту назад об этом и не думалось. Матвей уже скользил между столиками, изображая услужливого официанта. На каждом шагу он оборачивался, и Маша читала по губам: «Айн момент, айн момент!»

На него уже посматривали, но ему не было дела до чужих взглядов. Это тоже было одним из тех многочисленных потрясений, которые она пережила с ним. Ее-то саму телевидение приучило помнить, что на нее смотрят постоянно.

«Оказывается, это и есть жизнь, – отвращение опять подступило к горлу. – Нажраться курицы, развалиться в громадной машине, поболтать по мобильнику... Мне этого не хватало? Вот, получи! Расплата детьми».

Она знала, что Матвей видит ее лицо, которое лучше бы сейчас не показывать. Ему даже не приходилось надевать контактные линзы. У него было хорошее зрение, хорошая голова, хо-

роший характер, хорошая улыбка... Разве она могла не влюбиться в него?

«Могла, — Маша отвернулась к окну и встретила взглядом с собакой, которая сразу встрепенулась и неуверенно вильнула хвостом. — Вот у кого ничего нет. А у меня действительно все было. Но... Но! Каких-то пять лет, и мальчики ушли бы сами, так уж заведено. А Матвей уже был бы потерян. Я украла у них пять лет детства, чтобы вырешить себе пять лет молодости. Я не чувствовала себя молодой с Аркадием. Потому что он сам не чувствовал себя молодым».

Ее муж даже в двадцать лет был тихой водой. Не тихим омутом, а спокойной рекой, в которой глубина — не обманная, а вот движения почти нет. Против него Матвей казался горным потоком, обжигающим, не допускающим сопротивления. Он все время куда-то бежал, размахивал руками, фантазировал, всех вокруг увлекая в свой мир. Беспреданно звонил телефон, двигатель машины оставался не выключенным, даже телевизор, когда его смотрел Матвей, перескакивал с канала на канал.

Иногда Маше казалось, что ее начинает утомлять такой темп. Может быть, она действительно была стара для него... С Аркадием она не ощущала усталости, потому что и уставать-то было не от чего. У них никогда не случалось ничего плохого, никаких бед, которые могли бы встряхнуть обоих. Этому можно было только радоваться, но теперь Маша подумывала, что им с мужем пошло бы на пользу, если б хотя бы однажды их как следует шарахнуло бы о подводный камень...

— Купи что-нибудь для той собаки, — попросила она, когда Матвей вернулся. — Смотри, какая несчастная!

— Мы ей кости отдадим.

— Ты жадничаешь? — изумилась Маша. До сих пор она не замечала в нем этого. Чаще Матвея приходилось хватать за руку, чтоб он не источал золотой дождь.

Он обиделся:

— Почему это? Собаки же любят кости!

— Глупый. Собак нельзя кормить куриными костями. Они острые, могут вонзиться в горло.

— Серьезно? — прижав руку к груди, будто у него схватило сердце, протянул Матвей преувеличенно-потрясенным тоном. — Ладно, куплю ей бутерброд. Она не поперхнется хлебными крошками?

Маша сказала ему вслед:

— Я сама отнесу ей.

И почувствовала себя отчаявшейся грешницей, пытающейся задобрить Бога через нищего.

## ГЛАВА 4

Если б она не приехала, вполне возможно, он встретил бы Новый год почти человеком. Аркадий и раньше знал: никто не страдает из-за предательства вечно. «И это пройдет...» Вот только, когда пройдет, не смог бы сказать ни один из мудрецов.

Ему претило думать, будто он страдает из-за любви, это было совсем не то. Его любовь к Маше не была ни безответной, ни осмеянной. Они прожили в счастье так долго, что грех было жаловаться на судьбу. Предательство — вот что было мучительно. В том числе и предательство Машей самой себя. Ведь та Маша, которую он знал почти двадцать лет, была человеком надежным. Не способным бросить своих детей.

То, как они с Матвеем без предупреждения возникли в последний день года, было похоже на вероломную атаку. Именно в этот день всеми овладевает сентиментальное настроение, похожее на ностальгию по собственным детским ожиданиям то ли чуда, то ли подарка, и все равно, как оно (он) проникнет — через трубу, или возникнет под елкой на куске ваты, изображающей снег, или появится в почтовом ящике. Это день, когда ничего не стоит справиться даже с самым несговорчивым упрямым.

Аркадий не был таким. Та злость, на которой он держался в сентябре, когда Маша уезжала, давно ушла из него, а на ее место не водворилось ничего. Пустота позванивала в нем ногами, когда стихали другие звуки. Широкая для одного кровать обманывала: Аркадию мерещилось, что стоит неосторожно повернуться, и его поглотит пропасть, образовавшаяся с Машиного края.

И он лежал, вытянувшись, и не отрываясь смотрел в потолок, которого тоже не было — только чернота, не имеющая дна. А пустота все звенела, разлетаясь по миру и суля обманную легкость тем, кто доверял голосам ночи. Если б Маша явилась в полночь, кажется, он даже не удивился бы...

Но эти двое прибыли в полдень, это значило, что выехали ни свет, ни заря.

«Выгадали время на случай, если я выставлю их за порог и придется искать пристанище, где встретить Новый год... Хотя чего опасаться

с его деньгами?» – забыв вдохнуть, Аркадий следил, как они идут от своей до неприличия большой машины к ободранной двери их подъезда, и пытался выудить из памяти то, что толкнуло его к окну. Разве он когда-нибудь простаивал у окна? Но жар, прихлынувший к голове от всполошившегося сердца, был нестерпим настолько, что предыдущие мысли и предчувствия уже обратились в прах.

«Хорошо, что мальчишек нет дома», – он суетился, хотя пытался успокоиться, чтобы встретить Машу с каменным лицом. Что Матвей не поднимется, в этом можно было не сомневаться, хотя тот и шел к подъезду.

«Чтобы открыть перед ней дверь», – Аркадий подумал об этом с досадой, хотя и сам всегда открывал ее перед женой. Но сейчас, когда злости больше не было, казалось, что он тоже виноват в том, что случилось. От чего-то же возникла в Машинной душе та брешь, в которую втиснулся Матвей. Может, именно в тот день, когда она уезжала на этот чертов фестиваль, Аркадий забыл поцеловать ее на прощанье или просто оказался рассеян и ляпнул: «Да-да...» вместо: «Счастливо!», как иногда с ним случалось.

Обычно Маша посмеивалась над этим: ученый и должен быть Рассеянным с улицы Бассейной... А в тот день ей, видимо, стало не смешно, а обидно. Хотя, может, ничего этого и не было. Теперь уже ни его, ни ее память не могла восстановить, в каком месте находился тот первый камень, который они обошли с разных сторон, забыв, что по примете это приводит к ссоре. А изводить себя догадками тоже не имело смысла. Каждая из них цеплялась очередной жердочкой навесного мостика, который уже давно должен был рассыпаться, чтобы освободить их с Машей друг от друга.

– Рубашку!

Аркадий метнулся в спальню, на ходу стягивая домашнюю майку, о которую минуты три назад, забывшись, вытер замасленную руку, и темные, глубокие на вид пятна отчетливо проступали на синем трикотаже. Выдернув из шифоньера совсем новую рубашку с короткими рукавами («Она должна увидеть, что я – другой... Что жизнь продолжается и без нее...»), Аркадий, продолжая суетиться, застегнул пуговицы, и уже на последней обмяк от облегчения: успел.

Но еще нужно было вонзить щетку в седеющие волосы, уже не такие густые, как раньше, но

сегодня особенно спутавшиеся. И перед зеркалом натянуть маску. И не сразу отозваться на звонок.

– Ого! Какими судьбами?

Это прозвучало достаточно равнодушно. По крайней мере, ничуть не взволнованно. Машино же лицо все так и подергивалось...

– Я... Можно мне войти?

– Отчего же – нет? – Аркадий еще раз похвалил себя за выдержку, и тут же устало подумал: «Какое ребячество... Неужели нелюбовью можно гордиться? Глупая, глупейшая игра...»

Не предложив Маше раздеться, он долго рассматривал ее испуганное, с умоляющими глазами лицо, потом спохватился:

– Снимай шубу. Это и есть норка?

– Это и есть... А почему ты спрашиваешь? У тебя же была норковая шапка.

– Здесь ее много, – он усмехнулся. – Смотрится иначе.

– Детей нет? – боязливо спросила Маша, назвав их так, как только она себе позволяла, и они нисколько не обижались. Когда-то...

Аркадий подхватил невесомую шубку: «Хорошая выделка». мех воротника ласково прильнул к его ладоням, и ему захотелось швырнуть норку на пол в мокрых пятнышках, чтобы не поддаться этому обману.

– У них елка в школе, – сдержанно пояснил он. – Так теперь, правда, не называют. Новогодний вечер. С двенадцати часов дня! – усмешки выскакивали одна за другой, но Аркадию уже казалось, что они выдают его. – По-моему, это чистое безумие – устраивать школьный праздник именно тридцать первого...

Маша прижалась спиной к своей шубе, обвисшей на крючке:

– Наверное, мне лучше повидаться с ними в школе? Ждать, наверное, долго... У тебя, наверное, дела.

– Наверное, – повторил он слово, которое выскакивало из Маши, как из него самого эти глупые смешки.

– Я... Да. Как ты?

В ее голосе прозвучала несыгранная боль, и Аркадия передернуло, будто иглой ткнули в нерв.

– Вполне, – он снова взял шубу и подал ей. – У меня новый контракт. Со дня на день стану миллионером.

Маша нервно улыбнулась, и он подумал, что иначе, как шутку, она и не могла воспринять его

слова. Отодвинув засов на двери, он лениво бросил:

– Ну, пока. Да! С наступающим тебя...

«Наверняка она даже не заметила мою рубашку... Ребячество. Сплошное ребячество», – Аркадий проводил взглядом джип, спрашивая себя, что же осталось в этой роскошной женщине от той чуткой и бескорыстной умницы, с которой он жил? Знакомые шептались о том, что Маше не сказанно повезло с этим Матвеем. В ее-то возрасте да с таким приданым... Даже если он не женится на ней и спустя год бросит, через суд запросто можно будет оттяпать столько, что хватит на безбедную старость. Совместное проживание.

«Она получила то, что внезапно стало и русской мечтой тоже... Как это случилось с нами? Слезинка ребенка больше не имеет значения?» – Аркадий попытался закурить, но в руках еще сохранялась та сила напряжения, от которой трясло. Он швырнул пачку на пол и расплющил ее ногой. Ему представилось бурое сыпучее месиво, образовавшееся внутри. Сейчас он и сам был похож на эту растерзанную пачку: тряхни посильнее, и все из него высыплется, осквернит дом...

Он засмеялся: идиотское сравнение! И еще раз посмотрел в окно – двор как двор. Здесь уместно смотрятся «Жигули» и «Москвичи». Она не должна была приезжать сюда. Не должна была приезжать вообще.

У него протяжно заныло сердце. Сейчас она уже в школе, с его сыновьями. Ее право называть их своими – формально, она отказалась от него. Конечно, никто не может запретить ей это, но... Аркадий бросился в свою комнату, рывком вытащил свитер и натянул поверх рубашки. И сменил джинсы, хотя торопился. Но появляться в школе в таком виде... Перед ней... Перед ним...

Не дожидаясь лифта, Аркадий сбегал по лестнице, и давно забытые прыжки через ступеньки всколыхнули в нем энергию его юности. Вот что притянуло ее в этом Матвее – кипучая радость оттого, что просто живешь, и впереди еще так много. Когда он сам перестал верить, что еще есть что-то впереди? Наверное, тогда же Маша поняла, что у них нет будущего.

Будущее и будни только звучат похоже, а значат совершенно разное. Аркадий мог предложить ей только будни. Ему они нравились. Он считал себя счастливым человеком и был уверен, что Маша живет с тем же ощущением...

«Все опять уперлось в мешок с деньгами, – Аркадий быстро шагал к школе, перепрыгивая

через невысокие гряды счищенного с дороги снега. – Он может подарить ей мир и целый ворох впечатлений, потому что у него есть на что купить этот мир. Откуда у него деньги? Еще молоко на губах не обсохло... Папаша хапнул где-то и поделился с малышом. Так это происходит? Я не знаю. Никогда не был накоротке с богатыми людьми. И думал, что не буду. А теперь мы почти родня!»

Ему нужно было взбодриться, а для этого следовало разозлить себя. Но школа была слишком близко, Аркадий боялся, что ему не хватит времени. Ведь за эти три месяца он разучился жить в ненависти, которая и захватила-то его ненадолго. А в груди уже болело так нестерпимо, что становилось боязно: не дойти...

Он спрашивал себя, зачем вообще идет туда, если сам сказал Маше, где мальчики, тем самым устроив их свидание. Но что-то вело его, какой-то безумный страх, как будто Маша была способна выкрасть его детей, заманить их в свою безразмерную машину и увезти на край света, где Матвей уже приготовил тайное убежище. Впрочем, теперь он не мог уже сказать наверняка, на что она способна.

Аркадий на ходу взглянул на часы. Эти двое уже четверть часа, как в школе. Если у них и впрямь был какой-то гнусный замысел, все уже случилось.

«Что ж я копался? – он побежал, неловко поскользываясь на укрытых снегом пятнах льда. – Надо было бросить все... штаны эти... и мчаться за ней следом. Зачем я вообще сказал ей, где они?!»

Красная стена школы уже вспыхнула впереди тревожным сигналом. Аркадий видел ее сотни раз, но сейчас у него провалилось сердце. Ему вспомнилось, разглядеть он еще не мог, что на торце школы кто-то, пребывающий в мрачном расположении духа, написал по-английски: «Добро пожаловать в ад!» Остановившись, потому что по ногам предательски растеклась слабость, он глотнул глущего воздуха и сжал кулаки. Нужно было хотя бы дойти...

## ГЛАВА 5

Стас услышал, как кто-то из одноклассников восхищенно протянул:

– Вау! Неслабая тачка!

Яростно пробившись к окну, он увидел именно то, что уже представил: его мать в незнакомой шубе и с непокрытой головой выбралась из

джипа и пристально оглядела школьные окна, хотя был день, и она не могла увидеть лиц тех, кто находился внутри. И все равно Стас отшатнулся и попятился.

Никто из ребят не узнал ее, ведь ей и раньше некогда было ходить в школу, а местное телевидение его друзья не смотрели. С учителями же она просто созванивалась, хотя знала, что некоторые злились. Но в школе установилось негласное правило, что полезно иметь своего человека на телевидении, поэтому братьев Кольцовых особенно не трогали.

Стас никому не говорил, что случилось в их семье, ощущая противный стыд за женщину, которую еще полгода назад считал лучшей в мире. Теперь он предугадывал, что передернется от омерзения, если мать хотя бы вскользь коснется его. Он никогда не был таким «лизунчиком», как Мишка, но раньше ему не было противно, если мать обнимала его.

Он выскочил из кабинета и бросился к актовому залу, где веселились средние классы. Но, еще не добежав до двери, схватил знакомого мальчишку:

– Мишка там?

– Они в классе, – пацан независимо дернул плечом, освобождаясь. – На третьем.

«Я успею?» – расталкивая всех подряд, Стас помчался к лестнице и взлетел на два пролета. Ему чудилось, что сзади уже нагоняет острый стук каблучков. Хотелось выгнуться, чтобы этот звук не вонзился в него... А еще больше хотелось крикнуть всем тем, кто ходил у него в приятелях: «Задержите ее! Подставьте подножку, встаньте «стенкой», что угодно!» Но добровольный обет молчания обручем стискивал его горло.

Рванув на себя белую дверь, Стас тут же увидел брата: Мишка забрался на парту и пытался снять красный шарик, привязанный к лампе. В конце кабинета смазанным мазком мелькнуло девчоночье лицо, и в другое время Стас ничего не сказал бы при ней, но сейчас было некогда.

– Мишка! – выдохнул он и, привалившись к стене, судорожно вобрал воздух, чтобы договорить. – Она приехала. Она уже здесь, в школе.

Карие, как у отца, глаза просияли радостью, которой Стас не ожидал. Нет, все же подозревал ее в брате, но слишком был уверен в ее недопустимости... Мишка энергично взмахнул кулаком:

– Да! Я знал, что она приедет!

Восторг взметнул его тело, заставил оторваться от стола, полететь вверх и вперед, чтобы приземлиться у самой двери – ближе к ней! Стас не сразу и понял, что произошло. Отчего Мишка рухнул на пол и застыл, будто его сковало льдом. И воздух для него тоже будто смерзся, потому и не удавалось вдохнуть его, как следует.

«Выступ на потолке. Он ударился головой», – Стаса придавило так, будто этот потолок опустился на него. Рука сама провела над макушкой...

– Больно, – выдавил Мишка глухим, пунктирным голосом. – Дышать...

То, как он очутился возле брата, каким-то образом ускользнуло, и Стас поймал себя на том, что пытается поднять его, но руки, как анархисты, опять действуют, не признавая власти мозга. Когда они отдернулись, он подумал: «А вдруг...» И сердце заныло так, будто уже знало что-то, недоступное пока никому...

– Лежи, слышишь? – Стасу хотелось бы говорить спокойно и уверенно, а в горле мешался горячий комок. – Не шевелись. Я сейчас... Я скорую... Да у тебя кровь на голове! Ты следи, чтоб никто к нему не приближался! – крикнул он девочке, уже ненавидя ее за этот шарик, наверняка ей понадобившийся. Правда, и в эту секунду Стас помнил, что главная вина лежит не на ней...

Он толкнул дверь всем телом и едва не воткнулся в мать. Ее лицо вспыхнуло горячей радостью, напомнившей Мишкину, и Стас едва удержался, чтобы не загасить ее ладонью.

– Чего притащилась? – прошипел он, наступая на нее и вытесняя в коридор. – Из-за тебя все... Может, у него сотрясение... Или перелом...

Испуганная растерянность в синих глазах сменилась тревогой. Молча отодвинув старшего сына, Маша подбежала к младшему и, не жалея шубы, опустила на колени.

– Маленький мой, что с тобой? Ты ударился?

– Упал, – Мишка по-прежнему выталкивал слова по одному. – Больно. Встать... не могу.

– Вызови скорую! – крикнула она через плечо.

Стас огрызнулся:

– Сам знаю.

Но не тронулся с места, не решаясь оставить их вдвоем, хотя и знал, что она не причинит Мишке зла. Не причинит? А что же тогда она уже сделала с ними?

Коротко рыкнув, он все же сорвался с места и, расталкивая всех подряд, домчался до учи-

тельской, где, не объясняясь с завучем, сорвал трубку. Стас пытался говорить тихо, но ему казалось, что разговор слышит вся школа.

– ЧП! – лицо у завуча пошло пятнами. – Где их классный руководитель?

«Да пошла ты!» – про себя буркнул Стас и бегом пустился назад. Мысль об отце, которому тоже следовало позвонить, настигла его на лестнице. К тому времени у него почти не осталось сил удерживаться на границе двух реальностей, в одной из которых происходили невозможные, страшные вещи, и он даже не удивился тому, что отец, о котором только что подумалось, тотчас возник перед ним, как сказочный добрый молодец. Запыхавшийся добрый молодец с не сказочному несчастными глазами.

– Как ты узнал? – вырвалось у Стаса. Он как-то упустил, что собирался скрывать ото всех все, связанное с их семьей, и выкрикнул эти слова.

– Да я сам ее сюда и направил, – отец отвел взгляд. – А потом покаялся...

– Ее? Да я не про нее. Тут... – он запнулся, внезапно сообразив, что отец, конечно же, ничего не знает, откуда? И сейчас ему, Стасу, придется сказать... Как?

У Аркадия вытянулось лицо:

– Что? Мишка?

– Он упал, – заученно повторил Стас. – Ему дышать больно. Может, просто от удара? Я на всякий случай вызвал скорую.

– Где он?

Стас почувствовал, как внутри отцовского тела все уже рванулось вперед и сжалось болью оттого, что направление было еще не ясно. Схватив его за руку, чего не делал уже лет пять, Стас побежал наверх, ненавидя эти лестницы, которые приходилось преодолевать десятый раз за день.

Когда они ворвались в класс, Аркадий почти отшвырнул бывшую жену, и Стас задохнулся от злорадного удовольствия: «Так ей и надо!»

– Папа, – только и сказал Мишка.

– Тихо, заяц, лежи, пожалуйста, – голос Аркадия прозвучал именно так, как хотелось говорить Стасу, чтобы брат не запаниковал. Мальчику не было слышно, как шумит у отца в ушах.

Между лопатками покалывало, но Стас боролся с собой и не оборачивался, иначе он не удержался бы и наговорил матери гадостей, которых больше, чем достаточно накопилось за эти месяцы, и которые так и рвались наружу. А это расстроило бы Мишку...

«Все из-за нее, – ненависть мешала ему дышать полной грудью, как брату – боль. – Мишка такой спокойный, он в жизни так не прыгнул бы, если б не она...»

За этими словами маячил темным упрек самому себе: «Не надо было сообщать ему, пока он стоял на парте...» Но Стас гнал эту мысль. Она была уж слишком невыносима...

– У вас есть школьный врач? – отрывисто спросил Аркадий, осматривая Мишкину голову. – Надо смазать рану зеленкой.

– У нас в машине аптечка, – откликнулась Маша.

Никто не ответил ей и не отошел, чтобы пропустить к выходу, и она стала пробираться между партами, неудобно скрючившись, согнув колени. Длинная шуба волочилась по грязному полу. Скосив глаза, Стас наблюдал за ней, неслышно усмехаясь. Ему было стыдно не за эту усмешку, а за ту непрошеную жалость, что толкалась в сердце. Разве предателей жалеют?

– Надо встретить скорую, – заметил Аркадий недовольным тоном, понимая, что отправляет сына следом за Машей.

– Ладно, – тускло отозвался Стас и, подавшись к отцу, тихо добавил: – Она все равно сейчас вернется сюда. Мишка, ты терпи, они уже едут.

Тот подал голос:

– А я уже дышу. Можно, я встану? У меня ничего не болит! Ну, правда!

– Давай все же дождемся врачей, – мягко предложил отец. – Они разберутся, можно тебе встать или нет. Если даже недолго было больно дышать, это, знаешь, не очень-то хорошо. Тебя не тошнит?

В кабинет то и дело заскакивали то мальчишки, то учителя, в нелепых позах застывали на пороге, Аркадий же гнал всех с несвойственной ему напористостью. У него мелькнула мысль, что, может, потом ему станет неловко, по крайней мере, перед взрослыми, но сейчас было не время для церемоний. Когда вбежала Маша с автомобильной аптечкой в руках, а следом появился Матвей, он едва не крикнул им тоже: «Уйдите отсюда! Закройте дверь».

– Я помогу, – быстро сказал Матвей, сходу расшифровав его взгляд. – Я слегка медик. Учился один...

Аркадий прервал его:

– Мне не интересно. («Ребячество!») Откройте зеленку, раз уж...

Прижав кусок ваты с изумрудным пятном к ране на голове мальчика, Аркадий прошептал, наклонившись почти вплотную:

– Потерпи, заяц, немножко пощиплет, ты знаешь. Но без этого не обойтись.

– Я думал, ты одна приехала, – вдруг сказал Мишка, глядя в ту сторону, где стояла мать.

У Аркадия так и свело сердце: «Дурачок, он все еще надеялся...»

– Я буду с тобой, если это... серьезно. Если понадобится, – голос у Маши был таким, словно она никак не могла откашляться.

– Это не... – начал было Аркадий, но тут влетел Стас, похожий на задыхающегося гонца, примчавшегося с вестью об отряде неприятеля:

– Приехали! Идут!

– Разойдитесь, – приказал Аркадий и сам, поднявшись, заставил себя отойти от сына.

Он слушал вопросы тяжеловесной врачихи, руками которой впору было не лечить, а ломать, и старался обходить взглядом Машу, потому что, взглянув раз, понял, как ей больно. Так не сыграешь, хоть она и приучена к камере. Когда прозвучали слова «подозрение на компрессионный перелом», они оба содрогнулись.

– Позвоночника? – почти не слыша себя, спросил Аркадий. – Вы хотите сказать, что у него перелом позвоночника?

– Отвезем его в больничный травмпункт, – прогудела врач, с интересом осматривая их всех. – Вы – отец? Можете поехать с нами. Там сделают рентген, тогда ясно станет. Если подтвердится, там его и оставят.

– А я? – выкрикнул Стас. – Мне можно?

Аркадий вскинул руку, одновременно запрещая это и отмахиваясь от врача, которая, конечно, ошибалась. Не могло это быть правдой...

– Ты иди домой, – запинаясь, сказал он сыну. – Я позвоню. Вдруг что-то понадобится... Я позвоню.

Маша решительно шагнула вперед, толкнув плечом Матвея. В лице ее просвечивала отчаянная одержимость приговоренной.

– Мы поедем следом. Стас, ты можешь с нами.

Метнув в нее разъяренный взгляд, Стас прошипел:

– Нет уж. Я лучше домой.

Повернувшись к нему, Аркадий шепнул:

– На всякий случай собери его бельишко. Щетку, пасту... Вдруг его положат? Книжек возьми. Не знаю, что еще. Поесть что-нибудь.

– Ты думаешь... – Стас громко глотнул.

Аркадий только дернул бровями, запрещая расспросы. Врач уже требовала, чтобы они с Матвеем спустились за носилками. Аркадия бросило в жар от унизости этой ситуации, но других мужчин здесь не было. Стасу было бы тяжело снести Мишку с третьего этажа. Но оставаться с матерью ему было невозможно, и он увязался с отцом. Уже на лестнице Аркадий хмуро спросил:

– Как это произошло?

Не стесняясь Матвея, спускавшегося впереди, Стас бросил:

– Из-за нее все. Приперлась... Мишка, с дуру, обрадовался. Ты же понял, он решил, что она насовсем... Ну и прыгнул с парты, чтобы к ней поскорее. А там выступ на потолке, он не заметил... Ударился головой и на пол рухнул. Все.

Аркадий подумал, глядя на желтоватую макушку Матвея, который ни разу не обернулся: «Он все слышит. Если он не полная скотина, ему сейчас должно быть хреново... Она могла полюбить полную скотину?»

86  
 Ответ он знал, но сейчас это и не утешало, и не злило. Сердило то, что эти люди, по сути уже чужие, не причастные к их жизни, отвлекают на себя его мысли, рассеивают боль, которая должна быть сосредоточена на ребенке. Ведь в ней тоже есть сила, есть энергия, значит, она способна помочь. Хоть чем-то...

Аркадий отлично знал, что такое компрессия, и не слушал того, что врач объясняла Маше. К тому моменту он уже успел представить, как позвонок («Один? Или несколько?») сплюснулся во время удара головой. Позвоночник резко просел и...

Молча взявшись за носилки с двух сторон, они пошли обратно, Аркадий только крикнул сыну:

– Ступай прямо домой. Я позвоню.

И подумал, что это лишнее: Стас и не мог сейчас заняться чем-то, не имеющим отношения к брату. По лестнице Аркадий пошел впереди, руководя их действиями. Он смотрел на ступени, стертые детскими ногами, и с ужасом гнал мысль о том, что Мишка не пробежит здесь больше... Нет! Этого быть не может.

Голос Матвея догнал его у второго этажа:

– Я чувствую себя убийцей...

«Так и есть, – холодно подумал Аркадий. – И не жди, что тебе отпустят грехи». Его молча-

ние только это и могло значить, но Матвей не уgomонился:

– Вы можете во всем рассчитывать на меня. Машина, деньги, грубая мужская сила... Легко!

Последнее словечко впилося, как удар хлыста. Резко остановившись на подъеме, Аркадий обернулся, стараясь не замечать того, как все трясется вокруг рта:

– Слушай, ты! Для меня ты – дерьмо собачье и больше никто! Убийца. Вор. Все в одном лице. Неужели ты думаешь, что я попрошу у тебя помощи?

«Но он уже мне помогает!» – это заставило его передернуться, и Аркадий едва не заскрипел зубами. Нужно было запрячь Стаса, позвать еще кого-то из школьников, только не допускать к носилкам этого... Боль как бы сняла запрет на грубость, от которой Аркадий удерживался все эти месяцы, и он убедился, что пробил броню этого «легко!». У него мелькнуло сомнение в том, честно ли это с его стороны, ведь в этой ситуации Матвей не мог дать сдачи. Но следом Аркадий сообразил, что тот нанес удар первым. Это он сейчас дает сдачи.

Дернув носилки, он стал быстро подниматься, уверенный, что Матвей замолчал, если не навсегда, то надолго, но тот опять обнаружил себя:

– Вы же сами когда-то влюбились в нее. Уж вам ли не понять...

– Вот это да! – вырвалось у Аркадия. Не отставиваясь, он оглянулся через плечо. – Как это можно сравнивать? Она была свободна и...

– А вы сразу проверили паспорт? Когда я увидел ее, тоже не знал, замужем она или нет.

– И вспыхнула непобедимая страсть! – Аркадий пытался насмешничать, хотя больше всего ему хотелось толкнуть носилки, чтобы этот юный красавец слетел с лестницы и тоже сломал себе что-нибудь.

Несколько вопросительным тоном Матвей процитировал:

– «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!»

– Булгакова теперь декламируют, как «Идет бычок качается...» Затаскали... Мне даже жаль его. Все, пришли. Разговор окончен.

Положив под голову сына полу своей шубы, Маша опять стояла возле него на коленях, и эта поза, молящая о прощении, вызвала у Аркадия очередной приступ ярости. Как она смела про-

сить о чем-то ребенка, столько выстрадавшего из-за нее?! Ему стало не по себе оттого, что она сжимает Мишкину руку, а тот не протестует.

– Отойди, – сказал Аркадий сквозь зубы. – Не мешай.

Никому не позволив дотронуться, он сам переложил мальчика на носилки. Матвей молча взялся с другой стороны, и они пошли напролом через столпившихся школьников с одинаково любопытными и деланно сочувственными лицами. Незнакомая Аркадию женщина, должно быть директор, пристроившись с ним рядом, что-то лепетала о том, что мальчик сам виноват, и невозможно уследить за всеми, классная руководительница была в зале с остальными детьми, зачем он отделился? Аркадий подумал: слава Богу, что руки заняты, не то он не справился бы с искушением оттолкнуть ее, как незадолго до этого хотелось поступить с Матвеем.

Свернув на лестницу, где ей уже было не втиснуться, он с усилием поднял руки, чтобы Мишкина голова не оказалась внизу. Нести по-другому Аркадий отказался сразу же. На улице он заторопился: «Не простудился бы!» и крикнул Матвею:

– Быстрей.

87

В голову лезли мысли, казавшиеся сейчас посторонними: о Мишкиной куртке, которую надо забрать из гардероба, чтобы не потерялась, о номерке, наверное, спрятавшемся в кармане, о пакете со сменной обувью... Аркадий чуть не ежился: «Как я могу сейчас думать об этом?»

– Я поеду с тобой, – он улыбнулся сыну, когда носилки устроили в машине.

– Пап, это не перелом, вот увидишь, у меня же не болит ничего, – умоляюще проговорил Мишка. Ему было страшно подумать, что отец тоже винит его, ведь он и в самом деле виноват.

Усевшись рядом, Аркадий взял его теплую, совсем здоровую руку:

– Будем надеяться, что нет. Но даже если... Ты ведь взрослый парень, правда? Ты справишься.

И подумал с тоской: «Какая чушь! Как он может справиться с этим? Маленький...»

## ГЛАВА 6

Теперь нужно было как-то сжиться с этими холодными словами «компрессионный перелом». Мишка запомнил их сразу, хотя, в отличие от отца, еще не знал, что такое компрессия. Но он всегда жадно впитывал новое и откладывал

в памяти даже незнакомое, чтобы потом посмотреть в энциклопедическом словаре.

Правда, в этот раз словарь не понадобился, потому что доктор в травмпункте все подробно объяснил. И еще сказал вещь настолько страшную, что у Мишки все свело в животе: нужно будет целый месяц лежать в больнице, не вставая и даже не садясь в постели. Лежать и лежать на твердом щите... Он взглянул на потолок, чтобы ни с кем не встречаться взглядом, и задержал дыхание, пытаясь справиться с тем, как защепаило в носу: смотреть на него целых тридцать дней...

– Ты одни только несчастья приносишь!

Сперва Мишка подумал, что отец сказал это ему, и весь съезжился от чувства вины, которые на этот раз было ледяным и проникало насквозь. Когда он понял, что эти слова предназначались матери, то уже не испытал облегчения – так глубоко проник холод. Если б Мишка не онемел от него, то сказал бы, что отец несправедлив, ведь мама столько лет приносила им счастье. Зачем же говорить так, будто этого совсем не было?

– Она же и тебя бросила, – как-то упрекнул его Стас. – На мужика променяла... Хоть бы он ее тоже бросил, чтобы она узнала!

Украдкой Мишка уже рассмотрел Матвея и пожалел, что ему это удалось, ведь раньше этот человек был абстрактным «мужиком», и воображение могло изгаляться над ним как угодно. А теперь уже никуда не денешься от того, что у Матвея такие забавные, желтоватые волосы и немного странные зеленые глаза, такие обычно ведьмам рисуют, и стрижка, словно у какого-нибудь певца, и улыбка, от которой тоже тянет улыбнуться.

Мишка постарался не смотреть ему в глаза, чтобы Матвей не проник еще глубже. Туда, где теперь никому не должно было найтись места, кроме папы и брата. Ни тому ни другому не нужно было знать, что там, рядом с ними, еще и мама...

Она хотела остаться с ним в палате, но отец отослал ее за вещами, которые Стас уже должен был собрать. Не стесняясь бывшего мужа, она несколько раз поцеловала Мишкину ладошку, и он едва не расплакался от страха: значит, у него и впрямь совсем плохи дела, если она позволила себе такое при других мальчишках. Двое из них были, как и он – «позвоночные», а остальные щеголяли гипсом на руках и ногах. Один из тех, кого тоже приговорили к месяцу неподвиж-

ности, все время садился на кровати, и Мишке было слышно, как медсестра посулила ему большущий горб.

– Я не буду вставать, – ужаснувшись, шепнул Мишка отцу. – Буду лежать, даже не пошевелюсь. Только... забери меня домой! Я правда-правда буду лежать!

Глаза жгло все сильнее, ведь они уже видели, как отец тоже уходит, и Мишка на целую вечность остается один на жестком щите. И уснет один, и проснется, и никто не поможет достать «утку» из-под кровати, нянечек не докричишься, об этом мальчишки уже предупредили. И как вообще справляться с этой дурацкой «уткой»?!

Отец заговорил таким мягким голосом, от которого глаза стало жечь уже совсем нестерпимо:

– Тебя же здесь лечить будут, глупыш. Доктор сказал: и лазерная терапия будет, и физио, и массаж... Ну, массажистку я мог бы нанять, а остальное? Надо вылечиться, заяц, чтобы всю жизнь со спиной не мучиться. Сравни: какой-то месяц или целая жизнь?

– А ты не можешь остаться со мной? – Мишка шептал совсем тихо, чтобы никто в палате не услышал. – Вдруг у них есть лишние кровати? Хотя ты... Тебе работать нужно, да? А может, тогда мама?

– Она не сможет, – отрезал Аркадий, потом спохватился и заговорил прежним тоном. – Ты ведь большой парень, только с малышами мамам разрешают лежать вместе. Такой закон.

– Дурацкий закон! Кто его придумал? – в горле кипели злые слезы, и Мишка судорожно глотал их, понимая, что отец все замечает.

– Не знаю. У этого человека, наверное, не было своих детей.

– Тебя сейчас уже выгонят? Они говорят: тихий час.

– Не выгонят, а попросят уйти. Думаешь, тут злодеи какие-то? Вечером еще пускают, я приду.

Мишка сразу оживился:

– Ладно! А Стас придет?

– От него тебе тоже не удастся отдохнуть. Что тебе принести? Что-нибудь из игрушек?

Пугливо скосив глаза, мальчик зашептал:

– Ну что ты, пап, они же засмеют! Скажут: вот деточка, все еще в игрушечки играет!

– Но ты ведь играешь! Чего тут стесняться?

– Нет, пап, не надо. Они... Они сломают все. Аркадий нашелся:

– Тогда мы с тобой в «Морской бой» сыграем, когда я приду. Пойдет?

Хотя отец еще был тут, Мишка уже затосковал по тому времени, когда тот вернется с листочками и карандашами, и они сразятся на равных, не волнуясь о том, что папе нужно работать, а ему – делать уроки. Его фантазия уже рисовала отрывистыми мазками вскипающие серые волны, черный и белый глянец больших крейсеров, неустойчивую верткость шлюпок...

Мишке никогда не хотелось стать моряком, но нравилось читать о море, которого он даже не видел в живую. А вот когда лечащий врач, сухощавый и седой, больше похожий на полковника в отставке, обмолвился о том, что после выписки надо будет плавать, чтобы укреплять мышцы спины, сразу представилась настоящая, большая вода, не рассеченная пенопластовыми линиями и не скованная прямыми бортиками.

А следом Мишка вспомнил, что об этом не может быть и речи, ведь это стоит «сумасшедших денег», как говорил отец. Мальчик еще размышлял над тем, что это сумасшествие, видимо, заразно, если люди, гонящиеся за такими деньгами, тоже теряют разум...

Однажды Мишка услышал, как соседки то же самое говорили о его маме, и сегодня, в тот первый момент, когда наконец сумел продохнуть, он всмотрелся в ее лицо со страхом. Но признаков безумия, как он себе их представлял, не было заметно. Ни блуждающего взгляда, ни отвисшей челюсти... Она была все такая же красивая, только очень испуганная и виноватая.

Когда она вернулась с целым пакетом вещей, как будто Мишка собирался вести тут светскую жизнь, Аркадий подавил естественное желание уступить ей место возле сына. Маша протиснулась между соседней кроватью и напрягшимися коленями Аркадия и возле тумбочки присела на корточках.

– Она открывается наоборот, – сказал Мишка об этой тумбочке. – И как из нее доставать?

– В нашей медицине многое наоборот.

В голосе отца больше не было мягкости. Он не был ни холодным, ни злым, но – неприятным, как пенопласт. Маша посмотрела на него снизу.

– Скажи мне, прошу тебя, может, надо за что-нибудь заплатить? Разреши мне!

Он заставил себя признаться:

– За лазерную терапию надо... Если, конечно, у тебя есть с собой рубли. Я потом верну, само собой. И еще... Десять сеансов массажа

делают бесплатно. А если мы хотим еще десять...

– Хотим! Я сейчас, – она легко поднялась и улыбнулась сыну. – Я еще вернусь!

Но ее пустили только на минутку – проститься, потому что тихий час был в разгаре, а взрослые якобы мешали детям спать, хотя Мишке сразу стало ясно, что спать никто и не собирается. Он вцепился было в горячую отцовскую руку, но тут же разжал пальцы и сурово сказал:

– Ты не беспокойся, я не буду хныкать. И домой проситься больше не буду. Я отлежу сколько надо.

– Ты у меня совсем взрослый парень, – серьезно отозвался отец, понизив голос. – Я знаю, что ты выдержишь.

Когда родители уходили, то и дело оглядываясь, опять вместе, будто и не расставались, Мишка подумал, что они, наверное, догадываются, как у него что-то рвется и болит в груди. И оттого у них сейчас такие одинаковые, хоть и разные по цвету глаза. Мишке хотелось усмехнуться над тем, что вот у них опять нашлось что-то общее, но губы уже стали непослушными настолько, что он и пытаться не стал. Только сжал их плотнее.

89

Он вдруг обнаружил, что все в палате и в самом деле затихли. Может, потому, что грубоватая медсестра, которую все звали «лупоглазой», включив в коридоре кварц, распахнула дверь и велела им набросить на «мордахи» полотенца. Иногда Мишка приоткрывал глаза, любясь голубоватым светом, проникающим под ткань. И слушал, как по больничным коридорам прогуливается эхо. Оно было совсем не похоже на то, которое на днях они слушали с папой, когда в первый раз выбрались на лыжах. Мишка увидел этот день так отчетливо, будто в память впечатался цветной снимок. И ему стало еще горше, чем было до сих пор, ведь такое уже не могло повториться. По крайней мере, не в этом году...

Он весь был хрустящий и ослепительный этот день, хотя мороз был не сильным, иначе отец не взял бы его. За их домом на окраине открывались дали, от шири и глубины которых захватывало дух. И перелески – недвижные, похожие на тонкую цветную гравюру. И холмы, и золотистые по осени поля... Когда-то мама говорила: «На это можно смотреть часами...» Только у нее никогда не выдавалось этих часов...

Просто смотреть Мишке, пожалуй, наскучило бы, а вот пробежаться наперегонки со Стасом по

свежему, искристому снегу... Он старался изо всех сил, и у него неплохо получалось, если только они хвалили его не из жалости, как самого маленького. Но Мишка верил им, ведь он сам чувствовал, как слаженно работают руки и лыжи не проскальзывают, отчего обычно выбиваешься из сил. На нем была легкая куртка и тоненькая спортивная шапочка с модной «косичкой» на макушке, но все равно довольно быстро стало жарко. Еще и от радости, что они все вместе, и папа совсем не «замороженный», как сказал о нем Стас после того, как мама... В этот день у отца весело светились глаза, и от этого Мишке хотелось смеяться и болтать глупости.

Все вызывало у него восторг: и то, что березы будто обернулись фольгой, и острые гребни снежных волн, и солнечная прозрачность воздуха. Незнакомые мальчишки на грохочущих кусках фанеры скатывались с выстроенных природой горок и что-то орал друг другу. А Мишка испытал жаркий прилив гордости за то, что не барахтается в снегу, как маленький, а идет на лыжах вместе со взрослыми. Ведь издали Стас выглядел совсем взрослым...

Они прошли поверху крутого склона, приглядывая, где лучше спуститься. Мишка заметил, что кроны деревьев внизу похожи на паутину, сплетенную из снежной нити. Ему представился гигантский, неугомонный паук, который сновал в низине и опутывал деревья до тех пор, пока его собственный глаз не застывал в восхищении. Мишка рассмеялся, но на вопрос отца только помотал головой.

Небо над ними пыталось соперничать в красоте с землей, и хотя было лишено ее разноликости, все равно заставляло вдохнуть поглубже, чтобы восхищение вошло и осталось в груди светящимся комочком. Он может согреть, если опять вспомнится, что глаза у мамы такого же цвета... Мишка отогнал мысль о том, что, наверное, это она следит за ними издали, и от радости, что у них все хорошо, это небо так и сияет.

А потом он помчался с горы вслед за папой, который, правда, упал вниз, но махнул им рукой: давайте сюда! Потом выяснилось, что отец пытался предупредить, что там опасно, и потому махал, но Мишка уже успел слететь вниз, задохнувшись от восторга и пронзительного страха, и провалиться в какую-то яму, и очнуться по уши в снегу. Он сразу вскочил, чтобы отец не подумал, будто ему больно или что он напуган, и радостно выкрикнул:

– Ну что, поехали?

– Куда поехали? – отец ткнул палкой в его сломанную лыжу. – Похоже, мы откатались.

Но никто не ругал Мишку, и это было естественным продолжением такого чудного дня, в котором были еще и прихваченные морозом ягоды рябины, терпко-горьковатые, заставляющие морщиться; и сумятица звериных следов, которые они вместе пытались распутать; и эхо, отзывавшееся на их голоса...

Больничное было его жалким подобием. Мишка с силой зажмурился: слушать его целый месяц... И дышать этим спертым воздухом – трое лежачих в одной палате. И не видеть своих игрушек. И все время лежать и лежать...

## ГЛАВА 7

Раньше он думал, что самое мучительное время суток – это ночь, когда никаким делом не отгородишься от своих страхов, сожалений, воспоминаний. Теперь выяснилось, что ни одна из проведенных в одиночестве ночей не может сравниться в невыносимой тоскливости с теми солнечными утренними часами рождественских каникул, которые с его сыном проводила Маша. А ему самому приходилось сидеть в лаборатории, пригвожденному к рабочему столу несокрушимыми словами «срочный заказ».

Аркадий не мог позволить себе забыть, что от его головы зависят все ребята, проработавшие с ним десяток, а то и больше лет, и выжимал из нее все возможное. Но мысли о сыне, которого по утрам приходилось доверять Маше, без труда пробивали брешь в любой из его стройных теорий. Тонкая, с выступающей на запястье косточкой и длинными пальцами рука мальчика виделась ему зажатой в Машиных ладонях... Ее губы вжимались в его трогательно пухлую щеку – чем потом свести этот след? Ее истории, которые не дано услышать Аркадию, оседают в памяти ребенка, едва заметно и вместе с тем навсегда меняя его...

«Что я делаю? Зачем я на это пошел? – Аркадий ломал одну шариковую ручку за другой и не мог с собой справиться. – Как потом ее вытравить из него? Гнать надо было... По утрам мог бы дежурить Стас... Ничего, проснулся бы, хоть и каникулы. Как, в какой момент ей удалось уломать меня?»

И вспомнил: в новогоднюю ночь. Казалось безнадежным уговорить врачей пустить их в палату на ночь, и Аркадий уже готов был сдать.

Тем более с ним не было даже Стаса, его пригласили в компанию, и отец отпустил, даже настоял, чтобы хоть у одного из них получился праздник. Тогда и возник опять этот Матвей со своей туго набитой мошной, и все неправдоподобно быстро уладилось. Стиснув зубы, Аркадий позволил ему притащить крошечную елочку – мрачный дежурный врач позволил с условием, чтобы к утру и духу ее здесь не было.

«Только ради Мишки», – убеждал себя Аркадий, но не мог отделаться от ощущения, что его, веселясь, унижают на глазах у ребенка, а он позволяет это.

То, что он совсем не знает Матвея («А откуда?»), стало ясно уже через полчаса. Аркадий и раньше встречал людей, которым жизненно необходимо было блистать везде, в любой компании, даже почти незнакомой, но Матвей напоминал безумный фейерверк. Установив елку, он исчез, предоставив им наряжать ее тем, что попадется под руку, и Аркадий уже с облегчением решил, что у этого парня хватило такта избавить их от своего общества. Но не тут-то было.

Не успели они с Машей, не встречаясь взглядами и разговаривая только с сияющим от счастья Мишкой, нарядить елочку фантиками от конфет, авторучками и флакончиками, как Матвей явился вновь. Аркадий разве что рот не раскрыл, увидев его в костюме пирата и в косматом парике, цвета хвоста гнедой лошади, поверх которого пламенела бандана. Глаз у него был перевязан черной тряпкой.

– Здорово, салаги! – прорычал он не своим голосом, и мальчишки, как детсадовцы, завизжали от восторга.

Матвей грозно прикрикнул:

– Цыц! Отставить писк! Я набираю команду морских волков, а не новорожденных кутят. Кто не сачканет отправиться со мной за настоящими новогодними сокровищами?

«Ходячие» тотчас вскочили с коек, и Аркадий успел заметить, как на Мишкином лице похожая на театр теней разыгралась драма отчаяния. Но в этот момент пират рывкнул:

– Лежать! Тот, кто оторвет задницу от своей кровати, отправляется на берег. И держитесь покрепче!

Аркадию пришлось отвернуться, чтобы не видеть, как счастливо прыснул его сын на «неприличном» слове... Как просияли Машины глаза: «Ты видишь? Ты понял? Как можно не влюбиться в него?!»

«Да ведь мы сами придумывали такие же корабли! Мы с тобой, – ему захотелось потряхнуть ее хорошенько, чтобы очнулась. – И сокровища у нас были не хуже, чем у него. И мы были счастливы... Наверное, мы просто слишком привыкли к своему счастью».

Он ничего не сказал ей, успев понять, что она попросту не расслышит, ведь Маша верила в те волны, что расходились от пиратского корвета, а они так шумели...

Теребя елку, Аркадий прислушивался к тому, как ребята громким шепотом (так приказал пират!) то разгадывают ребусы, накаляканые им на листочках, то распевают морские песни. Когда они ломали голову, вспоминая, как же настоящие моряки называют кухню и туалет, Аркадий все вспомнил первым, но не стал вступать в игру Матвея. Тот раз или два взглянул на него вопросительно, и все же трогать не стал.

– Он ведь телевизионщик, – сказала Маша вполголоса, пытаясь поддержать бывшего мужа. Но эта ее попытка рационально объяснить происхождение волшебства только вызвала у него раздражение.

– Меня это не интересует, – огрызнулся Аркадий и вспомнил, что произносил эти слова всякий раз, когда разговор заходил о Матвее. Из этого как бы само собой выходило, что Матвей интересует его болезненно, нестерпимо. Ведь нужно же было понять, какой мир перетянул Машу...

Труднее всего было принять тот огонек, похожий на язычок свечи, который светился в Мишкиных глазах. Следовало бы радоваться, что в сыне снова зажегся праздник, который обычно возникал и без привязки к датам, только в последнее время все реже. Но Аркадию не удавалось смириться с тем, что не он устроил все это. Конечно, он был оглушен всем случившимся сегодня, и вряд ли в Мишкиной душе может вырваться тот же упрек, но разве трудно было соорудить пиратский костюм и нарисовать морскую карту? Во всем этом не было ничего нового... Почему же он не додумался до этого?

«Может, она тоже ждала, что я подарю ей праздник? Все ждала и ждала... И поняла, что может не дожидаться... А тут подвернулся Ходячий Праздник!» – все в Аркадии сжималось все сильнее от мысли, что и Мишка сейчас сравнивает, пока подсознательно, только где уверенность, что детская привязанность перевесит?

Ему не нравилось, что он думает лишь о привязанности, будто Машино присутствие обескровило само понятие любви. Он твердил про себя, что сыновья сами выбрали его, а это что-нибудь да значит! Если только... Если это был не обычный детский страх перед неведомым отчимом. Вот теперь, когда Мишка увидел этого самого отчима своими глазами... Что теперь?

Сокровища были найдены и поделены поровну. Заваленный целой горой конфет и шоколадными яйцами с сюрпризами внутри, Мишка выглядел умиротворенным и полностью принявшим свое положение, в котором тоже, как выяснилось, есть плюсы.

Аркадию тотчас увиделось, как десять лет назад они с Машей подложили в кроватку спящему сыну подарок от Деда Мороза. А утром их разбудило таинственное шуршание. На цыпочках они подобрались к детской и заглянули — одна голова в самом верху, другая чуть ниже. Мишка сидел с полным ртом, весь облепленный фантиками, а в пушистых волосах у него залипла ириска. Они хохотали так, что сразу поверилось: год пройдет замечательно! И так прошли все года, вплоть до этого, уже уходящего...

Когда Матвей, переодевшись, вернулся, Аркадий заставил себя сказать:

— Спасибо. Было очень весело.

— Только не вам, — быстро ответил тот и улыбнулся, давая понять, что не обижается.

— Мне как-то не до игр сейчас...

— Почему? — с жестоким простодушием ребенка удивился Матвей. — То, что случилось, уже случилось! Теперь надо, чтоб Мишка продержался. С тоски он быстрее не поправится.

Аркадий холодно посоветовал:

— Не надо учить меня, как обращаться с детьми. У вас есть свои?

Вспомнилось, что ему уже говорили об этом, но Аркадий не стал забирать вопрос. Скопив глаза на Машу, уже устроившуюся рядом с жующим сыном, Матвей шепнул:

— Вроде бы нет.

— Сейчас модно говорить: как бы. Как бы нет детей, так чего о них думать?

— Может, мне уйти? — спокойно предложил Матвей. — Я уже выложил все, что придумал. Если мое присутствие вас так бесит, как мне кажется... Я и в машине могу новогоднюю ночь провести. Легко! У меня есть радио и сигареты, это не мало, правда?

— Да вы — оптимист.

— Точно! Это плохо? — он склонил голову, и светлые волосы образовали завесу. — Мне нравится жить. Это весело. И увлекательно.

Аркадию уже стал надоедать этот разговор.

— Возможно, — произнес он отрывисто. — В вашем мире.

— В каком это — моем? Мир един. И достаточно прост, если не усложнять его. В нем все принадлежит каждому, нужно только не бояться взять это.

«Философия фашизма», — подумал Аркадий, но не сказал этого, не желая довести дело до драки. Маша и так уже оглядывалась на них с беспокойством, и он все время пытался закончить этот глупый спор, но почему-то продолжал его.

— Этот мир можно моделировать, — не унижался Матвей. Ему, видно, нравилась эта тема. — Пелевин прав, когда говорит, что делает в романе хороший финал, чтобы привнести в жизнь позитив.

Аркадий не заметил, как его лоб пошел складками:

— Мир моделируется Пелевиным?!

— Да любим из нас, если в нем достаточно энергии! Я, между прочим, по специальности организатор досуга...

— Тоже один курс?

— Нет, все! — Матвей беззлобно рассмеялся. — По большому счету, это очень точное название. Я и сейчас организую досуг, только на другом уровне.

— Телевизионный уровень, конечно, кажется вам более высоким?

— А то нет! Телевидение сейчас единственное, что интересует абсолютно всех. Одних — ток-шоу уровня амёб, других — канал «Культура». Но все это телевидение! В провинции оно вообще — монополист интересов. Здесь не читают в транспорте и дома, по-моему, тоже. И в кино не ходят, потому что мороз собачий большую часть года. А у себя на диване — совсем другое дело! Я не говорю, что это хорошо, — вскинув руки, предупредил Матвей. — Но так обстоят дела. И благодаря этому я могу войти в дом к любому. К каждому. Легко! Машу ввести. Ну, не все, конечно, смотрят региональное телевидение, это я преувеличил, но все-таки...

Аркадий сказал уже устало:

— Я почти не смотрю телевизор. Только если берем кассеты на прокат. Неплохие фильмы встречаются.

У него возникло неприятное ощущение, будто он – ребенок, разговаривающий со взрослым человеком, занимающимся важным делом. А он пытается выдать себя за большого, и потому говорит серьезным тоном, и делает умное лицо. Но вся его хитрость шита белыми нитками...

Не услышав его, Матвей озабоченно проговорил:

– Надо принести Мишке маленький телевизор. А то ведь тут одуреешь от скуки.

– Не надо! – резко сказал Аркадий.

– Почему? Ночной канал им не разрешат смотреть. Вы же сами видели, здесь просто копы, а не медсестры!

– Не в этом дело, – Аркадий лихорадочно соображал: «А в чем? В чем?» И нашелся: – Мальчишки начнут лезть, переключать каналы, а Мишка очень переживает за чужие вещи. Он только изведется с вашим телевизором.

Но Матвей и не думал сдаваться:

– Тогда, может, перевести его в одноместную палату? Здесь есть такие?

Аркадий сказал наобум:

– Нет. А если б и была... Тут хоть есть «ходячие», если что нянечку позовут, а там ему и не поможет никто.

Тогда Аркадий даже не подозревал о том, чем сын поделился через пару дней.

– Я посплю, пока ты здесь, ладно? – попросил Мишка, тараща осоловелые глаза. – А то я жду-жду, пока все уснут, и никак не высыпаюсь.

– А зачем ждешь? – не понял Аркадий.

Сын посмотрел на него с упреком:

– Ну, пап... Знаешь, тут как: кто первым уснет, тому по губам водят... Ну, понимаешь чем!

Его так и бросило в жар:

– Кто? Да я его кастрирую паршивца!

– Да все, – со смиренным безразличием отозвался Мишка. – Кто угодно может. Даже из других палат заходят. Ты же всех не кастрируешь...

«Какие-то тюремные порядки! – сын уже тихо дремал, а он все еще не мог успокоиться и с отвращением вглядывался в лица. – Откуда они родом – эти дети? В новогоднюю ночь играли и все были просто детьми, а потом... Мои мальчишки и не stalkивались с таким. Для Мишки этот месяц – испытание по всем статьям».

Он смотрел на младенческое во сне лицо своего мальчика, которому за что-то было послано это время страданий. Его нельзя было сократить, чтоб избежать хотя бы части испытаний,

нужно было все изведать сполна. И его сын уже был готов к этому: «Пап, я настроился на месяц. Я выдержу!»

У Аркадия то и дело спазмом перехватывало дыхание: «Родной ты мой, мальчишка мой! Как хорошо все было накануне того дня... Зачем ты так обрадовался ей, мой не помнящий зла детенок? Разве тебе не хватало тепла? Разве мы не играли по вечерам в шахматы и не катались на лыжах? Ведь все было здорово, просто здорово! А ты, только услышав о ней, возликовал так, что почувствовал за спиной крылья. Она заставила тебя поверить в эту иллюзию и опять обманула. Ты рухнул вниз, как Икар... Получается, тебе еще повезло в сравнении с ним. Но как оно мрачно – это везение...»

## ГЛАВА 8

Ее жизнь стала какой-то казенной: гостиница – больница. Своего дома не было. Сны возвращали Машу в ту квартиру, где она жила со своей семьей, а не в их с Матвеем дом. Хотя он был красивым, теплым, весь в деревянных прожилках, отчего казалось, что дом – живой и это его сосуды просвечивают сквозь тонкую кожу. Тонкую, как у ребенка. Она тосковала: этот дом действительно мог стать живым, если б в нем появились дети. Ее дети.

Матвей о ребенке даже не заговаривал, и она стала подозревать, что он отчасти разделяет всеобщее заблуждение насчет ее маниакальной страсти к карьере. Убедить его в обратном Маша не торопилась. Она боялась напугать его до смерти той силой любви к нему, которую знала только она.

Эта ее любовь тоже была замешана на страхе. Клейкими нитями он опутывал то, что росло в ней, и мешал этому вырваться в свет, затопить его весь той нежностью, от которой временами становилось трудно дышать. Испуг родился в первую же минуту, как тень от той неожиданной улыбки Матвея: а если он подойдет, о чем говорить? Маша считалась на своем телевидении лучшим интервьюером, но до сих пор ей приходилось вызывать на разговор людей, которые не были для нее жизненно важны. С Матвеем они еще не были знакомы, а она уже боялась, что не удержит его, если нить беседы окажется ненадежной, не заинтересует тем, что было в ней.

Даже то, что Матвей остался рядом на весь день, не убедило ее. Сначала он с необъяснимой робостью, хотя командовал всеми, только

поглядывал на нее исподлобья и не заговаривал. Потом, кивнув на экран, отрывисто спросил: «Как вам?» Она ответила. Они вместе отсматривали программы, вместе обедали, обсуждали и спорили, но каждую секунду Маша ждала, что сейчас он скажет со свойственной ему легкостью: «Ну, мне пора! Приятно было познакомиться». Теперь выдавались минуты, когда она жалела, что Матвей не сказал этого тогда. В тот день у нее еще хватало бы сил расстаться с ним.

Он смешил ее. В памяти сохранилось, что она смеялась сутки напролет, даже оказавшись с Матвеем в постели, чего никак от себя не ожидала. Наверное, это была в большей степени истерика, слишком уж напряжены были нервы — до боли, и в каждом звенело паническое: «Что я делаю?! Зачем мне это?»

Это действительно было ни к чему. Еще накануне Маша была убеждена, что совершенно, непозволительно счастлива. А то, что это счастье стало привычным, будничным, так тут ничего не поделаешь. Так всегда и у всех.

И все-таки именно это было счастьем — ощущение гармонии. Не холодной и правильной, выстроенной разумом, а теплой, изменчивой («Иногда же ссорились!»), созданной душевной энергией всех четверых. С Матвеем ничего этого не было. Один только страх. Почти животный ужас, что он исчезнет из ее жизни.

Может, еще и предчувствуя его, Маша так сопротивлялась. Она увиливала от встреч, просила его не приходить (но для Матвея в любом телецентре были открыты двери!) и двадцать раз на дню сообщала о своем возрасте и двоих сыновьях.

Она не давала приручить себя, но это случилось. И первый мгновенный страх вошел в кровь, стал частью ее существа, уже не самостоятельного, зависимого. Совсем недавно Маше показалось бы надуманным то, что сейчас творилось с ее сердцем. Как это оно может разрываться? А в те дни приходилось стискивать зубы, чтоб не застонать, настолько было неумолимо. Но еще нестерпимей мучило то, что она могла лишиться своих детей.

Мужу пришлось наплести что-то на счет грандиозного будущего, которое Матвей мог ей обеспечить. Это Аркадию легче было перенести и успокоиться в презрении к ней. Следом Маша провела себя через Чистилище — объяснение с сыновьями, и поняла, что счастья уже не будет, никакого счастья, ведь для этого необходимо

забыть их глаза в тот момент. Как их можно забыть?

Она почти ненавидела Матвея, когда остановилась на пороге своей квартиры, опустив тяжелую спортивную сумку. Ее неподдельно трясло: «Куда я ухожу? Я с ума сошла!» И это действительно походило на безумие, на одержимость человеком, не пожалевшим ее жизни. Зачем она понадобилась ему?! Сыновья не вышли проститься с ней. Дверь закрыл Аркадий, и резкий щелчок был как выстрел, который невозможно забрать назад. Он никогда ей не откроет...

Маша помнила, как села в машину, стоявшую у подъезда, посмотрела на Матвея и не почувствовала ничего. Рядом сидел чужой, ничего не значащий для нее человек. Был момент, когда она хотела его так, что готова была бежать за его джипом, не разбирающим дорог, но вот Матвей стал принадлежать ей, по крайней мере, уверял, что принадлежит душой и телом, а в ее собственной душе ничего на это не отзывалось.

Ее взгляд остекленел, и Маша сама ощутила это. Отстраненно родилось и угасло удивление: «Почему только мужчин обвиняют в том, что они охладевают, добившись своего? Вот же оно...»

Почему она все же уехала с ним тогда, хотя ничто не предвещало того, что теплая мука любви снова оживет? Наверное, просто было стыдно вернуться, посмотреть в те глаза, в которых уже навсегда осталось непощение. Она и теперь различала его во взгляде Аркадия...

— Мне придется уехать, — сказал Матвей, когда будильник вырвал Машу из своего дома и забросил в гостиницу. — Хоть на день. У меня вечером встреча, ты же помнишь?

Она не помнила, потому что вместе с Мишкиными позвонками сплющились и все дела — помимо. Но сразу кивнула.

— Конечно, поезжай. Тебе ведь не обязательно находиться здесь постоянно.

— Ты... — начал Матвей и запнулся. Нужно было подготовиться, чтобы спросить о том, о чем они даже не заговаривали. — Ты планируешь... хочешь остаться здесь до его выписки?

Изумление сделало ее синие глаза холодными. Небо даже зимой выглядит теплее.

— А как же иначе? — тихо спросила она.

Сев на постели, Матвей растопыренными пальцами зачесал назад свалывшиеся волосы.

– Я так и думал, – он постарался, чтобы это не прозвучало укором. – Я вернусь завтра же и буду с тобой.

– Это совсем не обязательно, – повторила Маша.

– Ты не хочешь этого, что ли?! – теперь уже он сам был обижен.

Она улыбнулась и погладила его руку.

– Хочу, конечно. Только...

– Их бесит мое присутствие?

– Не бесит... Но Стас очень нервничает, когда встречает тебя в больнице.

– Аркадий еще больше. Все, я понял!

У Маши опять закровоточило внутри: «Что я делаю? У меня хватит сил уходить от Мишки, если Матвея не будет рядом? Я и не знала раньше, что самое мучительное – уходить. Весь этот год – один сплошной уход».

– Разве тебе не спокойней, если я верчусь где-то рядом?

– Спокойней? О чем ты? Ты – мой беспокоящий.

– Ах, вот как? Ладно, я уеду. Легко!

«Страх потерять его и страх стать обузой – который в конце концов победит? Дело не в семи годах разницы... Он – свободный человек. По сути своей свободный. Как он поведет себя, если почувствует холодок оков?»

Контрастный душ заставил вскипеть ее кровь, и Машу было уже не удержать. Она выскочила из ванной босиком и начала собираться так поспешно, что это ошеломило даже Матвея. Он ухватил ее на лету:

– Ты куда, безумная комета? Я могу пристроиться у тебя на хвосте?

– Уже половина девятого, – выпалила она и умоляюще улыбнулась. – Отпусти. Мы еще должны перекусить. И купить свежих фруктов.

– У него уже скоро понос начнется от твоих фруктов!

– Ну, что-нибудь.

Расстегнув сумку, Матвей извлек толстую книгу:

– Смотри! Тут всякие головоломки, кроссворды... Это ему на неделю, как минимум.

– Ой, молодец! Это он любит, – ее внезапно прошло: «А что, если уже не любит? То, что случилось... То, что я сделала с ними, могло все в них перевернуть. Разве я знаю наверняка – какой он теперь?»

Поспешно отогнав новый страх, Маша спрыгнула как бы вскользь:

– Ты не заглянешь к нему?

– Лучше уж я сразу поеду, – хмуро отозвался Матвей. – Если я опять напорюсь на твоего Стаса, он уложит меня на соседнюю койку.

– Стас может злиться. Грубить может. Но зла он не причинит.

Когда голос у Маши становился таким ровным, это значило, что внутри клокочет ярость. Ее серая пена оседала на щеках, они бледнели и втягивались. Матвей успел узнать это. На телевидении, где Маша правила всего три месяца, все подчинялось этому тону беспрекословно. За ним следовало уже увольнение...

Он отступил:

– Да я просто треплюсь, не бери в голову! Я сам знаю, что Стас – отличный парень.

– Что значит – отличный? Человек не может быть отличным. Это значило бы, что он – плоский, картонный. А в каждом из нас столько всего... И в моих детях тоже, я не слепая, – помолчав, она улыбнулась. – Но хорошего все же больше.

«Мне нравится, когда она поучает меня, или нет? – Матвей пытался думать об этом между болтовней за завтраком и потом, в машине, подвозя Машу до больницы. – Она даже не пытается делать вид, будто этих семи лет нету между нами. Она внутренне чувствует себя более зрелой и хочет, чтобы я знал об этом. Чтобы я все знал о ней. Так и должно быть. Никакого лицемерия, игры, если это – настоящее. Иллюзион – это только работа...»

Остановившись у высокого крыльца, увешанного тонкой бахромой сосуллек, Матвей попросил:

– Передай Мишке привет. Зачем тут столько ступенек? Здесь ведь и травмпункт тоже. Как сюда забраться со сломанной ногой?

– Строителей это заботило меньше всего, пандус есть, и то слава Богу! – рассеянно отозвалась Маша и без видимой связи добавила: – Мишке потом полгода нельзя будет сидеть.

– Я знаю, – удивленно отозвался Матвей. Ему стало нехорошо: может, по-настоящему она и не замечала, что он все эти дни был рядом? Ей не хотелось близости, это понятно, он и не настаивал, но разве его присутствие никак не ощущалось?

Она пробормотала, явно рассуждая вслух:

– Придется переводить его на домашнее обучение, – и вдруг резко повернулась к Матвею. – Я должна остаться здесь на эти полгода.

Он ужаснулся:

– Ты с ума сошла!

– Если считаешь нужным взять другого директора, дело твое.

– Да при чем тут это?! И это, конечно, тоже, ты ведь не можешь руководить по телефону... А я-то как?

– Ты ведь здоров, – напомнила Маша и улыбнулась одним ртом.

Его ужаснула эта улыбка. Так бросают огрызок бродячей собаке, чтобы отвязалась. Услышав свой дрожащий голос, Матвей ужаснулся еще больше:

– Для тебя это пустяк, что ли, расстаться на полгода? Пустячок такой, да? Может, я вообще ничего для тебя не значу? И все эти сплетники правы?

– Правы? В чем?

Он пробормотал, уже пожалев о том, что говорит:

– В том, что тебя волнует только твоя собственная значимость...

Ничуть не изменившись в лице, Маша вдруг сказала:

– Знаешь, а Мишка говорит, что ты – ничего.

И Матвей сразу смутился от удовольствия, будто от этого ребенка еще зависело что-то. Будто не его желания они растоптали полгода назад...

– Правда? Когда он это сказал?

– Еще в новогоднюю ночь.

– И ты молчала?!

Маша пожала плечами:

– Забыла как-то... Вернее, я думала, что уже сказала тебе. Столько всего...

На самом деле, она не забывала этого. Конечно, не думала об этих словах сына постоянно, и все же где-то у сердца, не утихая, тепло копошилось знание о том, что малыш понял ее. Не одобрил, но понял. Разве он мог одобрить? Так не бывает.

Матвей спросил напрямик:

– Ты решила держать меня на коротком поводке?

– Что-о? Глупости какие... Почему ты...

– Нет, это ты скажи: почему? – взметнувшись обида жаром прилила к щекам и заставила его стукнуть ладонью по рулю. – Почему ты мне сразу не передала Мишкины слова? Ты что, не понимаешь, как для меня это важно? А ты припрятала их, как леденец, чтобы сунуть, когда я совсем раскисну! Что происходит? Я пони-

маю, это катастрофа – то, что случилось с Мишкой... Но почему она так отразилась на нас с тобой?

– Потому что это я виновата в том, что с ним сейчас, – Маша смотрела на него огромными ледяными глазами, и голос ее становился все ниже. – Ты не обязан отвечать за то, что творится в душе у моих детей. А я знала, что с ними будет... Что это в любом случае будет катастрофой. И упал он тоже из-за меня... Стас так и сказал.

Чувствуя свою необидительность, Матвей все же проговорил:

– Это он от беспомощности. Надо же свалить на кого-то! Так легче.

– Но если б я не появилась так внезапно... Если б я вообще не уезжала...

Откинув голову, он сосредоточенно взгляделся в лобовое стекло. Робкая снежинка медленно опустилась на прозрачную, но чужеродную гладь. За ней другая...

– Я так и думал, – сказал Матвей. – Рано или поздно ты должна была пожалеть. Слишком большая жертва ради меня одного.

Она сердито прервала:

– Я вовсе не жалею. Не накручивай еще и того, чего и в помине нет! Но я чувствую себя кругом виноватой. Думаешь, легко с этим?

– Ты несчастлива? – он опустил глаза, чтобы не выдать себя, когда прозвучит уже известный ему ответ.

И она подтвердила:

– Я не чувствую себя счастливой, это правда. Нужно лишиться сердца, чтобы в такой ситуации, как у нас, испытать счастье.

– Ого! Какой пафос... Чем же тогда чувствовать счастье, если лишить себя сердца?

«Чем? Чем?» – бессмысленно повторяла она про себя, уже простившись с Матвеем, которому так и не ответила, и поднимаясь по бесконечной крутой лестнице на четвертый этаж. Эта лестница была последней преградой, не дающей увидеть сына, и хотелось проскочить ее на одном вдохе, но каждый раз она давалась Маше с таким трудом, что тряслись ноги.

Она успела подумать: «Можно ли вообще чувствовать то, чего не бывает? Это даже менее вероятно, чем ощущать ампутированную ногу... Она, по крайней мере, была. Мозг помнит о ней. А счастье, если и было, то никак не с Матвеем. Даже помнить не о чем. Ради чего же я ушла к нему?»

Тяжело дыша, она остановилась у стеклянной двери в первую палату и с тоской посмотрела на своего мальчика. Он не выглядел расплюснутым горем, даже больным не казался. Мишка лежал на спине, закинув босую ногу на другую, согнутую в колене, и играл в «Тетрис». Голая, длинненькая ступня то покачивалась, то дергалась, в зависимости оттого, что происходило на экранчике с замысловатыми фигурками.

Маша улыбнулась этой ступне: она губами помнила ее пухлость в младенчестве и подвижную упругость пальчиков-«грибочков». Ей пришло в голову, что этот ребенок, которым Мишка был десять лет назад, тоже в свое время ушел от нее, хотя она любила его неистово. Но это не стало трагедией. Люди расстанутся, чтобы совершить открытие других людей.

## ГЛАВА 9

Кажется, он сказал себе: «Эта женщина будет моей» сразу, как только увидел ее. И получил ее, как всегда в последние годы получал то, чего желал по-настоящему. Другого Матвей и представить не мог. С недавнего времени, которое, правда, почти вытеснило пропитанное бедностью прошлое из его памяти, он относил себя к тем исключительным людям, которым все удается. Сегодня Маша заставила его усомниться в этом.

Почему она стала так необходима ему? Она была умнее. Она была старше. Она была красивее. Она была счастлива. Словом, Маша превосходила его во всем. Матвей просто не мог позволить ей пройти мимо него...

Без нее этот город, родной для Маши, был просто скопищем по-зимнему слепых домов, медленных автобусов, новеньких урн для мусора. Матвей никого не знал здесь, кроме семьи Кольцовых, частью которой фактически оставалась и Маша, как бы все в нем ни бунтовало против этого.

И Маша цеплялась за свою семью, Матвей вынужден был признать это, иначе почему разговора о разводе даже не возникало? Он мог бы сказать: «Все или ничего». Мог бы, если б не боялся, что она выберет «ничего», и тотчас исчезнет, освобожденная его непомерной требовательностью от негласных обязательств любви.

А вместе с ней исчезнут и не узнанное раньше тепло утренних поцелуев, и звонки без повода: «Привет? Как жизнь?», и запах мороза от ее

щеки, когда она садится в машину... Все эти мелочи были похожи на елочные игрушки, которые и создают ощущение праздника, хотя ель и сама по себе хороша.

Матвей, до сих пор боготворивший импрессионистов, внезапно понял, что Машин портрет не доверил бы писать ни одному из них, ведь в ней важны были все детали. От невозможно прекрасной формы коротко остриженной головы, как бы облепленной черными волосами, до коротких по нынешним меркам ногтей, которые Маша и не думала наращивать. Все противоестественное отторгалось ею как невозможное.

Поняв это, Матвей понял и то, почему она решилась уйти к нему, хотя знала, как опустошит ее эта беда – о счастье и речи не было... Но оставаться с человеком, которого не любишь, было для нее противоестественно. И растить детей в атмосфере притворства – тоже. Это казалось Маше преступлением перед детством, которое инстинктивно чурается всякой фальши.

«Стас ненавидит меня сейчас, – у нее бесильно клонила шея, когда она говорила о старшем сыне. Подбитая птица. – Но если б я осталась с ними и продолжала встречаться с тобой, а он случайно узнал бы, то возненавидел бы меня еще больше. Надеюсь, что больше – есть куда...»

В этом признании для Матвея таилось облегчение: она и мысли не допускает, что могла бы отказаться от него совсем. Ни тогда, ни сейчас.

И вот теперь он уезжал, а Маша оставалась с сыном. В этом не было ничего неправильного, только так она и могла поступить. Может быть, он и сам решил бы точно также, будь Мишка его малышом... Но Матвея начинало корезить, как подожженную бумагу, когда он только думал о тех шести месяцах, которые им предстояло провести на расстоянии трехсот километров.

Этот срок в два раза превышал тот, что составлял их настоящую жизнь, и казался гигантским, не подвластным пониманию. Матвей не представлял, чем можно заполнить эти полгода, хотя до встречи с Машей полагал, что устроил себе жизнь насыщенную и нескучную. Сейчас он видел впереди только бесконечные скитания между тем городом, где жили они с Машей, и этим – совсем чужим ему.

Улицы его оживали только, если Машины воспоминания высвечивали их по-особому: «Слу-

шай, а здесь мы с девчонками...» Все это были забавные, но простенькие истории, у каждого навалом таких, и все же Матвей заслушивался каждой. Их живая нить вела вглубь Машиного прошлого, туда, где его не было, да и Аркадия не было, что представлялось особенно приятным.

Ему нравилось рассматривать фотографии, на которых растрепанная школьница семидесятых то хохотала во весь рот, не замечая того, что выскочила на мороз в одной форме, то взмахивала ракеткой, а волан летел к ней крошечным межпланетным кораблем. Матвей отчетливо слышал звук тугого удара о сетку, и сценка продолжалась в его воображении: смазала, по-детски чертыхнулась, подтянула гольфы, тряхнула пушистыми волосами... Когда они стали гладкими, от чего?

Там, внутри снимков, под тонюсенькой пленкой глянца, пахло теплыми соснами, принявшими солнечную пыльцу. Верхняя треть ствола была окрашена ею, и это всегда так нравилось Матвею, что в детстве (чуть отставшем от ее детства – Маша была резвее...) он думал: волшебная палочка должна выглядеть, как ствол маленькой сосны, подсвеченной солнцем.

Чудо произошло с ним безо всякой волшебной палочки, когда отец, которого Матвей привык считать обычным инженером-нефтяником, как то без перехода стал одним из совладельцев компании. С матерью Матвея он давно был в разводе, но почему-то так и не женился, не обзавелся другими наследниками и охотно поделился с единственным. Чаше Матвей раздумывал не над тем, почему нет этих других, а пытался понять, что же развело его родителей, так и оставшихся одинокими, невеселыми людьми. И только встретив Машу, понял, что эта особенность его сердца – наполниться раз и, как ему казалось, навсегда, передалась от обоих родителей, а значит, усилилась вдвойне.

Следовало выехать на трассу, ведущую за город, а Матвей свернул к старому мосту, о котором Маша рассказывала со слов родителей, что в конце шестидесятых он дал трещину от мороза, и люди ходили по льду с одного берега на другой. Она сама родилась на правом, Аркадий же увез ее на левый, и Маша, немного смущаясь этого, говорила, что так и не прижилась на другом берегу. За двадцать лет не прижилась. Ну, или почти двадцать...

Она сердилась на себя и смеялась: «Какие-то кошачьи повадки! Я так привыкаю к месту, что не сгонишь. Если только сама захочу...»

Матвею не давало покоя: «Что она скажет еще через двадцать лет? Я лишил ее не просто берега, а целого города. Десятков людей, которым она могла улыбнуться и без церемоний сказать: «Привет!» Не говоря уже о...»

Машина пошла вверх, будто по дну огромного оврага с крутыми высокими стенами. Маша так волновалась, когда неделю назад они этой же дорогой пытались вернуться в ее прошлое, что Матвею стало смешно смотреть на нее. В себе он не находил щемящей тяги к северному городку, где родился. И когда мать увезла его сначала на Урал, где жила ее сестра, потом в Сибирь – ни к кому, в неизвестность, он воспринял эти перемены, не протестуя и не сожалее. Хоть и радости тоже не было, ведь мать очень нервничала, собирая вещи, и кричала, именно его обвиняя во всем, о чем Матвей тогда и понятия не имел.

Трамвайная линия пунктирными, солнечными вспышками указывала путь, Матвей то и дело косился на нее, вспоминая, как Маша рассказывала, что они ходили по этой линии на речку, и, может быть, вон та черная шпала где-то в глубинах прочной деревянной памяти хранила след той девочки с пушистой головой, которая временем становилась особенно заметна. Все эти измышления были надуманны и сентиментальны, но самого себя Матвей не стыдился, а делиться ими не собирался ни с кем.

Мысль о ком-то, от кого следует по-тютчевски таиться, казалось, только скользнула, но в ту же секунду материализовалась: он увидел Стаса, откровенно мерзнущего на остановке. Мальчик возник так неожиданно, что Матвей не успел среагировать и пролетел мимо. Притормозив, он развернулся, ведь Стас намеревался ехать в обратном направлении.

– Эй, привет! Садись.

От неожиданности Стас узнал машину не сразу, потом, наклонившись, заглянул в распакнутую дверцу:

– Это вы?

– Садись, – нетерпеливо позвал Матвей.

С улицы тянуло таким холодом, что даже самый упрямый мальчишка не смог бы отказаться. Зима вымораживает гордость, этот закон Матвей вынес из своего северного детства.

– Ну, ладно, – Стас забрался в машину, не забыв придать лицу независимый вид, но в тепле по-детски влажно втянул носом.

Матвей улыбнулся, не глядя на него:

– Тебе домой? Ты как здесь оказался?

– Я у бабушки ночевал, – Стас заметно смутился, сказав так, ему показалось, что это прозвучало как-то по-детсадовски. И пренебрежительно добавил: – Надо же кому-то ее проведать. Мишка не может.

«Маша не познакомила меня с матерью?!» – это ударило так, что Матвей едва не выпустил руль. Через несколько секунд отпустило, и он додумался спросить:

– А эта бабушка... Чья она мама?

– Папина, конечно, – сквозь зубы отозвался Стас, откровенно не расположенный к беседе. – Мамина же во Владике.

И все тут же сложилось в картинку настолько ясную, что было непонятно, как Матвей мог забыть Машины переживания о том, что родители переехали поближе к ее младшему брату, чтобы помогать его семье, пока он в плаванье.

«Надо будет свозить ее к ним, – сделал он зарубку в памяти. – Вот это будет подарок!»

Но уже вспомнилось про полгода отсрочки от всего, полгода тоски, от которой нельзя было отказаться, чтобы не разочаровать Машу. Ей-то и в голову не пришло бы отказаться от этого ради него. Хотя, подумалось ему, раз уж отказалась от них один раз...

– Она вам ничего о нас не рассказывала?

Матвей не понял, чего больше было в голосе мальчика: злорадства или отчаяния? Если Маша не делилась чем-то, значит, хотела оставить это себе. Или не вспоминала потому, что это больше не имело для нее значения?

– Рассказывала, – возразил Матвей, так и не поняв: обидит этим Стаса или обрадует. – Но я ведь сам не видел твоих дедушек-бабушек, они для меня... несколько абстрактны, понимаешь? Поэтому я в них путаюсь. Если тебе перескажут... – он сделал скидку на возраст, – «Трех мушкетеров», разве ты запомнишь, кто из них казнил Миледи?

– «Трех мушкетеров» я еще классе в шестом прочитал, – губы у Стаса отогрелись еще не настолько, чтобы выразить презрение полноценно, как ему хотелось.

– Я промахнулся. А что читают в шестнадцать лет?

– «Камасутру».

– Вредоносная книга! – Матвей раскатисто рыкнул и с опаской подумал, что переигрывает. – Душит собственную фантазию на корню.

Стаса слегка перекосило:

– Только не вздумайте делиться со мной своим опытом! А то опять сейчас скажете: легко! Ненавижу это словечко, теперь все так говорят.

– Это защитное слово. На самом деле все сейчас чертовски трудно.

– Вам, что ли, трудно?

– А я что, киборг какой-то?

Презрение на лице мальчика наконец вырисовалось во всех деталях. Его реплику Матвей услышал еще до того, как отогрешившиеся губы шевельнулись. И предупредил ее:

– Только о моих деньгах не говори.

Стас подавился смешком:

– Большая тема, что ли?

– Скучная. Они есть пока, спасибо папочке...

И Бог с ними!

– Жить-то с ними не скучно.

– С ними свободней. Если проголодаешься, заезжаешь туда, что оказывается ближе, а не ищешь забегаловку подешевле. Ты, кстати, есть хочешь?

Мальчик бесстрастно заметил:

– У вас, похоже, бабушки не было. Она голодным не выпустит.

– А я хочу, – вздохнул Матвей. – У вас рядом с домом найдется какая-нибудь забегаловка?

– Пиццерия есть, – буркнул Стас и отвернулся к окну.

«А хочется в «Пиццерию», аж сил нет!» – Матвей куснул губу, чтобы не усмехнуться, и небрежно предложил:

– Пойдем?

– С вами?

Повернувшись, Стас смерил его взглядом:

– Да я б и в машину к вам не сел, если б хоть чуть-чуть теплее было.

– Спасибо на добром слове! Ты любезен, как всегда... Да ладно, я не настаиваю. Мне и без компании кусок в горло полезет. Легко! – Матвей широко зевнул, а сам подумал, что проиграл этот раунд. Из-за этой чертовой пиццы, которую Стас никак не мог принять, он наверняка возненавидит его еще больше.

Прижавшись к дверце, мальчик вдруг выкрикнул:

– Знаете что! Вы сделали из нее шлюху! Она была нормальной. И с отцом у них все было нормально. Зачем вы влезли? Незамужних мало, что ли?

«Если врезать ему за «шлюху», он этого не забудет. И найдет способ сообщить Маше», – Матвей заставил себя загнать ярость внутрь, как

сглатывают подступившую тошноту. И отозвался без видимого раздражения:

– Никогда не хотел прослыть «нормальным». Разве это не скучно? Твоя мама не была нормальной. Это почти то же, что быть заурядной.

– Нет!

– Да. Ты сам ненормальный. Хотя бы потому, что так сражаешься за свою семью.

«Черт бы тебя побрал!» – добавил он про себя.

Что-то изменилось во взгляде Стаса. Что-то дрогнуло: то ли зародилась улыбка, то ли раскалилась ярость. Это тайное движение исчезло сразу, но Матвей успел заметить его. Вот только значения не понял...

– А вы-то что здесь делали? – помолчав, спросил Стас. Подозрительность сделала его голос неприятно скрипучим. Казалось, что на соседнем сиденье старик-попутчик сетует на жизнь. Такой голос в новогоднюю ночь был у Аркадия. Это было смешно.

Матвей отозвался с юношеской пронзительностью, а потом подумал, что это прозвучало еще смешнее:

– Я-то? Изучал ваш древний город. Я ведь жутко любознательный, чтоб ты знал!

– Нечего смеяться над нашим городом, – сурово пресек Стас. – Ваш тоже ненамного древнее!

Не колеблясь, Матвей отрекся:

– А тот тоже не мой. Моя малая родина затерялась в бескрайних северных снегах.

– Так вы – чукча? – оживился мальчик.

Ударив себя в грудь, Матвей произнес с гордостью:

– Угадал, однако! Мы, чукчи, однако, все светловолосые и зеленоглазые!

Но Стас не унимался:

– Вы жили в юрте?

– В чуме. Строганину ели, однако. И мылись целых два раза: при рождении и после смерти.

Не удержавшись, Стас тихо фыркнул и разозлился на себя за это.

– Думаете, с нами ей не было весело?

– Нет, с вами не соскучишься, это я уже понял.

– Так что вы делали в этом районе? – нотки юного помощника милиции позвякивали в голосе Стаса.

Скосив глаза, Матвей усомнился, может ли говорить всерьез, и все же ответил правдой:

– Я пытался поймать тень ее детства.

– Маминоного?

– Когда узнаешь о детстве человека, начинаешь лучше его чувствовать...

Мальчик процедил:

– Зачем? Все говорят, что вы все равно ее бросите.

Не удивившись, Матвей продолжил:

– Потому что я моложе, богаче... И потом, один развод у меня уже имеется на совести.

– С мамой у вас не может быть развода, – сухо напомнил Стас. – Вы не женаты. Помоему, она и не собирается разводиться с папой...

«По самому больному, – затаив дыхание, Матвей переждал. – Ай да боец!»

– Если она к нам вернется, то даже не придется ничего менять.

– А ты надеешься, что она вернется?

Ему хотелось продеть вопрос нитью иронии, но не смеющиеся глаза Стаса сбили его. Минуту назад Матвей знал наверняка, что надежда мальчика не более реальна, чем ребристый след от самолета, видневшийся в углу лобового стекла. Но во взгляде Стаса была такая мрачная уверенность, что ему стало не по себе.

– Я даже не сомневаюсь, – сказал Стас.

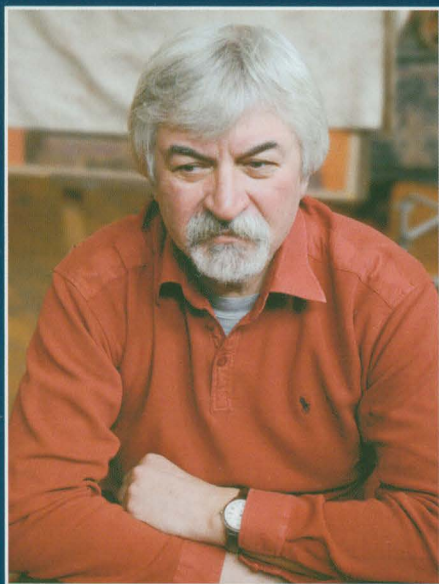
## ГЛАВА 10

Он спросил со всей суровостью, на которую способен старший брат, пытающийся наставить младшего на путь истинный:

– Так она была сегодня?

Мишка умело сделал виноватые глаза, хотя знал о своей безнаказанности: если уж отец решил ей приходить... Стас отказывался понимать: почему? Что, они без нее не справились бы? Полный междометий рассказ брата о новогодней ночи привел его в бешенство – еще и этот Матвей начал лезть в их жизнь! Стас никогда не верил, что нынешние и бывшие мужья и жены могут общаться по-человечески. На фронте предателей расстреливали... Так что если б отец их обоих спустил с лестницы, Стас поаплодировал бы. Даже если б она тоже что-нибудь сломала себе...

Стас и сам не понимал, как его память в одночасье смогла очиститься от воспоминаний о том, как он любил мать раньше. Или этого и не было? Теперь ему казалось, что он ненавидел ее с рождения и всегда ждал от нее подвоха. Разум возражал: не могло быть такого! Ведь

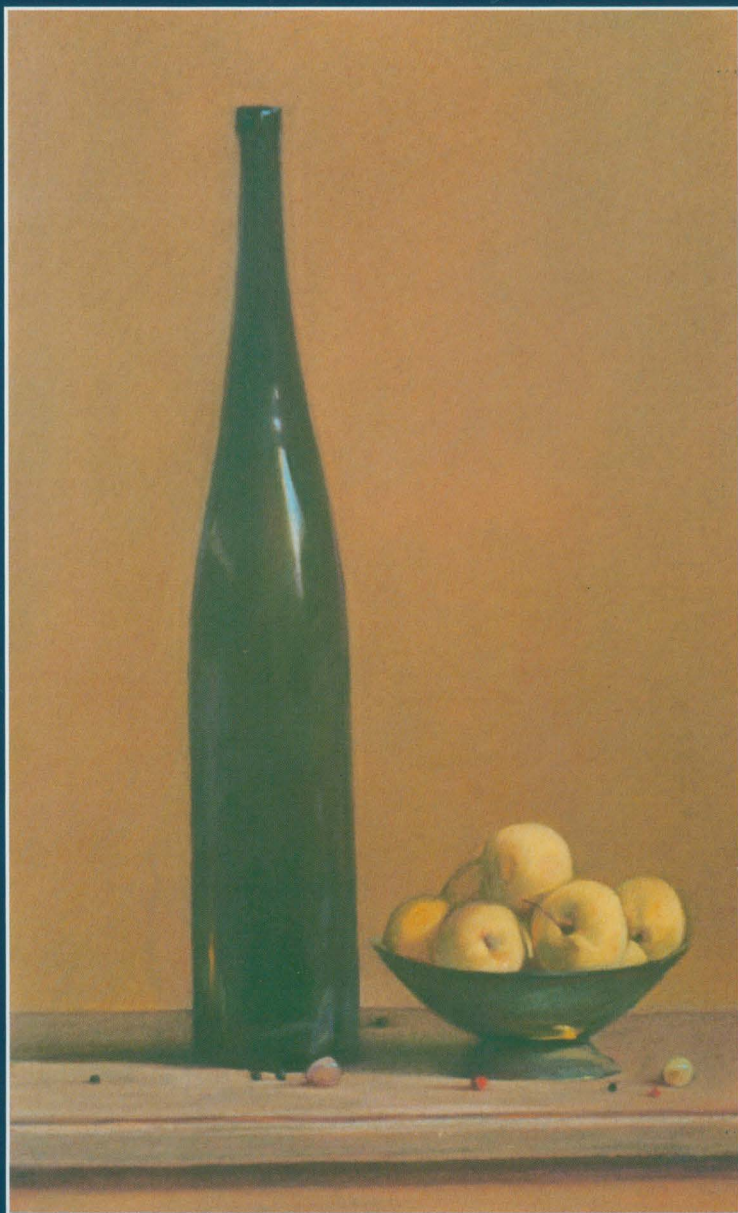


## ХУДОЖНИК ВАЛЕНТИН ТЕПЛОВ

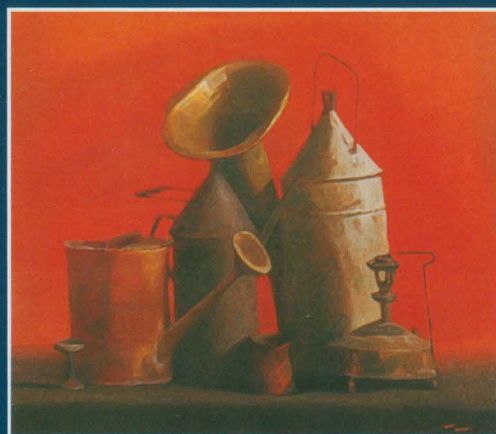
2 сентября 2010 года в Кемеровском областном музее изобразительных искусств – в рамках проекта «Созвездие региона» – открылась выставка красноярского графика, заслуженного художника России Валентина Теплова «Тихая жизнь». В эпоху широкого развития актуального искусства, низвергающего традиции, он работает в жанре классического натюрморта и демонстрирует высокую школу профессионального мастерства.

Творческий путь Валентина Павловича Теплова длится более сорока лет. В 1971 году он окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова, в 1986-м – Московский государственный полиграфический институт (отделение «Художник книги»), в 1989-м – творческие мастерские Российской академии художеств (Красноярск). В 1988 году вступил в Союз художников СССР. С 1990 года преподает в Красноярском государственном художественном институте, в настоящее время – профессор, заведующий кафедрой графики и руководитель творческой мастерской станковой графики.

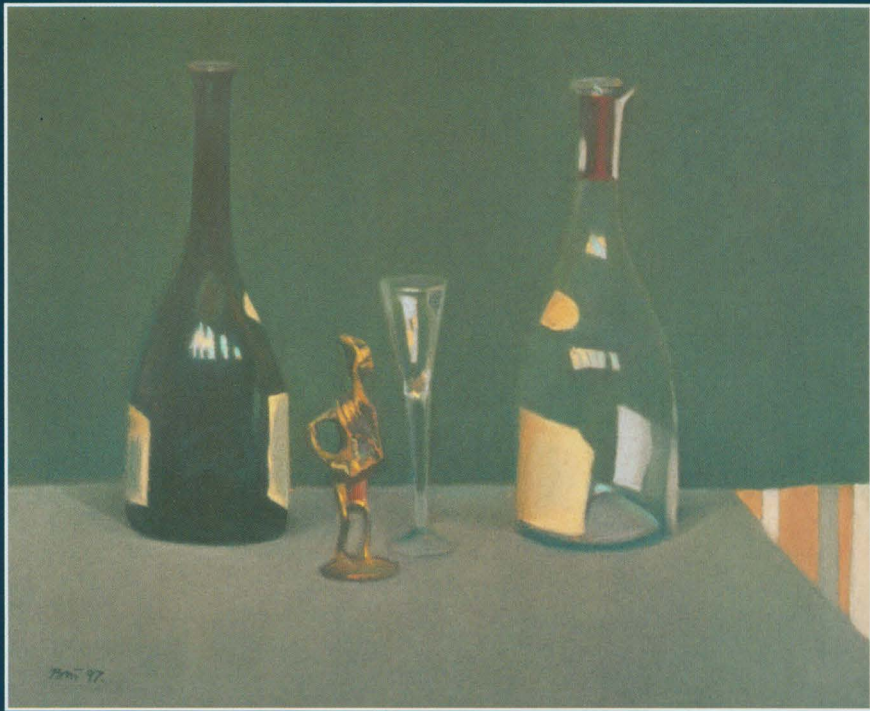
Работы художника на четырех страницах вклейки. Фото работ М. Чертоговой



*Натюрморт с большой бутылкой. 1997*



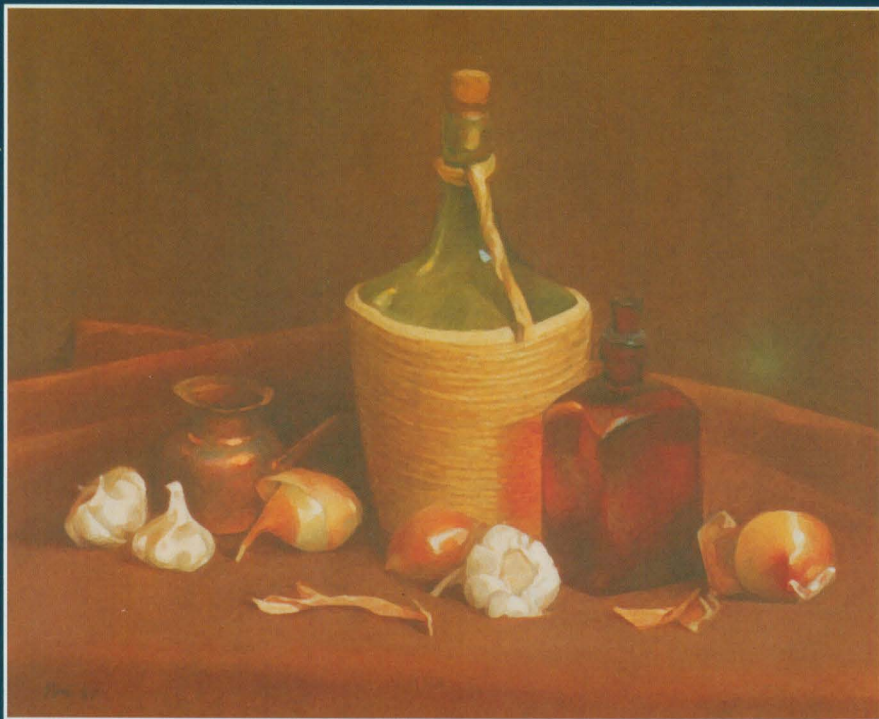
*Красный натюрморт. 2000*



*Натюрморт с бутылкой. 1997*



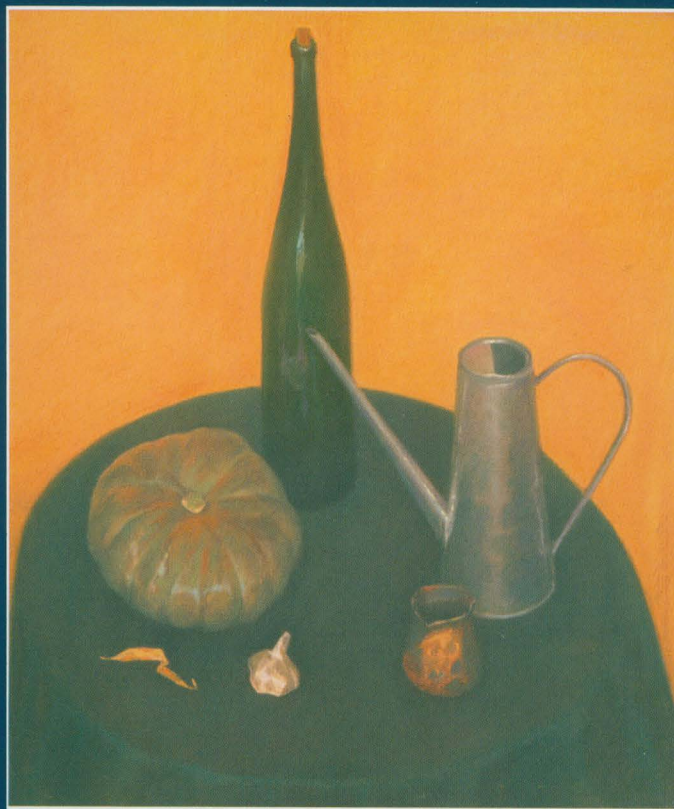
*Белый чайник и гранат. 1996*



*Натюрморт с луком и чесноком. 1997*



*Натюрморт с розой и птицей. 2001*



*Натюрморт с большой тыквой. 2008*



*Три самовара. 2000*

сохранилась целая куча фотографий... И на них она то возится с ним, то целует, то кормит грудью. Он опомнился: «Почему же я до сих пор не порвал их?»

Его соседка по парте, беленькая Дюймовочка с песенным именем Лайма, однажды невзначай обмолвилась о том, что ее родители в разводе. И когда Стас, слегка устыдившись возникшего жгучего интереса, спросил, видится ли она с отцом, девочка ответила, как о чем-то естественном:

– Ой, ну конечно! Папа у меня классный!

– Классный? – не поверил Стас и не сумел этого скрыть. – Он же бросил тебя!

Лайма посмотрела на него с той взрослой снисходительностью, которая бесила в девочках:

– Он же взрослый человек. Полюбил другую. Но я-то при чем? Когда у тебя брат родился, родители же не разлюбили тебя! Любить можно многих сразу.

Стаса покорила эта сомнительная философия. Чтобы его окаменевшее презрение к матери не рассыпалось в прах, подточенное сомнением, он убедил себя в том, что Лайма просто защищается этой показной понятливостью взрослых отношений, чтобы не выдать, как ей больно на самом деле. И перестал думать о ней...

Этот разговор он вспомнил в тот день, когда мать снова возникла в его жизни. Совершенно непрощенно. Вернее, был уже вечер, когда они с отцом, подавленные тем, чтостряслось с Мишкой, кое-как отужинали и разбрелись по своим комнатам. Стас включил только настольную лампу, и на свет из углов так и полезли обрывки ярости, которую он слегка подрастерял за день: «Зачем явилась... Если б не она... Если бы...»

Тут-то и всплыли эти странные слова Лаймы о любви, омывающей не одно сердце, но Стас категорично отмел их. А потом на одну секунду допустил, что, может, в них есть доля правды... Не доля даже, а миллионная часть доли... Давно был наготове непрошибаемый аргумент: «Любила бы, так не бросил б!» Но на этот раз Стас промедлил и не сразу разнес, как занозистой дубиной, свои сомнения. Впрочем, это были не сомнения даже, а только их отголоски...

Его раздражало то, что с каждым днем они звучат все отчетливее, отзываясь на скупые, похожие на военные доклады сообщения брата о том, что мама опять была у него. Говорить подробнее Мишка боялся, ведь у Стаса так гневно

раздувались ноздри, что если б вулкан прорвался, не спасла бы и больничная койка.

– Она грехи свои замолить пытается, – говорил Стас с презрением, сердясь на то, что Мишка не понимает очевидного.

Тот, как правило, настороженно отмалчивался, но однажды сказал:

– Она ведь звала нас с собой. Могли бы поехать.

– К этому? – взвился Стас и, вскочив с краешка щита, горячо зашептал: – Сдурел, что ли?! С отчимом захотелось пожить? Не слышал никогда, как они издеваются? У тебя мозги, похоже, тоже сплющило!

Мишка отвел глаза. Когда приходил брат, за окном уже появлялось чернильное марево, сгущавшееся черной портьерой перед вечером, уже надвигающимся на город с неумолимостью Князя Тьмы. Мама приносила с собой солнце, даже если утро выдавалось пасмурным...

– А если папа женится? – тихо спросил он. – Мачеха еще хуже, чем отчим. По-моему, так.

Стас опешил:

– На ком это он женится? У него и нет никого.

– Откуда ты знаешь? Про маму тоже никто из нас не знал, пока...

– Так ей нужно было скрывать, а папе теперь чего прятаться?

Мишкин рот выгнулся подковкой:

– Не знаю. Может, чтоб мы не обиделись. Он же нас жалеет, наверное.

«Жалеет» – это прозвучало оскорбительно. Стас не находил повода жалеть себя. Другое дело – Мишку. Ему и самому то и дело становилось жаль брата до того, что перехватывало горло. Тот хоть и крепился, и даже пытался острить (папа восхищался: «Растет пацан!»), но лицо у него стало каким-то желтеньким, а ноги сделались совсем тонкими. Больничная массажистка сказала: «Мышцы тают», и дала специальные упражнения, которые можно было выполнять, не вставая с кровати. Мишка старательно делал их два раза в день, но мышцы все равно таяли. Это было не так уж страшно, стоит только начать ходить, и все нарастет, но смотреть на эти тонкие ножки было не просто...

– Хочешь сказать, что отец оставил нас у себя из жалости? А не жалел бы, так Матвею отдал? – Стас специально произнес это зловещим шепотом, чтобы брат устрасился такой перспективой.

– Да нет же, – беспомощно протянул Мишка. – Я же про то, что, может, у него тоже есть... кто-нибудь. Вон медсестра с массажисткой только и говорят, что мужиков не хватает, и все такое.

– Знаю, что не хватает. Ну и что? Его одного все равно на всех не хватит.

Стас понимал, что говорит ерунду, и вообще-то Мишка прав, конечно, всякое может быть, отец может и скрывать от них. Но ему была так противна сама мысль о том, что отец тоже может оказаться предателем, что Стас гнал ее вслепую. Если это случится с отцом, мать уже точно к ним не вернется, а ведь он только утром убедил (или нет?) Матвею в своей уверенности в обратном. Пока ничто даже не наводило на мысль об этом, или, как говорила их историчка, не было никаких предпосылок, но каким-то образом в душе у Стаса поселилось и пустило корни предчувствие, что будет именно так. Только он не знал, хочет этого или нет.

И ничего не предпринимал для того, чтобы это сбылось. Как только мать делала едва уловимое движение к нему, он отталкивал ее – взглядом, словом, ухмылкой. Она отступала, принимая зависимость от него, и Стас упивался своим превосходством, ведь вообще-то его мать покорной не была. С самого детства он краем уха слышал разговоры о том, как она опять показала характер кому-то из телевизионного начальства, и из-за этого ее передачу едва не закрыли. У нее всегда были сложности с этим неведомым начальством, которое меняло имена, не меняя отношения к строптивой тележурналистке.

Когда Стас подрос, он стал втайне гордиться тем, что она никому не пытается угодить. А его учителя еще пытались жаловаться ей по телефону на то, что у ее старшего сына неуживчивый характер! Как будто ее можно было удивить этим...

В этот вечер Стас ушел из больницы, не дождавись отца, который прибежал к Мишке после работы. Его подстегивала мысль, что Матвея нет в городе, и она... мать сейчас одна. Можно было бы добавить: «Совсем одна», если б, с одной стороны, это не было фразой из анекдота, а с другой – не звучало так тоскливо.

Эта мысль вела его, подталкивала... Стас, разбежавшись, скользил по глянцево-змейке льда, перебежал перед машинами, выбирая джипы, обгонял прохожих. Зачем он шел к ней, если с первой секунды решил не показываться на глаза? Подслушать под дверь? Подглядеть

в замочную скважину? Что он надеялся увидеть?

Ее не оказалось в номере. Стас не стал допрашивать портье: не ошибся ли тот. Выглядеть несчастным, покинутым ребенком? Нет уж... Она сдала ключ и ушла. Куда интересно?

Стас вышел на крыльцо и огляделся, чувствуя себя затравленным дикарем, оказавшимся в городе. Здесь были сотни улиц, где можно было укрыться от его взгляда. Любой подъезд, незнакомая ему квартира могли поглотить ее запах, попробуй найди!

К вечеру неожиданно потеплело, и в больнице все разом заговорили о гриппе, точно его вирус до этого находился в замороженном состоянии. Готовое разразиться в снегопадом небо тяжело осело прямо на крыши домов, и Стас чувствовал, как оно давит на затылок. Белые, ватные с утра деревья стали бурыми, крючковатыми, будто состарились за день.

Стас задумался: «Интересно, они знают, что их ждет весна? Что снова проклюнутся листья? А если они не умеют ни помнить, ни думать, как можно считать их живыми? Сказано же: мыслю, значит, существую. Одно противоречит другому. Каждый великий человек изобретает свою формулу жизни, а мы должны разбираться, как они сочетаются между собой!»

Теперь, когда на пути его плана встала случайность, ему уже казалась нелепой идея найти свою мать. Оббежать полгорода, чтобы потом даже не подойти к ней? Она могла отправиться на телевидение, к старым друзьям, чтобы подбросить пиццы для разговоров – надо же им чем-то жить! Могла пойти в театр, который по-настоящему любила и с раздражением пресекала все разговоры о провинциализме как о слабости. Наверное, потому, что сама была провинциальной журналисткой, но не считала себя слабее столичных.

Потом вспомнилась утренняя встреча с Матвеем, и Стас решил, что она может совершать паломничество по местам своего детства, о котором обожала рассказывать. Стаса бесило, когда матерью овладевала жажда поделиться с кем-нибудь подробностями и их с Мишкой младенчества. Никому, кроме нее самой, это не было интересно, а им обоим становилось неловко за тех себя – маленьких, глупых до невозможности, неуклюжих... Почему она так любила их таких?

Стас поймал «маршрутку» и поехал назад той дорогой, которой утром вез его Матвей. Забив-

шись на заднее сиденье, он стал представлять Мишку, который наверняка не понял, почему брат вдруг бросил его. И ощутил досаду: мать-то сидела у его постели, пока не выгоняли...

«Грехи отмаливает», — он привычно выдернул эту фразу из нескольких других, более правдивых. Стас уже знал: правда — это такая штука, на которую не обопрешься, когда ноги подкашиваются. И сейчас он охотно обманывал себя, воображая, что мысли о Мишке как бы приближают к нему самому, а значит, он не весь ушел или же забрал от брата что-то с собой. Незримый слепок, фантом, который всегда может быть с ним...

То же самое можно было проделать и с матерью. Убедить себя в этом. Человек ведь способен убедить себя в самом неправдоподобном, если иначе ему не выжить. Из этого вытекал несколько противоречивый вывод: Стас мог выжить без матери, поэтому она была нужна ему реальной, а не бликом памяти.

Стас ткнулся головой в трясущееся стекло: «И что из этого? Скорее всего, я смогу найти ее старый дом, хоть и не был там сто лет... Может, даже ее саму увижу. А дальше? Что я не сказал бы, разве она вернется? Действие? Какое? Связать ее и утащить домой? Этот Матвей и дверь взломать способен. Если не сам, так наймет каких-нибудь громил... Силой с ним не справишься».

Преступная мысль прошла голову, Стас даже выпрямился. Все могло бы получиться, если б этого Матвея вдруг не стало... Он отшатнулся от себя самого: как можно даже думать о таком?!

Но уже подумалось, и хотя Стас не хотел продолжения, также торопливо, воровски проскользнули жутковатые в своей привлекательности варианты исчезновения Матвея. Тормоза на джипе — это было самым реальным из всего, что Стас придумал наспех.

Кусая губы, он пытался занять голову смазанными картинками, возникающими за окном. Названия магазинов были уже не теми, что еще полгода назад, и Стас понимал, что это значит: один владелец прогорел, теперь пытается выжить другой... За обычной сменой вывесок стояли человеческие трагедии, но сострадания Стас не испытывал. Он не верил, что может найтись история трагичней, чем у их семьи, ведь ее он чувствовал всем нутром...

Едва не пропустив нужную остановку, он выскочил из такси и оглядел хмурые ряды серых пя-

тиэтажек. Прочным забором они укрывали огрызок частного сектора, который еще лет десять назад занимал половину района. Тогда дома были крепкими и самодовольными, но время потрудилось над ними, как гусеница над листом.

Стас ясно представлял тот, в котором жили его ныне владивостокские бабушка с дедушкой и где его мама еще девочкой прямо в огороде кормила кукол обедом. Впрочем, нет! Никаких обедов не было, она же рассказывала. Ее игры всегда были историями: коричневый медведь с большой головой и шершавыми подошвами лап, за неимением кукол-мальчиков, превращался в загорелого до черноты ковбоя. У него, правда, не было лошади, зато ноги были кривыми, как у настоящего наездника. Его то врагом, то другом, в зависимости от сегодняшнего сюжета, был желтый лохматый медведь с прозрачными медовыми глазами. На нем был клетчатый комбинезончик, как у городского мальчика, и он умел грозно реветь, если его поворочать туда-сюда...

Зачем он помнил все это? Ему-то что до этих пыльных медведей, которых тоже потащили на Дальний Восток, как будто его двоюродным сестрам могли понравиться старые игрушки. Наверняка девчонки выкинули их в первый же вечер. И правильно сделали! Нечего навязывать людям модель чужого детства.

Эта мысль Стасу понравилась. Она показалась ему вполне взрослой и даже научной. Такими фразами говорила их учительница литературы. После того, как мама услышала ее на родительском собрании, она больше не удивлялась тому, что Стас ненавидит литературу как предмет, хотя и читает запоем.

Вспомнив это, он улыбнулся как раз в тот момент, когда вышел на тихую улочку, пахнущую печным дымом и присыпанную золой сумерек. И увидел мать. Она шла навстречу, еще не замечая его, а Стас растерялся до того, что забыл убрать улыбку. Он смотрел на нее и улыбался уже уплывшим мыслям, она же, подняв голову, просияла в ответ, не поняв этого.

Резко повернувшись, Стас бросился бежать, проклиная и свою глупость («Зачем я поперся сюда?!»), и случай, и твердя про себя то, в чем для него не было никакого противоречия: «Ненавижу ее! Я заставлю ее вернуться!»

## ГЛАВА 11

Тяжелее всего было уходить. Не подозревая, что и Машу мучает то же самое, Аркадий

уговаривал себя, что это труднее всего, каковы не были бы обстоятельства. Но если люди необходимы друг другу, что может облегчить расставание?

То, что через такое же испытание уже прошли миллионы других, не делало боль в груди хоть чуточку слабее. Аркадий тащил свое разбухшее сердце прочь от больницы к остановке, с трудом дыша жгучим, морозным воздухом, в холодном автобусе усаживал у окна и, как беспокойного младенца, пытался занять впечатлениями. А оно все плакало и плакало так же безутешно, как умеют лишь те самые младенцы.

А дома наваливалась тишина обезлюдивших комнат: Стас тоже пропадал где-то. Наверное, страшилось оставаться в этой квартире, лишившейся Мишкиного топота, затихающего у входной двери: «Кто там?», тихих звуков сражений, разворачивающихся на ковре, частого шелеста страниц...

Аркадий вошел в комнату младшего сына и остановился на пороге, хотя его детям никогда не пришлось бы в голову орать, как подросткам из американских фильмов: «Не входи в мою комнату без разрешения! Это моя собственность!» Письменный стол и сейчас был завален всякой всячиной, крайне необходимой Мишке. Перед тем как начать пылесосить, Аркадий обычно пристально оглядывал ковер: не затаилась ли в его узорах рука робота или маленький, не больше скрепки, автомат. Однажды тупой пылесос сожрал детальку конструктора, и Мишка заставил перевероршить весь мешок.

«Машу заставил», — вспомнилось ему. Тогда еще Машу. Она и не подумала спорить и доказывать, что, мол, обойдешься и без него, а, весело переговариваясь с сыном, утащила пылесос в ванную, чтобы произвести вскрытие без ущерба для квартиры...

«Головоломка, которую мне не решить никогда, — подумал Аркадий, разглядывая светло-коричневый ковер, который теперь чистил сам. — Она ведь была хорошей матерью. Она ведь души в мальчишках не чаяла. Что же случилось с ее душой?»

— Надо сделать у него ремонт.

Аркадий произнес это вслух и сам удивился, услышав, ведь мысли его были о другом. Возлежавшая на диване Нюся нехотя подняла голову и уставилась на хозяина с холодным изумлением: «Что, старый, совсем из ума выжил? Уже сам с собой разговариваешь?»

— Это я тебе говорю! — оправдался Аркадий. — Помогать будешь? Ни черта ведь не делаешь в доме, могла бы хоть раз лапой шевельнуть! Надо сменить обои, и плитки наклеить на потолок... Будет красиво. Он обрадуется, когда вернется. Давай? Ты будешь мазать хвостом, а я приклеивать.

Не проявив интереса, кошка зевнула, показав маленькое розовое небо. Аркадий махнул рукой и медленно обошел комнату, стараясь не наступать на игрушки, которые все еще группками лежали на ковре, некогда было убрать. Взял картонный истребитель, который Мишка доклеил накануне травмы, погладил крылья — на пальцах осталась зеленая полоска.

У Аркадия перехватило горло: краска еще не высохла, а все в их жизни уже перевернулось. И они больше не спорят из-за штор, которые Мишка задерживал даже днем. Ему казалось, что из окна напротив его комната отлично просматривается.

«Надо купить жалюзи! — осенило Аркадия. — Он вернется, а они уже висят. Почему я раньше не додумался?»

Сев рядом с кошкой, он взял не дочитанную Мишкой книгу. Она была библиотечной, захватанной десятками других детей, а ему почудилось, будто страницы пропитались запахом его сына. И опять что-то взорвалось в сердце, и стало так больно, что, казалось, уже и не продохнуть. Аркадий осторожно положил книгу, не закрыв ее, и вышел из комнаты.

Он направился на кухню, пытаясь вспомнить: есть ли в холодильнике что-нибудь из остатков. Ему не хотелось готовить, вообще ничего не хотелось. Он чувствовал себя устрицей, из которой высосали содержимое. Внешне все оставалось на месте, даже седины не прибавилось, а внутри была пустота. Из этой пустоты надо было извлекать какие-то мысли, ведь работа не могла ждать. И ребята из лаборатории, хоть и сочувствуют ему, но ждать тоже не могут. Дети не только у него...

Звонок раздался в тот момент, когда Аркадий открыл холодильник, свирепо загремевший полками и стеклянной крышкой масленки. Он прислушался: почудилось? Закрыв дверцу, Аркадий подождал, и звонок повторился.

«Не Стас», — решил он. В их семье все звонили три раза, а то и больше. Открыв дверь, он не смог скрыть довольно нелепого удивления: «Почему она звонит не по-нашему?» Исключая

друг друга, возникли две догадки: Маша не осмелилась самовольно воспользоваться их тайным кодом, или – она отрелась от всего, что составляло их жизнь. От всего большого, ото всех мелочей. Последнее сразу скукожилось перед тем, что каждое утро Маша проводила у сына, хотя ей давно пора было уезжать. И как бы ни был Аркадий сердит на нее, он не позволил бы себе обвинить ее в том, что это – показуха.

– Привет, – сказал он, приказав себе ничему не удивляться и не злиться. – Проходи.

Машин взгляд метнулся к знакомой вешалке, похожей на черное дерево с крюкообразными ветками:

– Можно раздеться?

– А Матвей не закиснет в машине?

Она посмотрела с удивлением:

– Он же уехал. Вообще из города. По делам.

– А я должен был это знать?

– Я думала...

– Нет. Мишка не говорил мне.

У него опять начало разбухать сердце: «Маленький мой... Сам лежит переломанный, а меня оберегает».

– Тогда раздевайся, – он принял злосчастную шубу, на этот раз обвисшую тяжестью укора: «Матвей сделал из нее принцессу, а ты не смог!»

– Я принесла копченую курицу, – сказала Маша полувопросительно. – Вроде бы, свежая... Ты еще не успел поужинать?

Он решил не ломать комедию.

– Доставай. Надеюсь, она не совсем окончена?

– Там потеплело. А Стаса нет? – она заглянула в комнату старшего сына, пугающую тем уровнем порядка, который только и был удобен ее хозяину. Ее губы дрогнули: здесь ничто не изменилось.

Аркадий подтвердил:

– Вечный хаос. Да будет так! Хоть в чем-то же должно быть постоянство.

Этот упрек вырвался против воли. Уж слишком много испытаний было в последнее время для этой несчастной воли. Ничего не сказав на это, Маша осторожно шагнула к Мишкиной комнате и остановилась на пороге. Точно так же, как он сам пять минут назад. Приподняв голову, Нюська с неподражаемым безразличием оглядела любимую хозяйку и только дернула хвостом.

– Она меня не узнала...

Не заглядывая в лицо, Аркадий угадал, как оно дрогнуло. Такое тонкое и правильное, что не

будь Маша грешницей, с нее впору было писать икону. Короткие волосы не закрывали длинную шею, нежность которой стекала на плечи. Сейчас они были закрыты кофтой, но Аркадий помнил их. Он смотрел сзади на ее шею и думал о том, как же это странно, что не в его праве теперь прижаться к ней ладонью, губами, щекой... Не то чтобы ему очень уж хотелось этого, но сама невозможность казалась неправильной.

В их бывшую спальню Маша не зашла, но в этой нарочитой тактичности ему опять увиделась бестактность, как та, которую она допустила, явившись к нему в этой норковой шубе... И Аркадий позвал грубее, чем намеревался:

– Так ты простишься со своей курицей или нет?

Она заторопилась, улыбаясь жалобно, не похоже на себя. Выбираясь из не подходящего для нее пакетика «Ив Роше», курица зацепила его культаей и порвала. Аркадий только подумал: «Жалко. Красивый пакетик», а Маша уже бросила его в мусорное ведро.

– Я руки помою...

Это опять прозвучало вопросом, и оттого, что теперь Маша спрашивала разрешения на каждую мелочь, ему стало не по себе, хотя Аркадий понимал, что не он виноват в этом. Или он? Если она влюбилась в другого, значит, он выпустил ее любовь, не удержал, не уберег... Любовь вдруг представилась ему глотком воды, которую держат в пригоршне. Пока все пальцы руки-семьи тесно прижаты друг к другу, вода не вытечет. В какой момент они слегка отстранились, позволили просочиться капле? Он не заметил...

Не дожидаясь, пока Маша вернется из ванной, он нарезал хлеба и водрузил курицу на большое блюдо. Она выглядела глуповато, но разве может быть иначе, если тебя лишили головы и покровов? Ему вспомнилось, что в последний раз они баловали себя такой курицей летом прошлого года, когда делали ремонт в комнате Стаса и готовить ужин ни у кого уже не было сил. Секунду поколебавшись, он напомнил об этом Маше, когда она неуверенно, как незваная гостья, присела к столу, и сказал:

– Я собираюсь заняться Мишкиной комнатой, пока он в больнице. А то он все обижался. Только ты не проговорись, это будет сюрприз.

У нее прояснились глаза. Все такие же синие, хотя они все реже сияли вот так, как сейчас. Аркадию подумалось, что тоска затягивает взгляд облачностью.

– Можно я тебе помогу? Ты же не справишься один! – взмолилась Маша.

Ее рука двинулась к нему по столу, потом замерла, подалась назад и снова начала свое беспорядочное движение.

– У меня есть Стас.

Аркадий услышал, что это прозвучало утверждением, что у нее Стаса больше нет.

– Стас и ремонт? – Маша дернула плечом. – Две вещи несовместные...

– А ты и ремонт? Из норкового манто в робу?

– Ну и что?

– Ничего, да? – Аркадий с наслаждением рванул куриную ногу, втянув пряный запах. – Держи. Только не вздумай сказать, что притащишь и этого своего... Легкача... Что вы, мол, вдвоем возьмете на себя заботу обо мне. Это уже «Покровские ворота», ей-богу!

Маша рассмеялась охотно, даже чересчур охотно. Но куриная нога желтела в ее руке сигнальным флажком, призывающим быть настоящим.

«Да я и так не расслабляюсь, – заметил Аркадий про себя. – Как расценивать этот ее смех? Теперь очередь Матвея быть преданным ею? Склонность к предательству – это хроническая болезнь?»

– Я же сказала, что Матвей уехал. А когда 106  
вернется... Он найдет, чем себя занять.

Внезапно Маша поняла, что это прозвучало пренебрежительно, и заторопилась затушевать это нечаянное впечатление.

– Если б вы встретились с ним не так... Теперь это невозможно, конечно, я понимаю... Но будь все по-другому, знаешь, он понравился бы тебе. Ты ведь любишь увлеченных людей.

– Увлеченных чем? – Аркадию хотелось спросить: «Тобой?», но это прозвучало бы вульгарно. Хотя если он допускал эту вульгарность в мыслях, то какая, в сущности, разница...

Но Маша не услышала его мыслей. Раньше такого не случалось, и ни одного из них не удивляло, что так происходит. Разве это не естественно для мужа с женой? Они были, как два сообщающихся сосуда, их чувства, их мысли перетекали, наполняя обоих. Теперь между ними появилась перемычка.

– Он увлечен жизнью, понимаешь? Ему до всего есть дело. Он мог бы не появляться на телевидении неделями, деньги-то его работают и без него, но ему это интересно! Как готовится передача, как снимается... Освещение, угол съем-

ки, все приемы интервьюирования – ему во все хочется вникнуть.

«Талантливый дилетант», – подумал Аркадий, но не сказал этого. Не только из-за того, чтобы она не заподозрила в нем зависти. Но больше оттого, что в горле возникла странная горечь. Не от курицы, она была отменной и действительно свежей... Дело было, скорее, в том, что в Машиных глазах опять возник тот живой блеск, наводящий на мысль о солнечном небе, который, как ему показалось, уже утрачен ею...

Рванув кусок мякоти, Аркадий ровным тоном заметил:

– Если ты надеешься подружить нас, то это абсолютно безнадежное предприятие.

– Я... – взгляд ее погас. – Нет, я не надеюсь, конечно. Что ты...

– Думаю, он тоже не очень-то к этому стремится. При всей его любвеобильности... Не ставь, пожалуйста, ни его, ни меня в дурацкое положение.

– Да я не...

– Сама подумай, кто пойдет в гости к разбойнику, отнявшему дом? Может, мне еще порадоваться, что он там так удобно устроился, когда я сам остался во дворе?

Маша тихо добавила:

– Но с детьми.

Ее блестящие от куриного жира пальцы теперь скользили по ободку тарелки. Потом нашли кусок хлеба, отщипнули мякоти и принялись лепить шарик. Аркадий вспомнил, что у нее была привычка складывать кораблики из любой бумажки – из конфетного фантика, из автобусного билета... Куда они звали ее, эти кораблики?

Но на его памяти Маша никогда не лепила хлебные шарики. Ему открылось, что она меняется. У нее возникали новые привычки, возможно, менялись взгляды, требования к жизни... Может, уже сейчас она и помнить не помнила те кораблики. Лет через пять Аркадий мог и не узнать в ней ту девочку, которая бежала после института к нему в общежитие и, налетая на него, забрасывала обе руки ему на шею. Руки у нее и сейчас были тонкими, как тогда, только в те годы ногти были длиннее, ведь ей не приходилось стирать детские вещи.

Он с недоверием уставился на ее пальцы. Сейчас ведь ей тоже не приходилось стирать...

– Ты не нарачиваешь? – он показал рукой. – Так это называется?

Маша с безразличием осмотрела свои ногти:

– А... Неудобно с длинными. Я привыкла так. Маникюр делаю, конечно.

– А как же светские рауты? – ему внезапно захотелось, чтобы она сказала, что не бывает на них.

Но Маша усмехнулась:

– Там все, как одна, длинноволосые, длинноногие и с длинными ногтями. Я же не как все.

«Разве?» – едва не вырвалось у него. Перешагнуть через детей, мешающих побыстрее добраться до вершины, это как раз становилось нормой жизни.

Кажется, она угадала его мысль, все-таки время еще не совсем развело их. И отпрянула от Аркадия.

– Я знаю, о чем ты подумал!

– И что? – не смутившись, спросил он. Ему хотелось хоть как-то отплатить за свою слабость, допустившую, чтобы Маша купила копченой курицей его расположение на десять минут.

– Зря я пришла.

Аркадий заинтересовался:

– А, кстати, зачем ты пришла? Поесть не с кем было? Богатые не умеют просто есть, им непременно нужно продемонстрировать, что они едят.

В ее глазах опять появился блеск, но уже совсем другой, Аркадий это понял.

– Это всего лишь курица, – сказала она.

– Ну да. Ты же не могла притащить в наш дом омаров или еще что-нибудь из вашей жрачки! Но ты ведь знала, что я и копченую курицу редко могу себе позволить.

– Ты зациклился на своей бедности.

– Зациклился? Это его словечко? – Больше всего Аркадия задело сочувствие в ее голосе.

– Стас тоже так говорит.

– Стас еще ребенок, если помнишь. Ты решила помолодеть настолько?

Маша откликнулась, почти не задумавшись:

– Молодости не бывает слишком.

Еще не договорив, она уже поняла, какая это глупость. И Аркадий, конечно, это понял, но промолчал. Пощадил. Как и в тот день, когда в Машинном теле тряслась каждая жилка в предчувствии разговора, который был уже неизбежен и все же казался ей той чертой, за которой только смерть. Разве нет? Ведь той жизни, в которую она выросла за двадцать лет, там не будет. А что будет?

Тогда Маша еще не знала этого. Ее тошнило от страха, и так давило на уши, будто что-то менялось во всей атмосфере. Глаза ее детей, неестественная улыбка Аркадия – вот, что было в воздухе. А еще несчастный взгляд Матвея из вероятного будущего, в котором она не решилась бы на тот разговор...

«И что было бы сейчас?» – Маша украдкой всматривалась в лицо Аркадия, в новые морщинки у глаз, которых он, может быть, и не замечал.

В юности эти глаза были распахнутыми, бездонными, а потом как-то уменьшились и стали похожими на неправильные треугольники, в которых были заключены живые темно-серые шарики. Ей было бы куда легче, если б это лицо вызывало у нее отвращение, но его-то Маша как раз не испытывала. У нее все также сжималось сердце, когда она смотрела в его печальные глаза, как и двадцать лет назад. За последние месяцы Маша убедилась, что муж стал ей чужим и очередная встреча никак ее не взволнует, но сейчас она отчетливо ощущала, что страдает не только из-за Мишки.

– Скажи, ты не опаздываешь на работу? – тихо спросила она, внезапно почувствовав, что губы у нее измазаны куриным жиром. – Это не дело, что ты мчишься в больницу к восьми утра и переключиваешь Мишку на каталку. Давай я поговорю с врачом? Пусть передвинут кровати, раз у них каталки не проходят!

– Они не сделают этого, – Аркадий встал и нашел в ящике салфетки.

Маша благодарно улыбнулась, с некоторым страхом отметив, что он все также угадывает ее мысли.

– Мишка говорил, что других мальчишек медсестры заставляют вставать и самим выходить к каталке. Один даже бегом бегаёт... Что, сестры не знают, что с переломом позвоночника запрещено вставать? Им плевать на все! Они прикрываются своей мизерной зарплатой, чтобы вообще ничего не делать. Чтобы сердце зря не напрягать... Лучше я буду ездить каждый день к восьми утра и возить Мишку на эту лазерную терапию, чем на них надеяться.

– Ты – молодец, – проговорила Маша и поняла, как мало сказано в сравнении с тем, что она чувствовала.

Отведя взгляд, он спросил:

– Ты пробудешь здесь весь месяц?

Ей захотелось набрать побольше воздуха, как перед погружением на глубину.

– Я собираюсь остаться на полгода. Пока Мишка будет на домашнем обучении, – она испуганно замолчала, ожидая, что ответит Аркадий.

В его взгляде была одна только усталость.

– Это было бы хорошо, – наконец сказал он. – А как с работой?

– Я придумаю.

Как бы рассуждая вслух, Аркадий заметил:

– Кто-то должен оставаться с ним днем. Встречать учителей. Если они, конечно, будут приходить...

– Как это – если? Они обязаны!

– Кормить его, наконец... Матвей тоже переедет сюда?

Маша неловко призналась:

– Не знаю. Мы пока еще не разобрались с этим.

– Не думаю, что он будет рад...

– Нам всем вообще нечему радоваться!

Она вдруг поняла, что лжет: эти полгода с сыном, что вырешила ей болезнь, были радостью. Но Маша, конечно же, отказалась бы от нее не задумываясь, если б это могло вернуть Мишке здоровый позвоночник.

– Что ты так смотришь? – она начинала нервничать, когда глаза Аркадия становились такими всепрощающими.

В минуты, подобные этой, Маша чувствовала себя безрассудной, не особенно умной девочкой, хотя они были с Аркадием почти ровесниками. Однажды стало ясно, что молодость Матвея окрылила ее: хоть он сможет воспринимать ее всерьез. В семье к ней так не относились даже сыновья.

Аркадий опять отвел глаза:

– Чаю хочешь?

– Да. Конечно! Надо запить горячим, а то... – она вдруг поняла, что плачет, но не поняла из-за чего.

Словно на его глазах совершалось нечто непристойное, за чем совестно было подглядывать, Аркадий отвернулся и включил чайник. Не обернувшись, он отчетливо произнес, чтобы отвлечь ее:

– У меня есть пакетики. Мальчишкам с ними проще, чем заваривать. Ты не против?

– Нет, – она шмыгнула и промокнула лицо салфеткой. – Давай пакетики.

– Если это осложнит... твою жизнь, ты можешь и не задерживаться на полгода. Мы выкрутимся. Мама будет приезжать.

Маша оторопела: «Какая еще мама?! Я – их мама!» Но успела сообразить, что Аркадий говорит о своей.

– О чем ты? – пробормотала она. – Я не могу... Не могу отказаться еще и от этого.

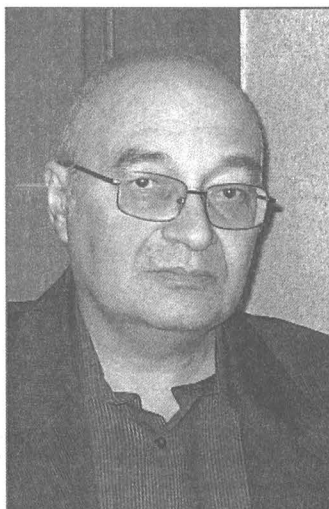
*Окончание следует.*



Дорогой Сергей Елизарович, поздравляем тебя, нашего давнишнего друга, постоянного автора журнала, с 50-летним юбилеем!

## Сергей ПОДГОРНОВ

### ЗДЕСЬ К ЗВЁЗДАМ БЛИЖЕ, ЧЕМ К МОСКВЕ



#### В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

Я слышал: вновь оплакали Россию  
и, сопли растирая по мордам,  
пошли толпою квасить от бессилья...  
Сочувствую я этим господам.  
От их стенаний, от слезы горячей –  
слезы почти ребенка! – день, что ночь.  
И пусть поплачут. Пусть они поплачут.  
Как ни крути, а горю не помочь.  
...А тут картошка подспела к сроку,  
и урожай предвидится хорош!  
Айда, жена, а то, темнея боком,  
за школой туча скапливает дождь.  
Ботву – долой, берем царпки в руки,  
и клубни в ведра:  
дон-дон-дон-дон-дон!  
Из огородов слышится в округе  
веселый повторяющийся звон.  
Денек что надо: сухо и не жарко...  
Когда народ копается в земле,  
а уголь к холодам готов в углярках –  
перезимуем сыты и в тепле.

В стране пока что скорби и разрухи,  
как и всегда. Во всех ее веках  
есть женщины в селеньях, есть и шлюхи,  
и кто-то угорает в кабаках,  
и мертво встал заводик обреченный,  
и честность здесь пока что не в цене...

**ПОДГОРНОВ Сергей Елизарович** родился в 1956 году в городе Анжеро-Судженске. Окончил Дальневосточный государственный университет. Работал в конструкторском бюро Владивостока. В 1987 году вернулся в Анжеро-Судженск, работал в городской газете, на стекольном заводе, сейчас – в городском водоканале начальником штаба ГО и ЧС. Автор двух книг стихов, три повести были опубликованы в журнале «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Живет в Анжеро-Судженске.

Но счастье снится пацану с девчонкой  
не где-нибудь, а в этой вот стране,  
в стране с ее теплом, ее покоем,  
в который глянешь и – заморозит.  
И что бы нам ни каркали такое –  
мы будем жить.

#### ТОТ ДЕНЬ

30 января 1956 года  
(У Пастернака)

...Все, что я помню, – день ледяной,  
голос, звучащий на грани рыданий,  
рой оправданий, преданий, страданий,  
день, меня смявший и сделавший мной.

Лев ЛОСЕВ

Нет, я не помню тот день – ну еще б!

Может быть, вьюга скакала по крышам,  
может быть, кто-то оделся и вышел  
и завалился по пьяни в сугроб.  
И пока снегом его занесло,  
и пока он превращался в ледышку,  
и пока ангелов хор не услышал –  
может, и помнил про это число.  
А, может, руки себе отморозил,  
и кто-то тер об них тающий снег...  
У Пастернака сидел человек,  
правда, еще без фамилии Лосев.

Это не то, что какой-нибудь знак.  
Рядом всегда и бутылка, и книга –  
мечется в пьяном бреду забулдыга,  
и о высоком твердит Пастернак.  
Вьюга бросается в окна жилья...

А из живой тесноватой пещерки  
в руки подставленные акушерки  
выдрался в этот день маленький я.  
Все впереди, еще все впереди,  
все мои радости и тревоги,  
все мои разные тропки-дороги...

Мама меня прижимает к груди.

### УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Заря в окне, как в раме. И окно  
из края в край украшено зарею.  
Цвет крови – он приличнее герою.  
Мне больше нравится, когда темно,  
поскольку тьма рождает миражи  
и все предметы выглядят двояко...

Худая беспризорная собака  
вдоль по Кирпичной рядышком бежит.  
Нам по сердцу с утра житье-бытье,  
ни от кого сейчас мы не зависим,  
и хоть и рядом, но течение мыслей  
у нас двоих у каждого свое.  
А мир вокруг назойливо един  
и приукрашен новою зарею...

Цвет крови – он приличнее герою,  
но мы-то никого не победим,  
мы морду никому не разобьем,  
не покусаем. Перед небом чистым  
мы ранние такие пацифисты –  
на том стоим. И движемся вдвоем.

### ПОСЛЕ ГРОЗЫ

У горизонта засверкало,  
потом придвинулось сюда.  
Забухало, загрохотало,  
у края туч сошлась вода  
и хлынула. Дома пригнулись,  
и ливень взялся за свое:  
швы переулков, складки улиц,  
окраин серое рванье –  
все начал мыть, и мять, и шоркать.  
И мял, и шоркал ровно час.  
В низинки, по канавам с горок  
поток побегала грязь...

Убрались тучи. Солнце нежит  
и ближний, и не ближний край.  
И Асинск выстиранный, свежий  
и высушенный – примеряй!  
Бери его рукой беспечно,  
бери, бери, не будь дурак!  
Накидывай его на плечи  
да повертись вокруг. Ну как?  
Весь нижний парк, бульвар Шахтеров,  
окраин драный шевиот –  
все чуть подседело. Впрочем, впору –  
потом обтянется, сойдет.

Иду вальяжный и свободный,  
Любуюсь заблеставшим днем.  
– Мадам, чего вам?  
– Что угодно!  
– А, может, за город махнем?

### ОСТРОВ САХАЛИН

Канула в далекий мрак  
яркая планета,  
где я молод и дурак.  
Несмотря на это,  
был до ужаса спесив,  
но в друзьях – счастливым..  
Полстраны исколесив,  
сахалинским пивом  
впечатлился сильно я.  
Помню – помню ясно:  
ряд бутылок «жигуля»,  
вкус его прекрасный!  
Вкус и свежий, и живой  
да и градус впору.  
«Шипки» дым над головой,  
разговоры. Споры –  
смесь отточенных гвоздей  
и воздушных башен...  
Чередуемость дождей...  
Косякам любых идей  
невод был не страшен.  
Ах ты, остров Сахалин,  
мерзкая погода!  
И Фигуркин Сашка, блин.  
Годы-пароходы.

...Асинск. Ямы. Долгострой.  
Ветер дышит в спину.  
Знаю – за Восьмой горой  
нету Сахалина.  
Знаю – нет его нигде,  
разве только на звезде.

## НЕ ДАЛИ

Нет, мы с Людмилой не рыдали,  
и я не напивался в дым —  
не дали ссуду и не дали.  
Так и сказали: не дадим!  
Не дали ссуду и не дали,  
а почему да отчего ж —  
второстепенные детали.  
Их там, в Сбербанке, хрен поймешь.  
Они дотошно проверяли —  
быть может, даже три раза,  
и что-то там наковыряли,  
и порешили отказать...  
Стою среди равнины голой,  
клин журавлей попер дугой.  
Я не беспечный и веселый  
член коллектива. Я — другой.  
По сути, видимо, — порочный.  
И те, с усмешкой на губе,  
нарыли глубже — из того, что  
я сам не знаю о себе,  
и поняли, что я — волчище,  
друг чистогана, враг детей,  
я банк и город весь обчищу —  
и те зачахнут в нищете.  
А я — туда, где на картинке  
мечты изображен кусок:  
шезлонги, свежие блондинки,  
солёный ветер и песок.

111



## ПО КИРПИЧНОЙ

По нашей улочке кривой  
с тряпичной сумкою в руке  
не прошвырнись, как сам не свой,  
с продуктами и налегке.  
И вдоль заборов и оград  
на кочках, в ямках, там и тут  
я, точно в детстве, видеть рад,  
как одуванчики цветут.  
Пасется у столба овца,  
прилеплено: «Куплю...» на клей.  
И лаца-дрица-гоп-цаца  
из обогнавших «жигулей».

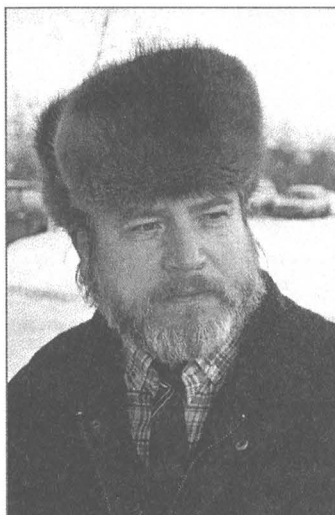
А если вечер вниз падет,  
и в телевизоры народ  
глазами в удивленье хлоп:  
какой в Испании сугроб  
в середине мая намело —  
мне до сугроба нет делов.  
И что там с газом — тоже нет,  
и что там с Грузией...  
Весь бред —  
он дальше: за Восьмой горой,  
Стеклоплощадкою сырой,  
за нефтебазою с охраной  
с шевронами на рукаве.

А здесь про это слышать странно,  
здесь звезды высыпают рано,  
и к ним здесь ближе, чем к Москве.

Поздравляем нашего коллегу, члена Союза писателей России Сергея Степановича Побокина с 65-летием. Сергей Степанович, мы знаем, что тебе сейчас приходится нелегко, поэтому от души желаем тебе мужества, здоровья, творческих сил!

## Сергей ПОБОКИН

### ДВА РАССКАЗА



#### КИТАЙСКИЙ СУВЕНИР

И какой только снеди нет на прилавках? Зайдешь в продуктовый – глаза разбегаются! Колбаса «Московская» так и зовёт раскошелиться, а «Краковская» ещё лучше! А сыры – «Голландский», «Пошехонский», иностранец «Рокфор».

В прозрачных каплях жира, словно сбрызнутые утренней росой, так и просятся в руки. А вокруг – реклама, сногшибательный дизайн, одним словом – рай земной!

А вот гражданка Клавдия Гавриленко уже привыкла не обращать внимания на это изобилие. Свои более чем скромные запросы она удовлетворяла скоро: покупала хлеб, майонез, иногда мясо и рыбу. А тут вдруг попалась ей на глаза китайская бутылка, начинённая разными лечебными кореньями, но изюминкой произведения китайских умельцев являлась небольшая змея, залитая спиртом. И стоил сувенир кругленькую сумму. Клавдия что-то прикинула в уме и купила бутылку, бережно спрятала её в хозяйственную сумку.

Муж её, Кирилл Гавриленко, уже неделю был в загуле. И Клавдия знала: проснувшись, он обязательно пойдёт к своим друзьям и продолжит гулянье. Так бы оно и случилось, но обстоятельства повернулись по задуманному Клав-

дией сюжета, правда, с неожиданной для неё развязкой.

Муж закашлял, проснувшись утром, повернулся набок и увидел... около его ног лежит, свернувшись, небольшая змея. Её чешуйчатая спинка переливалась красивым узором при свете дня. Кирилл похолодел, привычным к спиртовому нюху уловил: от неё исходит резкий дух. Пьяная! Он рванулся было с кровати, подальше от лиха, но остановила ледяная мысль: двинешься – укусит, следует лежать и не шевелиться! Однако лежать колодой долго не вытерпится, спина затекает, ноет бок. Он пошёл на риск. Бросил на гадюку подушку и пулей, сметая на пути вещи, бросился в зал, потом в туалет. Его внутренности словно подвигало к горлу, привычно наклонился к раковине.

Клавдия свернула пресмыкающееся словно верёвку и сунула в шкаф. Присела, ожидая мужа из туалета. Между супругами завязался диалог.

– Ты что с орбиты сорвался, носишься по квартире, словно мерин по полям?

– Клавдия, там на моей постели лежит змея, от неё несёт спиртом, – одними губами прошептал испуганно Кирилл.

– Ты уж совсем запился, скоро тебе померещатся пьяные черти, сходи в церковь и поставь свечу.

**ПОБОКИН Сергей Степанович** родился в 1945 году в городе Кемерово. Окончил Анжеро-Судженский горный техникум, машиностроительное отделение. Работал на химических и машиностроительных предприятиях области. Его стихи публиковались в журналах «Огни Кузбасса», «Молодая гвардия», коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Улица Синего плёса», «Русь в берёзовой строчке», «Летний снегопад» и книги прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Анжеро-Судженске.

— Моим глазам свидетелей не нужно, не веришь — погляди сама!

— И погляжу, — сказала Клавдия. Она подошла к подушке, на которую ей указал Кирилл, и перевернула её. Под наволочкой ничего не было. Кирилл выпучил глаза.

— Да как же это? Я сам видел змею!

— Вот, вот и я говорю: скоро тебе и не такое покажется, бросай пить, пока в психушку не запечатали!

— Да как же, я сам её видел, — не сдавался Кирилл. Он засветил фонарик, полез под кровать, но ничего не нашёл. И расстроенный лёг спать на тахту в зале.

И на мужика напал мистический страх. Он повернулся к спиртному спиной. На работе его друзья сразу заметили эту перемену. Попытались узнать, в чём дело, предлагали стакан и аппетитный солёный огурчик. Кирилл потерянно молчал, подумал было поведать историю со змеей — и решил — не надо. И действительно, рассказы об этом — подымут на смех! И другая неприятная мысль не давала покоя. А вдруг у него действительно «полетели гуси», ведь могут его изолировать от общества. И он горько пожалел, что среди его друзей-товарищей нет врача-психиатра!

А между тем Клавдия, довольная своей затеей и её результатами, наконец отдохнула от попок мужа. Она решила в соседнем городе навестить своих детей и понынчиться с внуками.

Кирилл как порядочный джентльмен проводил жену с подарками на вокзал. Клавдия, шагая под ручку с мужем, испытывала гордость и душевное удовлетворение: вот, всё как у людей! А Кирилл, оставшись дома один, опять запил с горя. Когда жена через некоторое время вернулась, она увидела привычную картину: взъерошенная квартира, пьяный муж на полу, на ковре.

Проснулся утром. Болела голова, спросонья показалось, что находится неизвестно где, наконец сориентировался: «Мать честная! Это ж моя родная квартира!» Успокоился. Следовало сейчас, кровь из носа, поправить голову, но Клавдия предусмотрительно спрятала деньги. Поплёл к молодому инженеру, своему коллеге, над которым он как бы неофициально держал шефство. Попросил займы, но молодой специалист развёл беспомощно руками, предложив выход из создавшейся ситуации: выпить водки, правда китайской, но добавил, что её может выпить не каждый. Это

очень удивило Кирилла: тащи, как говорится, не до жиру — быть бы живу! Хозяин исчез в спальне. Он там шумел, кашлял, отпыхивался и бормотал: «Куда это запропастилась бутылка? Наверно, Люба куда-то запихнула!» Но вскоре вышел с плоской бутылкой в одной руке и пачкой сигарет — в другой. Поставил склянку на журнальный столик и вопросительно глянул на своего наставника: нести закуску или нет? Кирилл глянул из-под припущих век на презент и, смекая, силился понять:

— Слушай, а что это там такое серенькое, корешки какие...

— Да нет. Это змея, — уточнил инженер.

Эффект от его слов произвёл на Кирилла совсем обратное действие, которое он, по правде сказать, не ожидал. Предполагал, что тот брезгливо отвернётся, в крайнем случае насупится. Но коллега расцвёл широкой улыбкой, потянулся к сигаретам. Сомнения, мучившие его, испарились. Кирилл понял: у него «гуси не полетели», он нормальный, психически здоровый мужик. И поэтому есть двойной повод выпить.

## КАК Я СТАЛ АРТИСТОМ

Как-то побывал я на лечении, на юге. Нас распределили по домам частников, сдающих жилплощадь в аренду. Море рядом, пляж, на берегу автоматы — пиво на разлив. На лечебные процедуры и столовую приходили в большой, светлый корпус. Здесь, за столиками, в непринуждённой обстановке беседовали, обсуждали местные новости и отодвигали нетронутое блюдо — кашу, густо заправленную салом. Она, эта каша, уже за неделю нам приелась. Посещали местный рынок — царство овощей, фруктов и прочей снеди. Вечерами на танцплощадке играл крошечный духовой оркестр, и пары кружились в вальсе. Как говорится, отдыхай на всю катушку, купайся в море, лови морских бычков, загорай!

Но тут нашлись пенсионеры, недовольные рационом питания.

— Что это за каша в сплошном сале?

Приехало официальное лицо разобраться в жалобе — администратор, бывший военный: полный, обритый наголо, похожий на голяк — тяжёлый валун: не за что ухватиться. Капни каплю на темя, она сбежит и следа не оставит. Он удивился:

— Чем недовольны граждане-отдыхающие? Вы употребляете пищу, в которой достаточно калорий, и живёте очень даже сытно. К тому ж с жирной пайкой легче плавать, она удерживает

тонущего в воде. А спасателей у меня всего одна единица на весь пляж. — И словно мяч, влетевший в сетку, вскочил в «волжанку» и укатил.

Мы и возразить ничего не успели.

А жизнь шла своим чередом. Ненароком я забрёл на дачные участки и увидел в одном саду малину. Ярко-красные ягоды, очень крупные. Сорвал ягодку и угостился. Потом вспомнил, что не дома, и решил купить сладкое лакомство. Тут вышла хозяйка и очень удивилась моей просьбе.

— Та бери, мужчина, сколько хочешь. Ягодой не торгую, она напоминает мне Сибирь, город Томск, домик у Томи, там жила и занималась фигурным катанием.

Наполнив половину льняной кепки, я угостил знакомых, с вином местного разлива десерт пришёлся нам по вкусу. Я частенько, уже без спроса, набирал ягоды, а хозяйка глядела на это сквозь пальцы. Среди знакомых оказался местный поэт, который сочинил песенку:

*Стою одна, сочна, красна.  
Мужчинам страждущим нужна:  
Но если зол ты, вреден, груб —  
Моих ты не коснёшься губ.*

Куплеты под гитару, исполненные в окружении отдыхающих, имели успех. А мы — я и несколько знакомых угощались: моя закуска — ягода, они покупали вино. Меня такой «общак» вполне устраивал. С хозяйкой Ольгой у нас на зрел роман. Ситуация вполне типичная на юге. Я, уже как хозяин, трепетно следил за кустами малины, вовремя подкармливая корни жидким навозом, и, не дай Бог, чужой притронется к ягоде, в чьих плодах заключались моё процветание и весёлая жизнь.

Отпуск подходил к концу. С Ольгой мы жили в мире и согласии. Я помогал по хозяйству, не могу сидеть сиднем. Раз мне взгрустнулось: попил домашнего винца и сильно окосел. Лёг в постель и уснул. На рассвете проснулся, словно кто в бок толкнул. Ольга спит рядом. Полежал немного и вышел на крыльцо покурить. Зябко. Стелется туман. Птичка тоненьким голоском выводит скромную мелодию. Сырая, тяжёлая дрёма в саду. И вдруг слышу чавканье. Я ещё не отошёл от дурмана вчерашней выпивки. Гляжу и ничего не могу понять, кто-то маячит в кустах малины, но кто? Не разгляжу... И тут меня осенило: «Да это вор — стащит ягоду, и мне не останется!»

Я крепко выругался и стал сжимать и разжимать, волнуясь, кисти рук, как гоголевский Вий, как бы готовясь кого-то схватить:

— Ах, что б тебе...

Тут на глаза попала доска, приготовленная мной для ремонта мансарды. Крепко схватил её, узким концом к себе, и стал подкрадываться к вору, не подозревавшему о моём существовании. Вот он в тёмном костюме. Развернулся я, приметился в то место, на котором сидят нормальные люди, и ударил.

Раздался нечеловеческий рёв, на меня брызнуло липким и вонючим. Вор оказался здоровенным медведем. Морда широкая, как таз, глаза красные, как ягоды малины, но только маленькие и злые. Всё, конец! За несколько секунд я попрощался с жизнью. Не побежал — это меня и спасло, а сделал сальто назад, как на тренировке в лётной учебке. Зверюга встал на задние лапы и замер, вероятно, принял меня за циркового гимнаста. Медведь, как узнал потом, был из цирка. Его хозяин-укротитель в это время спал. Как его подопечный сбежал — одному богу известно. Из последних сил бросился в помещение, где спала Ольга. Он тяжело побежал за мной. Я намного опередил его. И захлопнул дверь перед его носом.

Теперь представьте пробуждение моей пассивности. На меня страшно глядеть, вонь в комнате как в туалете. Раскрыв глаза по пятаку, она силилась осмыслить происходящее, но тут, в стекле двери, показалась эта образина. Ольга страшно завизжала, и медведь, испугавшись, скрылся.

— Куда, куда? — замахала она руками, подумав, что я хочу лечь в постель. Выскочил я — бросился в кабинку летнего душа. Вода тёплая как парное молоко. Тёрся и мылом, и песком, запах сильно въедливый. Как узнал, у медведей с испуга случается недержание. Потом Ольга сказала, что, наверно, спасаясь от медведя, я крутился как в двойном тулупе. Не знаю, спорить не буду, шубы или тулупа на мне не было, но пот меня холодный пробил — это точно!

Потом мы были на представлении в цирке. И видели этого медведя. Медведь как медведь, ловко катается на велосипеде. Он, кажется, кивнул мне. И чёрт дёрнул укротителя взять его на дачу. Так пришлось мне сыграть коротенькую роль циркового артиста, правда, не по своей воле.



## Я ЕЩЁ ВОЗВРАЩУСЬ В ЗОЛОТУЮ ДОЛИНУ

Я ещё возвращусь в Золотую Долину,  
Где меня не забыли друзья и враги,  
Где шумящие сосны уходят в пучину  
Вековой, неоглядной сибирской тайги.

Я ещё возвращусь в этот город науки,  
Где горит моя юность кленовым листом,  
Через все расстоянья, года и разлуки  
Я вернусь на заре в свой покинутый дом.

Я вернусь в сентябре, когда звёздное небо  
Над штормящим заливом опустит шатёр,  
И в награду за то, что я столько здесь не был,  
Лес расстелит цветной драгоценный ковёр.

Будет солнечный день, – может быть,  
воскресенье,  
И с Морского проспекта идя наугад,  
Я увижу, как в небе знакомые тени  
Сквозь верхушки деревьев навстречу летят.

Я услышу имён позабытые звуки,  
Голоса отдалённые в шуме листвы,  
И невольно раскрою навстречу им руки,  
В пустоту, в уходящую высь синеву.

Мы пройдем, как миры  
в параллельных пространствах,  
На мгновенье коснувшись друг друга лучом,  
И дымок сигареты растает бесстрастно,  
Когда, снова очнувшись, я вздрогну плечом.

Я зайду наугад в дверь ближайшего дома,  
Сам не зная ещё, что же будет затем...  
И какой-нибудь мальчик, сын старых знакомых,  
Скажет: «Дядя Володя, вы к нам насовсем?»

## ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

Ты только не смотри назад, Орфей,  
На Эвридику, – ведь тебе сказали,  
Что суждено навек расстаться с ней,  
Лишь ты уступишь боли и печали.

Ты просто верь, что за тобой идёт  
Неслышной тенью верная подруга.  
Опасен этот долгий переход,  
Но ты не должен показать испуга.

Представь, что впереди струится свет,  
Услышь далёких птиц призыв певучий.  
Для смертных из Аида хода нет –  
Лови, раз повезло, счастливый случай.

Представь себе, взглянув через века, –  
Тебя напишет Питер Брейгель Старший!  
Но эта перспектива далека –  
Иди вперёд, тебе уже не страшно.

Ты слышишь – Монтеверди, Глюк и Гайдн  
Тебя волшебной музыкой прославят.  
Орфей, ты только не гляди назад –  
Пускай тебя надежда не оставит.

Увы, увы, – не слышишь ты меня,  
Мой голос до тебя не долетает.  
Ты оглянулся, тень её ловя, –  
И Эвридика исчезает, тает...

## ОДНА БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ

Сегодня весь мир –  
Одна большая деревня.  
И потому все земляне –  
Мои земляки.  
Здорово, земляк! –  
Говорю я испанцу и немцу.  
Здорово, земляк! –  
Говорю я индусу и негру.  
Как жизнь, как здоровье?  
Что нового в нашей деревне?  
И мне отвечают:  
Здорово, земляк Владимир!  
Живём себе понемногу,  
Хотя хотелось бы лучше.  
А как там у вас в России,  
В сибирской глубинке? –  
И мы, слава богу,  
Живём себе понемногу.  
Захаживайте к нам в гости  
По-братски и по-соседски.  
Своим, деревенским людям,  
Всегда будем рады.  
Деревня у нас большая –  
Всех сразу и не узнаешь!  
А где-то в пещерах, я слышал,  
Живут ещё троглодиты.  
Они до сих пор не верят,  
Что мир – большая деревня.

Увидите троглодитов –  
Зовите их тоже в гости!  
Пускай убедятся сами,  
Что люди в МИРЕ живут.

### ШИЗЕР

Шизер – не лузер, не мазер, не лазер.  
Кто такой шизер? – спросите вы.  
Тот, кто вторгается властно в ваш разум  
И оставляет в нём раны и швы.

Тот, кто не даст вам ни сна, ни покоя,  
Скальпелем слова ваш ум раскроит,  
Тот, кто пред вами раскроет такое,  
Что вашу душу насквозь поразит.

Зло и добро поменяет местами,  
В логике корень безумья найдёт,  
Лёд превратит в раскалённое пламя,  
Яд превратит в свежий сотовый мёд.

Вы шизанётесь, перевернётесь,  
Сбросите шляпу, мозги и пальто.  
Вы никогда в этот мир не вернётесь,  
Вас не узнает здесь больше никто.

\* \* \*

Эпоха Гутенберга позади.  
Лишь мы, жрецы культуры уходящей,  
Ещё читаем книги, но всё чаще  
С тоскою и стеснением в груди.  
Вокруг шумит эпоха Интернета,  
CD и DVD, и дела нету,

Что миллионы драгоценных книг  
Уйдут в макулатуру не за фиг.  
Прошла эпоха глиняных табличек  
И рукописных книг – и что жалеть,  
Что потускнела переплётлов медь;  
Тех мастеров уже никто не сыщет.  
Так и о нас, смешных библиофилах,  
Потомки скажут: время их пробило.  
На скромной флэшке в десять гигабайт  
Кристаллы десять тысяч книг хранят.

### СЕНТЯБРЬ

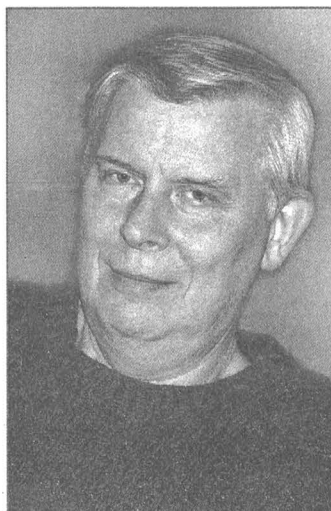
Прохладою небес окутались леса  
И, словно виноватые, примолкли.  
И стали тише птичьи голоса,  
И влагой дождевой цветы намокли.  
Так и душа трезвеет в сентябре,  
Послушная дыханию природы,  
И загодя, к назначенной поре,  
В ней незаметно что-то происходит.  
Бегут, бегут седые облака,  
И кажется – то годы пролетают.  
И стаей журавлиною строка  
Моих стихов когда-нибудь растает.

### ИСТОК ПИСЬМА

Способность видеть символы и знаки  
В узоре на камнях, в сплетении ветвей,  
На крыльях бабочки и в звёздном Зодиаке,  
И в бегах волн, и в бликах на траве  
Когда-то иероглифы родила,  
Чтоб чудо слова в знаках удержать,  
И письменность исток тот сохранила,  
Чтобы к нему могли мы припадать.



**Юрий  
ДУБАТОВ**  
**ВОИН**



Старый дощатый забор доходил мне до самого подбородка. Это был мой родной забор, от него исходила только мне понятная живая теплота. Уткнувшись носом в его шершавую кромку, я разглядывал двор – свой двор, где я провел детство и юность, откуда ушел, как говорил Багрицкий, в мир, открытый настежь бешенству ветров, которые меня основательно поистрепали.

Возле моих ног лежал рюкзак, набитый продуктами и куревом. Все это я привез из города <sup>118</sup> своему одноглазому отцу-фронтовику.

Два дня назад он должен был получить пенсию, и поэтому надо было успеть забрать большую часть денег для бытовых нужд. Ибо «окружение» отца тоже не дремало и старалось урвать свою долю. Прежде всего на пропой. Мать умерла, и батя жил уединенно. А мне от нее был дан наказ: следить за его жизнью и постараться в случае кончины похоронить его по-людски. Вот я и следил... Стоял с наружной стороны забора и следил. Вон моя родная береза, а дальше стайка, баня и погреб – все на месте. Высокое крыльцо, а у крыльца две пары резиновых шахтерских сапог. Одни брата Лёхи и еще чьи-то. Почуяли, стервятники, пенсию и толкуются у отца, выманивая деньги на бухло. И, видно, все получилось, раз сидят в доме. В моем родном доме и пьют за моим родным столом. Гады и только!

На душе было нехорошо. Это чутьё на «нехорошее» передалось мне от покойной матери

и редко когда подводило. Открыв калитку, на которой катался пацаненком, я под окнами прошмыгнул к крыльцу и вошел в сенцы. Дверь в избу была открыта.

– Да ну, дядь Мить, я тебе точно говорю, ты со своими наградами на зоне в авторитете будешь, – послышался голос Ивана Шипицына.

– Это – капитально, батёк! Ванька правильно базарит, – добавил братан Лёха.

– Какая зона, какой еще авторитет? – прорычал я у входа. За столом, увенчанным двумя пустыми бутылками и нехитрой закуской, сидели трое. Отец – в переднем углу под иконой с бумажными цветами. Ванька и Лёха у края стола. У бати из глазницы, в которую был вставлен искусственный глаз, текла бесконечная слеза, и он вытирал ее грязным скомканным платком.

– Братка прибыл? – притворно обрадовался Лёха. Ванька полез ко мне обниматься, а батя начал как-то странно подергиваться на табуретке.

– Сынок, беда-то какая у меня случилась, лейтенант два раза приходил, допрос делал. Вон, посмотри в окно...

Лёха и Ванька как-то подозрительно заторопились к своим сапогам.

Ничего не понимая, я подошел к окну на кухне и посмотрел в огород. Страх от увиденного начал сдавливать мою грудь. Сердце предательски забуксовало.

**ДУБАТОВ Юрий Дмитриевич** родился 2 октября 1947 года в Кемерове. Окончил исторический факультет КемГУ, аспирантуру и Заочный народный университет им. Н. К. Крупской. Всю жизнь посвятил работе в школе. Публиковался в журнале «Огни Кузбасса». Живёт в Кемерове.

Под окном, как на картине, стоял синий трактор марки «Беларусь». Почва вокруг него была усыпана битым стеклом. Окна и фары выбиты, капот весь иссечен и погнут.

Я все понял! Работа моего отца. Призрак наказания за содеянное витал в родном доме. Ясно и неотвратно. Мне стало жутко! Я сел на табуретку, на которой когда-то любила сидеть мать, когда чистила картошку.

– Рассказывай, – выдавил я из себя, – все рассказывай.

Это произошло так...

Весна была запоздалой. Огороды долго стояли под снегом, мокли под весенними дождями, и невозможно было от души поработать на них. А потом наступило тепло, божья благодать прямо-таки. И все заторопились вовремя «отсадиться». Надо было готовить прогрешуюся землю к зачатию.

Отец, получив пенсию, сходил, как всегда, за бутылкой водки и закондылял домой. А в это время по поселковой улице ехал на колесном тракторе молодой, готовый подкалымить паренек Серега. Вот батя и завернул его на свой огород. Убрал звено ограды, и трактор весело вкатил в пространство, где сходились все огороды соседей.

Возалкав стакан «Российской» и тоже весело закурив, батя сел на старую огуречную грядку и стал ждать, когда будет вспахан огород. В кармане лежала положенная на этот случай сумма деньжат. А между тем возле трактора замелькали фигуры соседских бабенок. Блеснула бутылка самогонки, раздавался веселый игривый смех Надюхи. И «Беларусь» покатил на другие деляны, не отпустив даже плуги в землю отцовского надела. Батя стиснул зубы и начал закипать изнутри. Разухабистый перенек-тракторист, не понимая, какая угроза нависла над ним, весело пахал огороды соседей, прикладываясь к бутылке и собирая мзду.

Закончив, он, ничего не подозревая, подумал выехать вновь через отцовскую территорию. И тут на его пути встал тот, кто прошел с боями от Сталинграда до Берлина.

– Слышь, сынок, – сказал он, – ты опусти плуги-то и вспаши мой огород напоследок, ведь это я тебя пригласил.

– Дедуля, я сильно устал, – с нехорошим смешком промямлил тракторист, потихоньку двигаясь к месту, откуда заехал...

– Так ты не будешь пахать мой огород? – вкрадчиво спросил старый артиллерист.

– Дед, вали домой, я завтра приеду... – последовал ответ.

– Нет, милок, выезжай тогда по той земле, которую пахал, здесь не проедешь, пути тебе здесь нет. Это моя земля, и ты меня обидел, ты меня сильно обидел, сынок.

– Пошел-ка ты подальше, дед!

Трактор медленно катил мимо отца и его ограды.

– Ты, сученыш! Через меня танки Гудериана не смогли пройти там, где я со своей пушкой стоял, а ты хочешь по моему родному огороду без спроса на тракторишке прорваться!

Рука старика скользнула вдоль столба и нащупала рукоять огромного горняцкого топора – это был подарок сына Лёхи.

И вдруг перед глазами полупьяного водилы стала вырастать костлявая, седая, но все еще могучая фигура русского древнего воина, вооруженного топором. И этот топор обрушился на ветровое стекло трактора.

Серега остановил трактор, проворно выпрыгнул из кабины и бросился бежать по пахоте.

119 Старик рванулся было за ним, но одумался и вернулся к трактору. Он рубил топором, пока не выдохся. Потом устало и отрешенно покинул поле боя, пошел к своей прошлогодней огуречной грядке, присел и закурил. Топор лежал рядом.

Улица замерла от ужаса, потрясенная случившимся. Она получила кошмарный урок первобытной справедливости. А ослабевший батя прилег на прогретую, покрытую старой огуречной ботвой землю и уснул.

Соседка Надька, которая в числе первых переманила тракториста на свой огород, подкралась и утащила страшный топор – как вещественное доказательство.

Так обстояло дело. И все это легло на мою душу. Весь мир казался мне кошмаром.

– Сынок, – вполне осмысленно сказал отец, – выручи меня, если можешь. Ты же знаешь, что это твоя земля, твой дом. У меня и деньги есть. – Он пошел к древнему шифоньеру и из одному ему известных глубин извлек и принес мне довольно солидную сумму, на которую можно было купить по тем временам хорошую мебельную стенку. И как только умудрился скопить... – Трать, сынок, как хочешь, только выручи меня...

Я забрал деньги и встал. Надо было спасать отца и что-то делать.

Верные гражданскому долгу соседи накатали на бату заявление и активно подписали. Один только дядя Андрей сказал: «Я против Митьки не пойду».

Трактор оказался не исполкомовским, а «левым». Но заявление ушло в районный отдел милиции, который курировал наш поселок.

Тихо иду по коридору «ментовки», покрашенному в теплый зеленый цвет. Заглянул в один кабинет – на столе какое-то одеяло и старый баян. «Конфисковали, что ли, – машинально подумал я, – или отняли ворованное...»

Дверь в следующий кабинет оказалась открыта. Зашёл в небольшой тамбур, еще одна дверь. Тихонько толкнул плечом и посмотрел в образовавшуюся щель. За столом – старший лейтенант, курит, листает какие-то бумаги. Под моим взглядом поднял голову, и вдруг я почувствовал, как жуткий, сладостный комок подкатил к моему горлу. Так у меня бывает, когда я смотрю фильм «Чапаев», тот момент, когда у Анки кончились патроны и она перебирает пустые пулеметные ленты, а оттуда, издалека, на весь экран начинает нарастать метущаяся по ветру бурка Чапаева.

Слезы заполнили глаза. За столом сидел мой родной ученик Славка, которого лет десять назад я выпустил в жизнь, являясь его классным руководителем.

– Митрич! Никак ты? Ты почему здесь, в этой конторе? Да ты что? Ты плачешь, что ли? Тебя кто обидел, а? Если блатари, порву в куски за тебя.

Я присел к столу и, вздрагивая от нервного напряжения, всё ему рассказал. Слезы продол-

жали предательски показывать мою человеческую слабость. Я плакал.

– Да-а-а, – протянул Славка, – ну дед, ну дает. Слушай, а этого козла он топором не зацепил?

– Нет, – отозвался я, – убежал.

– Мне заявление не поступало, очевидно, Валентина дежурила. – Он выдвинул ящик стола и вытащил пачку бумаг, порылся. – Вот оно, дорогой ты мой Митрич, – мы рассмотрели «заявку». Славка взял толстую канцелярскую книгу, в которой отмечались заявления трудящихся, и полистал ее. – Митрич, а заявление – тютю, не отмечено здесь. Валюха замоталась, видно, идут и идут по всяким вопросам.

Славка взял листок, разорвал его на части и сунул себе в карман.

– Дальше, Митрич, мое дело. Если заявители поднимут шумиху, скажу, что «заявка» ушла на рассмотрение, возьму грех на душу. А ты поглядывай за своим батей. Пристращай его сроком, чтобы не духарился. Да помалкивай, смотри, обо всем этом... А я совсем недавно, когда мне старлея дали, думал, хоть бы тебя встретить, похвалиться «звездочкой» и поговорить, вспомнить, сколько ты от нас, пацанов, натерпелся. Ну и классик был, Митрич – как одна мама родила, один одного хлеще... Пойдем-ка перекусим, здесь неплохо кормят. Я и не подумал бы, что ты плакать можешь. Пошли, я угощаю, дорогой ты мой, классный руководитель. Ну дед, дал звону, вояка хренов. Помнишь, как ты нам Есенина читал «Расея, дуровая зыбь твоя...» Это же надо а, Митрич, «через меня танки немецкие не смогли пройти». И ведь нашел, что сказать этому шакалу. Такие вот только и смогли заделать фашистам козью морду. Иначе не устояли бы. Пошли, Митрич, есть как удав хочю...



Гарий  
НЕМЧЕНКО

**«ОПЯТЬ САМ СЕБЕ»,  
или «ПРИСОСАНЦЫ»**

Очень странное, некое двойственное ощущение испытываю, начиная эту работу.

Сегодня 10 апреля, эта пора в Новокузнецке очень хорошо помнится, наплывают и воспоминания далеких теперь отсюда времен, и дней не столь давних... Наслаиваются одно на другое, подрагивают, как первое марево весеннего тепла, помаргивают и, конечно, тревожат, но тревога эта счастливая: может, примерно с таким же, недоступным нашему пониманию трепетом собираются по весне лететь на родину птицы.

А тут – собралась душа.

Сколько благодарного тепла, сколько редко высказываемой нежности накопилось в ней ко всему существу на дорогой сердцу Кузнецкой земле и ко всему вроде бы неживому, но так давно в Кузбассе одушевленному и общим невероятно тяжким трудом, и печальными общими заботами, и нечастыми радостями...

Но вместо того, чтобы обо всем этом рассказывать, объясняться, по сути, в давней и неизменной, неизлечимой любви к «стране своей молодости», придется – да простится мне это грубоватое выражение новостроечных лет! – копаться в дерьме.

Что делать: и крута гора, а миновать нельзя.

Полгода назад мне пришлось писать предисловие к сборнику рассказов бывшего шахтера, а нынче «коксохимика» с родного мне Запсиба Николая Ничика, и его одинокий голос против разобщившего новокузнецких писателей, все подчинившего исключительно коммерческим своим интересам Бориса Рахманова стал для меня, давнего патриота нашей,

не однажды мною воспетой «Кузни» горьким укором: разве я сам этого не видел?

Более того: не при моем ли личном участии его карьера и начиналась?

Меня, что называется, прорвало, но, как почти тут же выяснилось, – не только меня.

Предисловие к книге Николая Ничика напечатали – спасибо, кемеровские собратья, за понимание и поддержку! – в «Круге чтения» газеты «Кузбасс». И вот как на это тут же откликнулся в «Городском дневнике», который он ведет в «Кузнецком рабочем», Валерий Немиров: «В четверг наконец прочли статью Гария Немченко в «Кузбассе», вызвавшую бурные эмоции у местных литераторов. То, что он выплеснул на страницы областной газеты, кто-то называет «чистой правдой», кто-то «помоями». Нас звали на собрание местных писателей – тех, кто против статейки (огромнейшего размера, между прочим). Но резону писать нам – третьим, по сути дела, лицам – об этом нет. Хотя мы знаем того человека, на котором оттоптался Немченко (и на наш взгляд оскорблений много, но ни одного факта не присутствует). И не думаем, что все обстоит именно так, как изложил Немченко. Но, повторяем, не собираемся лезть не в свои дела».

Ну, не высший ли пилотаж иезуитства?

127 Хотя и мельком, и вскользь, но то, что надо – все сказано. «Смазал» походя.

Так и хочется смахнуть со своего плеча нечто, оставленное ну, прямо-таки барственной рукой... эх, ребята-ребята!

Да почему – «не свои дела»? Живете на Марсе?

Или – в другой стране, во всяком случае. Потому что жить в России, с которой Новокузнецк связан тысячами нервных окончаний, и не ощущать этой взаимозависимой боли, от которой давно уже криком кричит русская культура, – ну, как можно?

«Хотя мы знаем этого человека...»

Ещё бы не знать!

Кто ему славу создавал? Кто пестовал? Кто потворствовал?

И – почему, почему?!

Если в отделе периодики Национальной библиотеки в Москве, бывшей «Ленинки», перелистывая страницы газет родного Новокузнецка, натыкаюсь на нижеприведенный шедевр, то там-то он известен куда раньше: ваши «лудильщики» его и создали!

**«НОВОКУЗНЕЦК – ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ**

Вклад новокузнецчан в отечественную культуру получил признание. Поэт-сатирик, член Союза пи-

сателей России, директор издательства «Кузнецкая крепость», выпустивший более ста книг стихов и прозы, краеведческих изданий, Борис Рахманов стал обладателем золотой медали Российской академии наук.

Биография и информация о его достижениях вошла в библиографический справочник «Кто есть кто» вместе с именами руководителей интеллектуальных проектов, авторов известных книг, академиков, общественных деятелей... Впрочем, знаковой эту награду Борис Рахманов не считает. Много лет возглавлявший Новокузнецкое отделение Союза писателей России, сейчас являясь его почетным председателем, он, можно сказать, открыл многих новокузнецких авторов. А издательство «Кузнецкая крепость» – своего рода знак качества.

Хзщ – Мне ни за одну выпущенную книжку не стыдно, – говорит Рахманов».

В том-то и дело, что ему не стыдно!

Чувство стыда ему чуждо, как нынче принято обозначать, «по определению». А многим из остальных?

«Седьмая книга кузбасского поэта-сатирика» – написано на последней страничке крошечного – Господи, хорошо, хоть, что так! – сборника Бориса Рахманова «Плохемы», вышедшего в «Кузнецкой крепости» в 1999 году.

В сборничке четыре раздела, один другого безвкусней и беспомощней: «Алкофемы», в котором он неблагодарно обличает пьющих коллег, титанов, по сравнению с ним самим, – так бесконечно долго терпевших его титанов; «Зарубежное» – чтобы оценить всю скудость мысли и бездарность автора, это надо читать; «Якобы» – на нем ниже остановимся; «И др. и пр.» – на этом даже и останавливаться не стоит.

Но вот изыски из «Якобы», посвященные нашим литературным предшественникам – русским гениям.

«Александр Сергеич Пушкин / макароны не любил. / Пил из кружки со старушкой, / а Дантес его убил».

Как бы сказали на нынешнем жаргоне – «не хило»?

«Михаил Юрьевич Лермонтов / много понаписал интересного. / Опохмелялся вермутом, / царствие ему небесное».

Чем дальше в лес?..

«Иван Сергеевич Тургенев / стрелял по уткам из ружья. / Любил севрюжные пельмени / и девок полюбил лежмя».

Может, хватит?

Хоть есть ещё столь же хамское и о Толстом: «Лев Николаевич Толстой / был поначалу холостой. / Потом возрос и возмужал / и баб окрестных обожал».

А вы, дорогие мои земляки, полагали, что «копаться в дерьме» в начале этой статьи я употребил в переносном смысле...

Кабы!

Ну, да черной работы никогда не боялся: недаром одним из самых близких моих друзей на нашей «ударной комсомольской» был главный механик жилищно-коммунальной конторы Юра Лейбензон, «главный сдергиватель», как торжественно величал его Гена Емельянов: светлая вам обоим память, верные, чистые душой соратники!

А как же тогда, спросите, – с этим сборником «Кто есть кто», с «руководителями интеллектуальных проектов», «академиками», «общественными деятелями», с академией наук, в конце концов, отвалившей Рахманову золотую медаль?

Во Владикавказе, в издательстве «Ир», только что вышла моя книжка «Счастливая черкеска»: о моем покойном друге-осетине Ирбеке Кантемирове, народном артисте СССР, знаменитом цирковом наезднике. О Великом Джигите. Знатоке национального этикета. Хранителе горского кодекса чести.

Но в такое подлое время живем, что наряду с понятиями самыми возвышенными в текст пришлось ввести и новое, малоприличное: *присосанцы*.

Слово это Валерий Немиров прочитает скорее всего впервые, но неужто так-таки незнаком с самим явлением *присосанства*?

У кого-то оно – от лишних денег и желания славы, у кого-то – от болезненного комплекса неполноценности. А если – то и другое вместе?

Не знать этого сегодня даже для самого среднего журналиста, «рядового бандита пера», как поется в известной песне «Ночкой темною...» – нехватка профессионализма. Но не только для него.

Передо мной – напечатанная в «Кузнецком рабочем» под рубрикой «Открытое письмо» большая статья начальника управления культуры Новокузнецка Михаила Маслова «О легкости в мыслях необыкновенной», в которой в первом абзаце он заявляет: «...по роду деятельности всю жизнь я занимаюсь вопросами культуры...»

И невольно думаешь: может быть, как раз это и является трагической для Новокузнецка ошибкой – такое самомнение начальника?

Тут же мне могут возразить: а как же тогда достигшие заслуженной славы коллективы, как многое другое, чем город в этом отношении славен?

Приходится вспомнить эту знаменитую фразу, над которой мы, бывало, раньше посмеивались: «Этот народ не сломить!»

И уж если с «чувством законной гордости» – ещё один штамп тех времен – наблюдаем сей факт по всей матушке-России, то почему же должны были сдаться наши закаленные холодом-голодом, как только и когда только не угнетаемые чиновником сибиряки? Да где еще, где – в знаменитой на всю страну упрямой Кузне!

Где так крепка народная закваска, где характер чуть не из каждого прет, как черемша по весне.

Россия – родина парадоксов, если хотите. Многие в ней происходит не «благодаря», а «вопреки».

«Наша городская организация Союза писателей... на высоком уровне проводит семинары и учебу для детей, юношества и взрослых, в том числе за пределами Новокузнецка и Кемеровской области», – пишет Маслов.

Вас устраивает «уровень» приведенных выше стихов Бориса Рахманова?

А если семинары проводят другие – высокопрофессиональные и высокодуховные – люди, то впору задуматься: а как же они себя под патронажем этого беспардонного графомана чувствуют? Комфортно ли им живется? Или – безрадостно?

Любу Никонову помню ещё девятиклассницей, принесшей мне ранние стихи – ну, прямо-таки «жестокые романсы». Будучи уже известной в литературном мире, она писала, что ушла из нашей квартиры на проспекте Советской Армии на Антоновке с затрепанным, в новодельном переплете, томом библиотеки... светлая память дедушке Савелию Константиновичу Шварченко с тихой Монашки на Средней Терси и его незабвенной «баушке» Марье Евстафьевне, подарившим мне эту библиотеку!

Любины стихи я, словно курьер, разносил потом в Москве по редакциям и чуть не на каждом литературном перекрестке громко заявлял, что она – одна из лучших русских поэтов... поэтов, да – именно так называет себя кабардинка Балагова, тоже Люба, тоже талантливый человек, на вечере которой в Нальчике только что имел честь присутствовать.

Но вот что грустно: когда в Новокузнецке у Любы был юбилей, то в своей «тронной» речи она сказала, что пробиваться к читателю ей никто и никогда не помог.

По законам околотературной стаи, которую сколотил Рахманов, она просто не могла ничего иного сказать, потому что законы эти, кому как не Рахманову это знать, на дух не принимаю, а бедная Люба – какие были годы, припомните! – только в ней и могла обрести копеечку на житьё... да что же за подлое время, Господи!

В том-то и штука, что ясно обозначившаяся в последнее время криминализация литературы губит её возвышенный, горный дух и прежде всего развращает слабых – это как раз не о Любе, нет! Мы с ней если не всё, то многое понимаем одинаково: внутренняя, невидимая миру, но сокровенная связь куда прочнее внешних «телодвижений».

Но каково ей, страдальце, в нашем грубоватом городе «угля и стали» жить «с пера», как говаривал Александр Сергеевич Пушкин?!

Представляю, как дрогнет ещё одно женское сердечко: известного теперь критика Русланы Ляшевой, бывшей электросварщицы с нашей стройки, которую мы когда-то всей нашей редакцией уже несуществующей нынче газетенки «Металлургстрой» отправляли на факультет журналистики МГУ с трогательным письмом к вечному декану Ясену Николаевичу Засурскому.

123 Буквально влюбленная в прозу Яброва, о которой я тоже самого высокого мнения, она готова прощать «Кузнецкой крепости» все что угодно: лишь бы в альманахе печатали Толю.

Но разве Рахманов это делает из эстетических, подобно чуткой Руслане, соображений?

Хорошо выверенная интрига. Политика «кнута и пряника».

Разделил и – властвует.

С умильными речами о нашем общем с ней старом друге, с которым тоже, убежден, многое одинаково понимаем и мелочи взаимно прощаем – ради Неё, Русской Литературы ради – Руслана вручает мне привезенный ею из Новокузнецка номерок альманаха: мол, ты только посмотри, как Толя стал писать!

Но что поделаешь: старый, очень давно уже съевший в своем деле собаку профессионал, тут же гляжу, что и как пишут другие...

У Гены Емельянова было много эмоциональных выражений, которые остались в наследство нам всем, его знавшим. Одно из моих любимых – «вместо волос – перья». Признак великого изумления, да.

Так вот, «вместо волос перья» у меня выросли, когда прочитал подборку стихов Николая Бельчегешева (Койи Белчека) и на соседней странице, на

развороте, как бы в ответ – стихи Любви Арбачаковой, которые так и названы: «По следам Койи Белчека». И то, и другое – в «переводе с шорского Бориса Рахманова».

Вот лишь кое-что из этого трепетного разговора «мужчины и женщины»:

Он: «На мягком / Ложе / Ты, как пьяная, / Лежишь, / Моим / Золотым / Жезлом / Играешь».

«На ложе / Пуховом / Ты уже / Без сил. / Мой золотой / Жезл / Неутомимо / Весел.»

«В красивом / Зеркале / Отражается / Много лиц, / Мысли мои / Не знают, / Свой золотой / Жезл / Куда поставлю.»

Но не слишком ли высокого мнения о своем «золотом жезле» явно подставляемый «переводчиком» шорский Ромео?

Она: «Напрасно / Твой / Золотой жезл / Играет / Мой / Волшебный цветок / Его / Не ждет.»

«Играя / Твоим золотым / Жезлом, / Что-то / Неметаллическое / Почувствовала / Вдруг.»

И вскоре – через два стиха – следует совет-просьба: «Не пей / Огненную / Водицу, / Будет / Твой / Золотой / Жезл / Болтаться / На ветру.»

И все – так многозначительно, и чуть не каждое слово – с отдельной строки.

Уж не эти ли стихи посылали в Академию наук на соискание золотой медали?

Золото к золоту – оно и понятно!

И с городским отделом культуры все ясно: хоть давно положили на тебя «жезл», ну, да ведь зато – золотой!

«Шорская защита» – конек Рахманова. Прикол, как бы сказали молодые. Или, как глобалисты сегодня, – брэнд.

Вот «Сокровенное слово», записанное Натальей Каменево и помещенное год назад в «Кузнецком рабочем».

«Новокузнецкая писательская организация, по словам председателя Кемеровского областного отделения писателей юга Кузбасса и секретаря правления Союза писателей России Геннадия Косточакова, является правопреемником образовавшейся в 1962 году Кемеровской областной писательской организации, в отличие от вновь образованного «Союза писателей Кузбасса».

Прочитал и сначала рассмеялся: не смешите «волшебный цветок», ребята – с каких это пирогов?

А потом, потом...

Ну, кто такой, и действительно, там, «на севере Кузбасса», Владимир Мазаев? «Жалкая и ничтожная личность» (из словаря Гены Емельянова).

Нет, ну, правда?

Есть ли хоть какой-то намек на его презренное имя в этой книге-то: «Кто есть кто»? Нету! А золотая медаль академии наук? Да в жизни не видать ему этой медали!

Скрипит себе потихоньку и скрипит перышком уже какое десятилетие, молчун этакий! А толку?..

А кто такой, если хорошенько приглядеться, тот же Виктор Баянов? А Геннадий Юров?.. А Бурмистров Борис? Такая же темнота! А Гержидович? Тайга глухая! Недаром же в ней там и живет. А...

И сколько ещё не только мне дорогих имен, сколько беззаветных и терпеливых, сколько самоотверженных тружеников можно было бы тут ещё перечислить! Сколько прошедших проверку подлым временем бессребреников высшей пробы – должны же быть на Руси и такие?

И – есть.

Но как же все вместе вы позволили сесть себе на шею этому проходимцу... мы!

Потому что меня-то он первого и огорготал: есть такое старинное словечко из лексикона родной моей станицы.

Но, может, пора бы и честь знать?

Не самому ему, нет: тут-то о ней и речи быть не может, о чести.

Взываю к его защитникам и пропагандистам: и в той или иной форме получающим за это большую или малую мзду, и – попросту обманутым по доверчивости, незнанию либо неведению.

Интуицией старого волка чую, как скрипят уже, скрипят подмазанные таежными снадобьями из горношорской тайги столичные перья, как отрабатывают в «белокаменной» рахмановскую «предоплату» из тех средств, которыми он когда-то обещал ошастливить обездоленных в полунищей провинции литераторов...

Но сколько, милые мои, можно терпеть?

Сам тоже – не знающий языка оригинала переводчик, и сколько мне пришлось преодолеть, сколько перечитать, сколько, что называется, перелопатить, и сколько переварить и осмыслить, чтобы достойно помочь молодой братской литературе: адыгейской. Роман Юнуса Чуюко «Сказание о Железном Волке», о котором часто шутивно говорю, что появлением своим он обязан нашей Кузне, где давно привыкли иметь дело с железом, с благожелательнейшим предисловием Валентина Распутина в свое время опубликовала «Роман-газета»: оба мы с Юнусом были удостоены премии «Образ». Сегодня он – Народный писатель Республики Адыгея, о его

творчестве написаны монографии, защищены докторские диссертации.

Два года назад в Адыгее вышла моя книжка рассказов «Газыри»: о взаимном влиянии, о взаимопроникновении соседних культур... Но где же все это в описанном выше случае с двумя «обласканными» Рахмановым шорскими поэтами – Койей Белчком и Любовью Арбачаковой?

Да ведь не помощь это, а чистой воды компроматация. Услуга из разряда медвежьих.

В самом конце своей книжечки «Плохем», там, где обозначаются выходные данные и ответственные за выпуск, под выделенным шрифтом покрупнее «Редактор» кокетливо обозначено курсивом: «опять сам себе».

Сам пишет, сам себя редактирует, сам себя издает, сам себе гонорары выписывает...

Ну, и – соответственно – сам себе покупает за труд сей тяжкий награды: нынче и-их! Были бы деньги.

Когда-то при больших писательских организациях были должности завхозов, и занимали их, как правило, беспросветные графоманы, верой и правдой служившие поэтам и писателям с членским билетом Союза, для них – небожителям...

Иногда эти небожители спускались на землю, от щедрот своих поправляли всем миром бездарные завхозовские стихи или бездарную его прозу и раз в пять, а то и – раз в десять лет издавали коллективное свое творчество под фамилией страдальца: кормильца своего и поильца.

Но времена круто изменились.

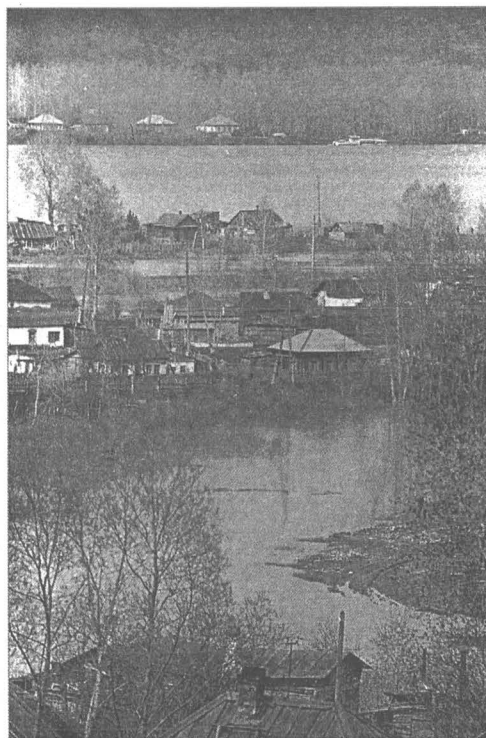
Кормильцами и поильцами сделали сами профессиональные литераторы, а все гонорары и вся слава – штатному завхозу, который в зависимости от местонахождения его единоличной кормушки и степени собственной наглости называет себя то почетным председателем, как в случае с Рахмановым, а то и – Председателем с большой буквы...

И так оно теперь по всей матушке-России...

г. Майкоп – Москва



## Домашний архив



Юрий Дьяконов. Заречные улицы. Кемерово

## Надежда ВЕСНИНА

### ЗЭЧКА

#### Из рассказов тётки Зины

Тетя Зина прожила тяжелую жизнь, перенесла операцию, чуть не умерла, лежала в реанимации. Собственно, операция-то распространенная: удаление камней из желчного пузыря, скольким ее делают такую, и ничего, а вот ей не повезло с хирургом. Бывают плохие врачи, если это терапевт, то не так страшно, а вот если плохой хирург... вот и ее оперировала такая. Не хотела тетя Зина идти под нож именно к ней, а куда деваться? Ее успокаивали, мол, ничего, обойдется, но не обошлось, последствия операции оказались тяжелейшими. Она истекала гноем, пролежни были большие, ведь лежала несколько дней без сознания, без движения, а уход минимальный, в обязанности персонала, видно, не входит оказание услуг такого рода.

Когда же очнулась, насмешила все отделение. Едва открыв глаза и видя только потолок, она, еле смочив пересохшее горло слюной, прохрипела: «Война в Чечне закончилась?» Врач и две медсестры, работавшие у постели своего больного сотрудника, сначала не поняли ничего, стали оглядываться, а когда увидели очнувшуюся больную, засмеялись: «Нашла о чем беспокоиться! Радуйся, что сама очулась!»

Она, уже довольно пожилая женщина, сохранила ум и память, считает в уме так быстро, что за ней не угонишься. Политикой интересуется. Однажды звоню ей в дверь, дачу купила, хочу с ней радостью поделиться, она открывает и с ужасом: «Рохлина убили!» Тогда не каждый знал, кто такой Рохлин, я не знала, а она знала. Отменная повествовательница, она рассказывала о себе, о своих родных, знакомых и незнакомых людях так, что можно было слушать и слушать, плакать и смеяться. Я всегда ужасалась

тому, как провела она свои юные годы, какую жуть ей пришлось пережить. Вот ее рассказ.

Мы жили в деревне Зудилово бедно, колхозники, вечная гольтьба да нищета, но у нас хоть корова была, и получалось, что жили мы чуть получше других, потому что мама хозяйство вела рачительно, все у нее разложено было по полочкам. Чтобы молоко не портилось летом, весной в погреб снега накидаем, утрамбуем, и прохладно в нем почти весь сезон. Это специальный погреб был для молока, простокваши, кваса. А в другом – картошка, капуста в кадках, помидоры, огурцы, тогда все кадками солили. Детей в нашей семье было много: четыре брата и две сестры, в деревне тогда не знали никакого предохранения: сколько получалось, всех и родили. Умирало много. У мамы двое умерли.

Отец мой Александр Егорович в 1937 вдруг оказался «врагом народа», скотник, не отходивший от коровника почти круглые сутки, не выпускавший из рук лопату и вилы, чем-то, видите ли, навредил своему народу. Может быть, навоз не так далеко откинул, как хотелось бы партии, или копнул не так глубоко, как хотелось бы правительству. И вот взялись его «таскать»... То посадят, то отпустят, то опять посадят... И так несколько раз, пока Калинин не издал указ, чтобы колхозников не трогали. Мол, даже если ты и враг, но колхозник, ступай работай, все равно от тебя больше толку в колхозе, чем в тюрьме.

Мама моя Агния Никаноровна работала бригадиром-овощеводом «за палочки», как и все: за каждый рабочий день ставили три палочки. В конце года колхоз подсчитывал то, что наработал. Зерно, овощи, мясо, шерсть сдавались государству, закладывался семенной фонд, а то, что оставалось, делилось на сумму всех «палочек». Получалось по 200, 300 граммов зерна за палочку. Один только раз, мама говорила, вышло по 900 граммов, это было очень много, совхоз тогда потрудились на славу. Но это вовсе не значило, что все выдавалось зерном. Да, какую-то часть – зерном, неочищенным, фуражным, а остальное овощами, сеном, соломой.

Наш совхоз назывался «Труд Ильича», почему так назвали совхоз – неизвестно, ведь вождь никогда не пахал и не сеял, это-то я точно знаю. Писал много да бревно однажды поднес на субботнике. Маму в совхозе ценили, потому что имела голову на плечах, умная была. К ней люди за советом приходили, она и на картах гадала. Жили тогда все плохо, голодно, но мать умудрялась поворачиваться, даже иногда сама брала в совхозе то, что, как она полагала, причита-

лось за каждодневный, многочасовой, без выходных и отпусков, труд. А проще говоря, подворовывала. Ребятишками мы тоже работали в совхозе: сажали, полости, собирали. Все школьники работали бесплатно. Мама знала, конечно, что за каждый угаённый колосок наказывают, но рисковала, семью кормила. Вечером забежит, бывало, и скажет:

– Зинка, приходи ночью к амбарам, зерна насыплю, я караулю.

Ночами она еще сторожила склады. Вот за это совхоз платил ей немного денег. Но все деньги уходили на уплату налогов и на облигации. Облигации насильно заставляли брать, а где денег взять? Вот и приходилось ей по ночам прирабатывать. Часов в двенадцать выхожу из дома, плетусь по ночной деревне, а нигде ни огонька, темень непроглядная, все спят уже давно, электричества же не было, а керосин не достанешь. Подхожу к амбарам, а она уже ждет и мешочек мне сует, я поворачиваюсь и домой бреду. По темноте, по грязи, далеко, километра два, и спать охота... но делать нечего – нужно. А утром мама забежит, чтобы в рот какую картошку положить, спрячет украденное, или лучше сказать, чтобы не так уж преступно звучало – добытое, и еще раз накажет, чтобы ни одной живой душе! Не дай бог, кто узнает, все по сроку заработают.

Однажды овца совхозная от стада отбилась и бежит огородами. Мама ее схватила, во двор толкнула, связала, шустро остригла да обратно вытолкнула. За пастуха потом как-то заступилась, вроде бабы чужие бродили около деревни и остригли.

Четыре мои брата были отчаянными ребятами. Трех на войну забрали, один из них геройски сражался и погиб под Сталинградом, а двое вернулись с войны живыми. Четвертый брат работал на паровозе, тоже для фронта, для победы: его паровоз ходил до самой фронтовой полосы. Сестра Анистья трудилась в сельском совете.

Я начала работать на ХБК (хлопчато-бумажный комбинат) в Барнауле с 17 лет. Трудно приходилось. Рано вставала, поздно домой приезжала, на две смены часто оставляли. Денег копейки платили, я ведь в ученицах ходила. Два раза бязи по полтора метра брала, сошло с рук, я и обрадовалась. Тогда почти все брали, а где все, то и не страшно. Обмотаю вокруг ноги, валенок надену. Нормально. Через проходную прохожу, вся сожмусь, а как пройду, такая радость распирает, гордость за себя, добытчицу. У сестры только что ребенок родился, вот ей и носила, пеленок-то никаких, материал тогда не продавали. Старых тряпок не было, всё прирвалось,

спали без простыней, без наволочек, а белье исподнее все чиненое-перечиненое.

Два раза принесла домой, мама меня предупредила: «Смотри, Зинка, сталинский указ вышел, за воровство очень строго судят, больше этих тряпок не приноси, посадят. С меня пример не бери, я, если попадусь, отбрешусь, председатель ко мне хорошо относится». И я дала ей слово, что больше не буду брать. Но не миновала меня чаша сия... Ту проклятую ночь я навек запомнила. Смена кончается, а Лиза, наша, деревенская, которая помогла мне на работу устроиться, подходит и говорит: «Пошли на зарядку, Зинка», так это у нас называлось, зарядить, значит, оторвать ткань и намотать ее на себя. «Нет, – говорю, – Лиз, больше я брать не буду, мама меня стращала, закон какой-то строгий вышел, если поймают, осудят и засадят». А она: «Чо ты такая, Зинка, люди вон тюками тащат, а ты полметра взять боишься». Я постояла, подумала: «Ладно, последний раз возьму».

Вот на последнем разе и попалась, конец мне пришел. Оторвала я, обмотала бязь вокруг ноги да валенок надела. И то ли походка меня выдала, то ли кто увидел да на вахту передал, только охранница сразу ко мне подошла, ощупывать начала, дошла до валенка, почувствовала, что там твердо, мой пропуск прижала к своей груди. Непроизвольное такое движение сделала, крепче уцепилась в него и прижала. Я потом часто думала, что бы мне пропуск тот у нее из рук вырвать да назад бежать в цех, выбросить этот кусок. Она бы пост не бросила, не побежала бы за мной, люди вереницей шли со смены. Но умная мысль всегда приходит опосля. Она тут же на кнопку нажала, охранник прибежал, увели меня, составили акт. Когда тряпку-то развернули, то прямо в середине ее – полоса непротканная – брак. Я думаю, поди, за эту тряпку бракованную не посадят, из нее ведь ничего не сошьешь, только на тряпки и годится, но охранники даже и не отметили, что она бракованная. Милицию вызвали, те быстро прикатили, видно, это у них уже давно отработано. Может, охранникам премия полагалась, если они вора выловят. Я от страха ума лишилась, все внутри оборвалось, трясусь, слова не могу сказать.

Повезли меня в КПЗ на Новом базаре. И начался ужас, ужас, который длился бесконечно. Я плакала и плакала, представляла беспокойство своих родных: Зинка домой со смены не приехала. Ну еще прождут день, подумают, что на другую смену оставили. А потом подумала: Лизка им расскажет. Но не могла глаз сомкнуть, в них как песок насыпали. В камере 15 женщин, а за стеной мужики сидели. Спрашивают друг друга, кто за что сидит. Кто за бул-

ку хлеба, кто за картошку гнилую. Одна женщина говорит: «Я за тарелки сижу. Освободилась только, родственников у меня нет, идти мне некуда, зашла я в столовую, взяла три тарелки, специально, чтобы меня увидели и поймали, мне все равно жить негде». Этот случай я никогда не забуду.

Вызвали на допрос, следователь издевался, спрашивал, зачем мне понадобился материал и часто ли я воровала. Не помню я, что лепетала, еще не могла войти в реальность, представить, что надо готовиться к худшему. После допроса повезли меня в тюрьму ждать суда. Эта тюрьма на горе была. В камеру свет проникал, но перед окном заграждения пристроены, тоже из кирпича, чтобы мы не видели ничего из окон. Была у нас в камере блатная одна, Галка Каварская, так ей мужики кричали: «Галка, Галка!», она отвечала, а те, кто первый раз сюда попали, сидели, помалкивали. В камере нары, кто на нарах, кто на полу, места на нарах всем не хватало. На нарах общий матрас и общее одеяло, от стены до стены. Все ложились на матрас плотно на один бок, как шпроты в банке. И, что интересно, как по команде переворачивались на другой бок. Начнет одна поворачиваться и все за ней.

Суд был короткий. Быстро тогда судили. Защитника мне не дали, не полагалось. С работы тоже никого не было, подумаешь, ученица попалась! Теперь они в стороне, их работа – поймать, вызвать милицию, а там хоть трава не расти. На суд мать с сестрой приехали, сидели у стенки, плакали втихомолку. Еще какие-то люди присутствовали, я не знала никого, но народу было мало. Судья, заседатель да секретарь, вот и вся судейская бригада. Судья строго так спрашивает:

- Гражданка Демина, зачем украла матерьял?
- По тупости да по глупости, – отвечаю.

Потом-то часто думала, зачем такой ответ дала? Если бы сказала, что бедность замучила, тяжелое время, что у сестры ребенок маленький, а завернуть не во что, пеленок нет, распашонок нет, может быть, мне и не дали бы такой срок. Может, судье показалось, что я нагло держусь, будто я – воровка завязтая. Напугана была до умопомрачения. Или, может, судейские все заранее решили, они даже и совещаться не уходили. Так, перешепнулись между собой... я еле стою, свет побелел, держусь руками за барьерчик, а он гладенький такой, как отполированный. Я подумала еще, сколько же здесь людей стояло, если его так отполировали. Судья встал, да как бухнул:

– Гражданка Демина, за хищение государственной собственности вы приговариваетесь к семи годам исправительных работ.

У меня внутри все оборвалось. Колени подогнулись, а руки, наоборот, в барьер тот проклятый вцепились. Мать с сестрой криком зашлись, мать рыком зарычала, видно, голос уж весь надорвала, один рык и остался, и сестра заплакала. Мне и так тошно, а тут они еще добавляют. Два конвоира подходят меня отвести, но я не могу с места сдвинуться. Они тянут меня, а руки будто к барьеру пристыли. Тогда они с силой тянуть меня стали. Мама и сестра сильнее зарорали, а тут и я присоседилась, прорвало. Судье надоело рев слушать, он злобно так конвойным махнул, очищайте, мол, зал быстрее. Меня оторвали от перил, поволокли в одну сторону, а родных моих в другую. Вот так, по тупости да по глупости, семь лет мне и воткнули.

Пересыльная тюрьма в Барнауле, на жилплощадке. Перегнали нас с горы поближе к вокзалу. Там сидели все осужденные и готовились этапы, кого куда. Ужас мой удвоился, утроился, удесят�ерился. В камере более ста человек. Помещение небольшое, одно окно, еле пропускающее дневной свет, нары, параша в углу. Я не представляла, как мне справлять нужду на виду у толпы. Это вонючее приспособление придумано специально для того, чтобы унижить и подавить человека. Места было очень мало, люди валялись на склизком полу, нечем было укрыться, нечего постелить под себя. Хорошо, что никто не приставал, меня наверх женщина одна позвала. Были, конечно, и стычки, но меня они как-то не касались. Сидели всякие, но в основном такие, как и я: тоже попались по дурости. Родных вспоминали, представляли, что сейчас делают они. У некоторых детки малые остались, родители, мужья, хозяйство. Как на душе было муторно: такие огромные сроки получили, вернутся ли, дождутся ли их родители и мужья? Даже если и вернутся, на воле все по-другому будет: дети вырастут, сами они постареют, пострашнее.

Готовился большой этап в Монголию. Собирали женщин для работы, непосильной даже мужикам. Смеркалось, когда выгнали всех во двор тюрьмы, построили в пятерки и погнали по Барнаулу к железной дороге. Так началось мое большое путешествие по необъятной стране Советов. Я, никогда не ездившая дальше Барнаула, проехала по всей стране и даже побывала за границей, в Монголии. Наш этап, как чудовищный червяк, полз по городу. Окруженная конвоирами и рычачими собаками колонна пугала народ тем, что каждый мог оказаться в ней, никто не застрахован от этого. Мне стыдно было, лицо горело, а глаза жгло от слез. Народу провожающего полно оказалось, по сторонам стояли и кричали. Анисья

с мамой в толпе провожающих тоже были, узнали они, что нас в Монголию погонят, от нашего деревенского парня Лешки Копченого. Он, как не русский вроде был, смуглый очень, вот и прозвали его Копченым, он недавно в нашу деревню приехал, недалеко от нас жил. И, оказалось, он в охране работал. Нас из бани вели, он на меня уставился, я – на него, потом подошел и говорит: «Зина, вас завтра будут отправлять в Монголию. Сказать твоим?» – «Конечно, скажи», – говорю. Когда ещё придется свидеться?

Анисья мне вскричала: «Зина, Зина! Мы здесь!» Я сразу ее голос узнала, но мне-то кричать нельзя. Нас строго-настрого предупредили, чтобы молчали, не выкрикивали, а крикнешь, так огреют винтовкой, мало не покажется, автоматов тогда у охраны еще не было. Слезы у меня и так текли, а после того, как я услышала родные голоса, потекли еще сильнее, казалось, борозды прокладывали, по сердцу скребли. Все на нас глядели, хотелось сквозь землю провалиться, и не было конца этой дороге позора. Наконец мы дошли до вокзала. На путях всю колонну заставили встать на колени. Многие плакали, собаки рычали и лаяли, конвоиры оралы, толпа, провожающая нас, тоже кричала и редела. В школе учили, по радио говорили, что нас не сломить, не поставит на колени, а вот стоим, окруженные овчарками и конвоем. Русские бабы, жены, матери и сестры на коленях на своей родимой земле! Мало того, что мы сами от сраму такого сгорали, на бесчестье наше смотрели наши родные и близкие, чужие люди, что пригородный поезд ждали. Конвоиры стали громче надрываться, командовать:

– Пятерка! Поднимайсь! Бегом! В вагон!

Два конвоира с собаками бежали по краям пятерки. Мы бежали. Лезли в вагон. Ложились на нары. Конвоиры возвращались. И снова:

– Пятерка! Поднимайсь! Бегом! В вагон!

И так пока не загрузили поданный заранее длинный состав для перевозки заключенных, без окон. Зачем экам окна, свет? Для многих он померк давно. Я заняла верхние нары и не знала, хорошо это или плохо. Вагон не отапливался, внизу было холодно, а наверху стало невыносимо душно. Когда в такую консервную банку понапихано столько народу, станет тепло от дыхания и от жара тел.

Мне страшно повезло, какой-то умелец прокопал в металле нашей банки, прямо на уровне моих глаз, маленькую дырочку. В нее можно было выглядывать или, прижавшись ртом, глотать свежий воздух, воздух свободы. А еще повезло, что нары мои и эта дырочка оказались на той же стороне, где находилась моя деревня. Сколько раз я проделывала этот путь до

Барнаула и назад – два раза в день, шесть раз в неделю. И никогда не думала, что он мне так дорог. Видела, что подъезжаем к моей деревне, вот он, наш лес, небольшой кусочек улицы, и все! Проехали. Сердце щемило, стучало, слезы лились сами собой. Только через семь лет я вернусь сюда, может, увижу маму, папу, племянников. Только потом, много времени спустя, я узнала, что меня не должны были отправлять по этому этапу, я годами не подходила, но не хватало нескольких человек по числу затребованных, и тюремному начальству приказали подобрать недостающих из молодых, крепеньких девчонок.

Целых семь лет! Представить невозможно! Зачем только моя рука потянулась за этой тряпкой? Теперь вот еду в железном вагоне, без окон, люди тут как свиньи по нарам валяются, душно и жарко, страшит неизвестность. Везли нас по стране, которой мы так гордились, считали самой лучшей в мире, но ей, нашей стране, как и в войну, как и до войны, нужна была дармовая, молодая, трудовая сила, нужна сила – и страна взяла ее. Как брала всегда – тоже силой.

После Великой Отечественной войны Советский Союз развернул огромное строительство на востоке страны. Ему нужны были рудники, обогатительные фабрики, металлургические заводы.

Женщинам путешествовать в железной банке противопоказано, в смысле гигиены. Ни умыться, ни подмыться, ни постирать. Подмывались собственной мочой, а уж если начнутся месячные, это просто мученье. Кое-какие тряпочки были, но их же надо стирать, а нечем. Постелить на доски нечего, кроме того, что есть у тебя. Выдали нам фуфайки, хочешь, на себя накинь, укройся, а хочешь под себя постели. Туалет – тумбочка такая, с одной стороны вагона, очередь вечно к ней.

Напитить и то досыта не давали. На целый день – по одному сухарю размером с ладонь. А дорога-то длинная: страна большая, шестая часть суши всего земного шара. Ехали больше двух недель. Состав подолгу стоял на станциях, пропуская более важные поезда. Надоела эта коробка до смерти, скорей бы доехать! Пусть работа, пусть каторга, пусть даже гибель, но только на свежем воздухе, а не в этой вони.

Раза два за дорогу приснилась мне наша речка Черемшанка. Стою я в ней по колено, наклоняюсь, пью воду из пригоршней, брызгаю на себя, а ногам так приятно, песок струится между пальцев, рыбки в ноги толкаются. Я смотрю вниз, на зеленую воду, и вижу в прозрачной воде перловицу, так мы называли продолговатые ракушки за их внутреннюю бело-голубую перламутровость. Она наполовину зарылась в песок, таких ракушек раньше в речке

полно было. Вскроем ее ножичком, моллюска выбросим, а зачем? Так и нас скovyрнули с привычного места. Теперь-то перловиц давно нет, река обмелела, как вырубил кустарник по берегам, когда кирзавод построили. Каждый раз засыпая, молила: пусть река приснится, лес или хоть огород, хоть грядка с луком! Но сон не часто приходил, все чаще глаза не смыкались, мысли в голове разные суетились.

Приехали наконец-то! Станция Наушки. Это еще СССР, но граница близко. Женская колония № 103, теперь я буду жить здесь долгих семь лет. Здесь построены бараки вагонного типа, нары в два этажа. Заняли мы места, повели нас наконец-то в баню. Но что это за баня! Здесь считали, что баню топить не обязательно, тем более греть воду. Так сойдет. Дали по маленькому кусочку мыла и по одной шайке воды разрешили налить. Но сначала стали проверять на шивость. Со мной сдружилась за дорогу Катька из Алейска, пошарила баба в голове у нее и сразу увела, ни слова не говоря. Вдруг слышим крик за дверью. Я на крик было кинулась, чтобы помочь. Но банщица на меня как заорет: «Куда!» Я и остановилась. Все, кто был, недоуменно переглядываются, вдруг Катька выходит, голова обрита наголо и ревет. У нее такие пушистые светлые волосы были. А банщица ей:

– Не реви, дура, это еще не самое страшное, <sup>130</sup> что может случиться. Волосы отрастут. Будет и пострашнее.

А у меня волосы густые, до пояса, что же мне с ними делать? Позор ведь, если обреют. Потом узнала, что есть мазь такая, мылока называется, ей я и пользовалась все время, выменивала на хлеб. Все мазали волосы, кто не хотел насекомыми обзавестись. Вот за чем там следили хорошо, так это за вшами. Тут уже ничего сказать нельзя, проверяли постоянно, брили наголо.

Помылись мы кое-как, в казарму пошли. Когда кое-как обосновались, подумали, что надо домой весточку послать, письмо накарять. Я села на нары, положила на колено миску и стала писать. Вдруг заходит баба в кожанке, идет, разглядывает новичков и выбирает, как я потом узнала, себе пару, дружить. Позже просветили нас, что она кобелом зовется, а бабу, что дружит с ней, ковырялкой зовут. Катька тоже письмо пишет. Я письмо дописала и тетю эту спрашиваю вежливо, она как раз со мной поравнялась:

– Скажите, пожалуйста, а тут адрес какой?

Она мне так презрительно, сквозь зубы:

– Я писем не пишу и адресов не знаю.

Оказалось, считается позором разговаривать с фраерами, это с нами, которые пошли по первому сроку, им, имеющим не одну судимость.

Катька, которая еще не отошла от бритья волос, закричал в сердцах:

– Да что вы за люди такие, живете здесь, а адресов не знаете?

Тетка поглядела на Катьку оценивающе, будто за поминала, повернулась и вышла, немного погодя снова заходит, а с ней – здоровенная деваха, которая подошла к Катьке и врезала ей кулаком по лицу, повалила и стала пинать. Молча. Мы, кто находились рядом, так и застыли. Да и Катька почему-то не орала, только кряхтела, когда нога девки вминалась ей в ребра, плакать же начала, когда они ушли:

– Зинка, ну почему я такая большеротая? Ну что бы мне промолчать? Эта банщица накаркала, что еще страшнее будет. И это все за один день? А если каждый день так будет? Да тут рехнешься или повешишься!

Лежа под залоснившимися от нечистых тел, бывших когда-то байковыми, одеялами, договорились молчать, поменьше языками молотить. В лагере не только начальство держит в страхе заключенных, но и сами заключенные ненавидят друг друга, стремясь выжить, приспособиваются, как могут, оказавшись в такой беде, не сплачиваются, а издеваются над теми, кто слабее. История эта еще не закончилась, как оказалось.

На следующий день прибегает шестерка и зовет Катьку к начальству, к помощнику командира по хозяйственной части Владимиру Ивановичу, оказывается, ему доложили (у эзков хорошо налажено сарафанное радио), что новенькую избили. В кабинете кроме него была дневальная барака и тетя Тоня Ямпольская, та блатная, по указанию которой избили Катю. Кате уже рассказали, какой она страшный человек, жестокий и беспощадный, ставящий себя выше всех. Владимир Иванович спросил Катерину: в чем дело; она ответила, что сама виновата; ну раз так, иди, раз сама виновата, значит, вступила на путь исправления. Вышла Катя, дух перевела, сердце в пятках. Немного погодя заходит в уборную, а там тетя Тоня сидит, нужду справляет и нагло так спрашивает:

– Ну что, поняла, как себя в лагере нужно вести?

– Да, поняла теперь, исправлюсь, хорошо буду вести.

Катерина потом мне шепотом рассказала:

– Ну, надо же, у тети Тони наколка на плече, «уста-ла жить в разлуке с волей». Еще бы! Пятый раз корячится, поневоле устанешь.

Со второго же дня повезли нас на общие работы. После завтрака строят в пятерки, перекличка, садимся в открытые грузовики, и везут нас километров тридцать на работу, где валили лес для шпал будущей железной дороги. Мы понять не могли, что это за лес? Совершенно сухой, белый, без коры. Что такое случилось с деревьями? Если бы пожар, то деревья стояли бы черные, а здесь же – белые. Будто деревья приготовились уже стать шпалами. Спиленное дерево падало, и от него сразу же отваливались все сучья. Пока тепло было, еще ничего. Трудно, конечно, многие и пилу-то ни разу в руках не держали, а норму дать надо, иначе пайка значительно меньше, а при такой работе жрать очень хочется.

Травмировались часто. Дерево повалит на кого-нибудь, бывает, по голове попадет или на все тело обрушится, а то и сучок отлетит в лицо. Некогда ждать, пока народ разбежится, норму спешат выполнять. Увезут травмированную, и все. О ней мы уже никогда ничего не узнаем, куда увезли, умерла ли, живой осталась, покалечилась ли. Ни одна не вернулась на лесоповал.

Самое страшное в морозы началось. Мороз за тридцать, земля даже трескалась, не выдерживала. А бабы и девки выдерживали. Привезут нас с ветерком, в фуфаечках да в сырых бурках и вперед. Бурки никогда не просыхали. Бригадиры собирают их вечером и несут в сушилку, там настогают здоровенную кучу, они и лежат, преют, где же им просохнуть. При раздаче от них пар так и валит. На ноги наденешь, а они мокрые.

Еще при построении, при перекличке все задубеет, а пока довезут, кости промерзнут. Сразу кидаемся костер разжигать и стоим, греемся. За костром блатная следит, она не работает. Ну как можно согреться от костра в такой холод, когда к огню и приблизиться-то невозможно? Мы в паре с Надькой Гавриловой работали, она такая крепенькая девка была, маленькая, но сильная, цепкая. С короткой стрижкой ходила, боялась вшей завести. На мальчишку больше походила, чем на девчонку. И вот мы с ней решили: ну что толку около костра мерзнуть? Лучше работой будем греться. Как только приезжаем на делянку, сразу просим бригадира отвести нам участок. Двуручной пилой валим дерево, потом распиливаем его по два с половиной метра, забиваем колышки и начинаем складывать штабель. Труд, он очень греет. Так разогреешься, что ноги горят, руки горят, лицо горит. Когда бригадир в конце смены идет замеры делать, у нас план всегда выполнен на сто двадцать процентов.

Как лошади работали, а кормили нас хуже собак. Хлеб черный, как чугунка, его в колонии пекли неиз-

вестно из чего, но только не из муки. Картошку дают обязательно замороженную. Завтрак и ужин в колонии, а обед на делянке, на холоде. Хлеб выдавали вечером по итогам работы. Один килограмм сто граммов, это если план выполнишь, и семьсот граммов, если не выполнишь. На делянку каждый приносил хлеб, что остался от ужина и завтрака. Не у каждой и оставалось. Кто вечером не вытерпит и весь съест, а кто долги отдаст, хлеб был лагерной валютой. Суп кукурузный или каша кукурузная, мороженая картошка – это постоянное меню за все лагерные годы. Конечно, люди голодали. За мисочку мороженой картошки некоторые заключенные ходили чистить ее всю ночь. Я ни разу не ходила, хоть и была все время голодная. Кукуруза для меня была совершенно не съедобной: как поем я эту кукурузу, меня обязательно вырвет. Вот и жила я на мороженой картошке да на диковинном хлебе.

До сих пор удивляюсь, как сил у меня только хватало, почему я жила, да еще так работала. Дошла я до такой худобы, что смотреть страшно. Похудела сильно, потемнела кожа, втянулись щеки, впали и потускнели глаза, вытянулась шея, настоящая доходяга, краше в гроб кладут. И не одна я. Бывает, ослабнет какая-нибудь заключенная, ноги откажут, ходить не может, мотает ее туда-сюда, какая тут работа. Переводят ее тогда в ОП (отдыхной персонал назывался), и сидит она в бараке голодная, и ждет удара в рельсу, так в столовую зовут. А пайка неработающим – семьсот граммов. Хуже нет такого отдыха. Постепенно она совсем ослабевает и пропадает. Умрет ли, переведут ли куда, мы не знаем. Но начальству не жалко: другие придут, пока сила будет, поработают. А изработанных списать можно.

Сахар давали два раза в месяц по двести пятьдесят граммов. Все ели в парах, я с Нинкой ела, получалось у нас два стакана сахара. Сахар тоже был лагерной валютой. Один стакан относим придуркам, они тоже заключенные, но при власти, меняем его на пайку хлеба. За стакан сахара дают пайку – семьсот граммов черного, как наша теперешняя жизнь, хлеба. Сахар разводим водой и крошим туда хлеб. Боже, как вкусно! Такой вкусноты мне за всю жизнь больше пробовать не приходилось! Хотя после лагеря я и конфеты хорошие ела, но они не казались такими сладкими, как тот черный хлеб с сахаром.

Как приезжаем на работу, конвойные обходят территорию и ставят зарубки на деревьях: за них ходить нельзя, это будет приравняться к побегу. Кто по нужде идет, тот уж смотрит, как бы не забрести за зарубки. Как-то одна девчонка кинулась бежать. Хорошенькая такая, Чижиком ее звали. Наверное, ка-

кой-то лагерный конфликт, видно, замучили барачные разборки, хотели из нее ковырялку сделать. Бежит она, охранник кричит ей: «Стой, стрелять буду!», выстрелил в воздух, но это не остановило ее. Еще раз выстрелил, теперь уже в нее целился, в бедро ей попал, пуля вырвала мясо, кость перебила, кровяца так и хлещет. Привезли ее, кое-как перевязали и положили в бараке на стол, на всеобщее обозрение. Всех заставляли смотреть: так с каждой будет, кто в бега кинется. Она, бедная, лежит и шепчет обкусанными в кровь губами: «Я так хотела, чтобы мне попали в сердце...»

Прислал мне брат посылку: двое трусиков, двое рейтузов, две маечки, пряники. Отец прислал посылку – сапоги, сам сшил, представлял, как работать в мокрой обуви. Из-за этих сапог я чуть жизни не лишилась. В лагере, если кому посылка, знают еще вперед тебя. Что прислали и кто прислал. Пока зима была, я сапоги не носила, в бурках дохаживала, еще морозно было, сапоги же берегла на межсезонье. Бригадир Анна как-то подходит ко мне и просит поносить мои сапоги, а взамен их предлагает разношенные валенки. Снег, мол, пока не тает, поносишь валенки, а когда таять начнет, отдам тебе твои сапоги. Я, дура душой, дала ей их, не знаю сама, на что рассчитывала. Простодырая такая была, людям верила. Расхаживает Анна в моих сапогах, как в своих. Уже подтаивать начало, в валенках мокро стало, я подошла к ней, попросила отдать мои сапоги. А она:

– Ты что, пацанка, умом тронулась? Мы же поменялись. Я тебе – валенки, а ты мне – сапоги. Не отдам я тебе сапоги. Ишь, чего захотела! Чо, зря же я тебе все время выписывала полную пайку!

– Но я ведь эту пайку зарабатывала! План всегда давала! Даже перевыполняла!

Так мне обидно было, что папины сапоги эта сука носит. Да еще врет безбожно, что пайку выписывала будто бы не за работу, а за сапоги. Взяла я да от обиды написала заявление на эту стерву командиру. Зверь этот вызывает меня к себе, у него сидит Фая, срок 10 лет, нарядчица и бригадир Анна, которая мои сапоги замылила. Командир зачитывает мое заявление. Спрашивает Анну, правда ли в заявлении.

– Нет, гражданин начальник, неправда. Мы с ней поменялись.

– Это правда, что вы поменялись? – обращается уже ко мне.

– Это неправда, гражданин начальник, врет она, взяла поносить и обещала отдать, когда таять начнет. Мне носить нечего, папа сапоги прислал, сам их сшил.

Начальник подержал заявление в руках, свернул его и стал рвать:

– Выслушав всех, я понял – вы поменялись.

И я ушла несолоно хлебавши. Обидно, но сама виновата, зачем отдала сапоги? Понадеялась на ее порядочность, подошла она ко мне вроде по-доброму, я и поверила ей. Но разве здесь можно надеяться хоть на какую-то порядочность или поверить в чью-то искренность? Надо верить только самой себе. Чтобы выжить, надо думать только о себе. Зачем я отдала ей сапоги? Ведь если бы не отдала, она не отобрала бы их у меня, или все равно отобрала? Поплакала я, поплакала, да на том и остановилась. Сама виновата. С сапогами попрощалась.

Утром ударяют в рельсу – пора на работу. Все выбегают из барака и строятся по пятеркам. Фая стоит в дверях, в руках у нее доска с номером бригады. Когда я с ней поравнялась, она вдруг как шандархет изо всей силы этой доской мне по голове! У меня искры из глаз посыпались, я чуть не упала. Отбежала на расстояние, стою, слезы из глаз льются, ужасно больно, но плачу молча. Нельзя показать ей, что я напугалась. Поняла, что Анна поручила ей за сапоги со мной рассчитаться. Это так Фая меня будет каждое утро встречать? Да она за две недели меня убьет. Решила каждое утро выбегать из барака раньше всех, пока Фая в двери не встанет, и ждать построения. Уж лучше мерзнуть, чем каждое утро быть битой. Послужило мне это уроком, поняла я: жаловаться нельзя, никто тебя не защитит, а скорей со свету сживут. Больше она меня не била, потому что случая такого я ей не предоставляла.

Клопы в бараке заедали. Хоть днем, хоть ночью спать невозможно. Падают сверху, лезут снизу, с боков. Кусают всюду. Эти твари тоже против нас, со Зверем и его прихлебателями заодно. Летом некоторые выносили матрасы из барачков, ложились на свежем воздухе, но клопы ползли по песку ровной очередью, друг за другом в поисках пищи. Приползали и пили нашу кровь. Такими умными оказались, барствовали на нашей кровушке. Мы и так голодные, малокровные, а тут еще эти кровососы. Сколько не просили лагерную администрацию хоть как-то потравить их, ничего не добились. Наверное, начальству нравилось, что кто-то еще пьет нашу кровь.

Мне прислали из дома две юбки. Одну я поменяла на хлеб, а другую носила с белой кофточкой. Сходила я в баню как-то, надела кофточку, ищу юбку, а ее нет. Везде искала, думала, она куда-нибудь завалилась, но не нашла. Спросила у дневальной, она на работы не ходит, сидит в бараке. Та плечами пожалала, ничего не ответила. Вот я сижу и плачу, жалко

юбку до смерти. В барак заходит врач Михаил Михайлович. Красивый мужчина грузинистого вида, с усами, тридцати примерно лет. Он тоже был заключенным, но работал врачом, принимал через день, а в другие дни вела прием вольнонаемная фельдшерница Асенька. Мне он казался добрым, витамины горстями раздавал, не всем, конечно. Врач, он и в колонии – врач. Сытый, на хорошем счету. Увидел, что я плачу, и спрашивает у дневальной:

– Почему заключенная плачет?

Она была, видно, причастна к краже моей юбки, затараторила:

– Пацанка плачет потому, что болеет. Ася ее принимала, но ничего не назначила, освобождение не дала, а она, правда, сильно болеет.

От такого наглого вранья я на нее глаза вылупила. Благодарительница нашлась! Но сказать, что она врет, не посмела. Столько в лагере прожила, чему-то научилась. Молчать научилась. И терпеть. А я такая худая была, изможденная, что без труда сошла бы за больную, а может, и за умирающую.

– Пусть приходит на прием ко мне. Я завтра принимаю, – сказал он дневальной.

Но я не пошла в больницу, потому что телепалась еще кое-как, а главное, из-за хлеба: больные получают меньше пайку, а это значит, что удара в рельсу будешь ждать, как манны небесной. Вечером врач вызвал все-таки меня через шестерку, осмотрел и назначил меня в этот ОП, провались он пропадом. Два дня я сидела голодная, ничего не делала, только про еду и думала. Что за жизнь, время как резина тянется. Через два дня Михаил Михайлович на приеме меня спрашивает:

– На кухне что делать умеешь?

– Не знаю, дома похлебку варила, – отвечаю.

– Ступай на кухню, научат тебя чему-нибудь.

Прихожу на кухню. В белой кофточке и в штанишках сатиновых. Юбка-то у меня пропала. Мать Феня уже знала, что я приду, осмотрела меня всю и говорит:

– Худа ты больно, девка. Ну ничего, здесь ты поправишься. Только это что такое? – она потрепала мои штанишки. – Михаил Михайлович не любит, когда в штанах. Завтра приходи в юбке.

Что делать? Опять плачу. Где юбку взять? Вспомнила, у Тamarки есть. Побежала к ней, стала просить:

– Томочка, миленькая, дай поносить твою юбку.

Меня врач на кухню определил, а там без юбки никак нельзя.

– А твоя-то юбка где?

– Да украли ее у меня, почему и прошу твою поносить.

– Ой, ну если ты на кухню работать идешь, я продам тебе юбку, нальешь мне лишний черпачок каши, когда я подбегу.

– Тома, ты что? Как я тебе налью, меня к раздаче близко не подпустят, будто ты не знаешь, что только мать Феня разливает.

– А ты исхитрись, спрячь что-нибудь мне. Или ты не хочешь, чтобы юбка твоя была?

Я согласна была исхитриться, чтобы работать на кухне. Купила я у нее юбку за четыре пайки хлеба, в долг, и пошла на кухню. Никакого сравнения с валкой леса. Тепло, светло, а главное – сытно. И работы не очень много. Картошку заключенные ночью чистят. Кашу повара варят, а я на подсобных работах: воды там принести, печку растопить, пол помыть, помочь хлеб резать. Режу хлеб в первый рабочий день, крошки собираю, быстро в рот пихаю, сосу крошечки, чтобы никто не заметил. Мать Феня смеется на мои ухищрения:

– Кого ты обмануть хочешь? Да тут все, кто работал, через это прошли, все голодные приходили, а потом отъедались. Отрежь кусок хлеба да вчерашнюю кашу съешь, вот и наешься, а то давится, смотришь противно.

Хлеборезка дала мне кусок, а мать Феня подвинула чашку с кашей. Присев за печку, давась и глотая не прожевывая, за мгновение умяла все.

133 Отъелась я быстро. Молодой организм снова набрал силу. Я поправилась, стала гладкая, красивая, потухшие глаза заблестели, ввалившиеся щеки приняли былую форму, волосам моим и так многие завидовали, их каштановому цвету, густой и длинной косе. Тamarке тоже иногда каши подкидывала. Поскребу по котлам, отложу, потом дам ей потихоньку, она и этому рада. Мою пол как-то на кухне, заходит Михаил Михайлович, оглядел меня одобрительно, смотрит мне в глаза и спрашивает:

– Хочешь быть счастливой?

– Разве в тюрьме можно быть счастливой? – буркнула я и глаза отвела.

– Вот и обсудим это. Приходи завтра к семи вечера в больницу.

Повернулся, помахал мне рукой и ушел. Я испугалась. Рассказала матери Фене.

– А что ты, девка, хотела? Думала, он тебя пожалел, когда сюда направлял? Не ты первая и не ты последняя. До тебя тут одна отъедалась. Ты, поди, видела ее. Симпатичная такая, черненькая. Теперь с пузом ходит, это ее врач обработал. Скоро ее отправят на мамскую колонию. Родит там ребеночка, побудет с ним немного, а потом его в дом ребенка определят, а ее снова сюда или куда-нибудь еще, срок

дальше мотать. Увидит ребеночка своего или нет, неизвестно. Не каждый ребенок выживает, да и не каждая мать искать его кидается. Эти дети уже государственные, мать не знают, отца тем более. Государство им и отец и мать.

На другой день к вечеру мать Феня отозвала меня в сторону и говорит:

– Зина, к нам скоро приезжает комиссар, проверить работу. Ты на кухне работаешь, а может, ты больная? Ты же не проверялась ни разу. Комиссар придерется, тогда всем попадет. Может, нельзя тебе на кухне работать. Иди в больницу, пусть тебя посмотрят и дадут справку, что ты здорова. Да наперед походи в баню, подмойся как следует.

Видно, не первый раз эта сводня подкладывала девчонок под врача. Хочешь еще сколько-то удержаться на сытном месте, ходи к врачу проверяться. А он еще посмотрит, целка ты или уже кем-то попорчена. Я пошла в баню, попросила воды у банщицы, взяла обмылочек, помылась. Потом поплелась в больницу. Михаил Михайлович сидел за столом.

– Пришла? Снимай трусы и ложись на кушетку. Я тебя посмотрю.

Я стояла столбом, лечь не могла. Как это какой-то дядька будет рассматривать то, что показывать стыдно. Нет, я не лягу. Ни за что не лягу. Он встал из-за стола и подошел ко мне. Грубо так схватил меня за руки и потянул к кушетке. Я стала вырываться из его сильных рук. Он не выпускал. Я дернулась, вырвалась, выскочила из кабинета и побежала так, что пятки засверкали. Утром, придя на кухню, узнала, что больше здесь не работаю.

– А что ты хотела, милочка? Теперь пеняй на себя, никто тебе не виноват. На твоё место любая с радостью прибежит, каждая под него ляжет. Чем он тебе так не приглянулся? Такой интересный мужчина. Ой, дура, ты дура, еще пожалеешь не раз, покусала бы локоток, да не укусишь... – так выпроваживала меня мать Феня с этого сытного места.

Потом долго думала, правильно ли я сделала, что отказала врачу. Конечно, сытная жизнь это хорошо, но что потом? А вдруг бы я забеременела? Мужик этот беременных не жалуёт, ищет другую, откармливает ее, чтобы приятнее было на нее смотреть и обнимать. Гад заевшийся. Ребенок родится, не дай бог, – это бедненькая сиротка с рождения. Найду ли я малыша своего, если срок закончится? Выживет ли он, малюсенький, если взрослые не выдерживают, умирают? Производителю этому наплевать, где его дети, что с ними, как им. Все-таки я правильно сделала, что не связалась с врачом.

Пошла к кладовщице за обмундированием, сказать, что завтра меня снова переводят лес валить. Она выдает мне белейшую фуфайку и такие же белые штаны. Я даже шарахнулась от такой формы.

– Да вы что? Как я буду работать на лесоповале в этом? Она же белая.

– Ничего больше нету, девонька, – отвечает мне кладовщица.

– Да как же нету? Вон у вас все полки завалены черными фуфайками и штанами, – закричала я.

– Не твое дело мне указывать. Что дала, то и наденешь.

Я схватила вещи и побежала в барак. Утром все 450 человек смотрели на меня как на белую ворону, вся колония знала конец нашего романа. А я и была белой вороной, упустила такой шанс. Так Михаил Михайлович отомстил мне. Вскоре его перевели от нас в другую колонию, и я его больше никогда не видела.

Начальник лагеря был из военных. После войны даже генералов, не говоря о других чинах, за невосприимчивостью в армии направляли работать в лагерь. Кто годен командовать таким огромным числом голодных и обозленных людей? Только тот, кто делал это всю свою жизнь. Кто сможет сам беспроблемно выполнять указания вышестоящих органов? Только тот, кто головой пользуется только для ношения шапки и ждет указания сверху. Кто может безжалостно расправиться с человеком, уничтожить и унижить? Да опять же тот, кто посылал солдат в мясорубку, ставил заградотряды, приказы отдавал расстреливать перед строем. В лагере им намного легче было, чем на фронте: черную работу исполняли придурки. Без них лагерный строй пошатнулся бы, а может, и не устоял. Все, кто имел по несколько сроков, заделались дневальными, бригадирами, учетчиками, на общие работы они не ходили, нами командовали, и с них никто ничего не требовал. Самые тяжелые, так называемые общие работы, выполняли только фраера. Даже если какую блатную и пошлут на общие работы на неделю, то она пилить не бросится, ее назначат за костром следить, дрова подкидывать.

У Дашки кончался срок отсидки. И вдруг она перестала ходить на работу. Умом тронулась, наверно. В здравом уме никто бы не решился на такое, когда свобода не за горами, а рядом, совсем близко. Наоборот бы, когти рвал на работе. А она лежит в бараке и с места не двигается. Отвели ее в карцер. Там лежанка без подстилки и пол из бревен. Три дня она там провела, каждое утро охранник ее спрашивал: «Пойдешь на работу?» Она: «Нет».

На четвертое утро приходит начальник с конвоиром. Орет: «Встать!» Она лежит, ноль внимания. Начальник кивнул конвоиру. Тот схватил ее за ноги и сдернул с лежака, да неудачно, о бревенчатый пол сильно разбил голову, сломал позвоночник. Родственники ее москвичи, она тоже москвичка. Ждали ее, ждали, стали писать, искать, нашли ее в больнице полным инвалидом. Добились якобы суда, говорят, зэки видели, как начальник колонии пилил дрова, радовались, не могли оторваться от такой картины, что их бывший издеватель сам терпит унижения и оскорбления, потеет на общих работах, ест баланду да черный хлебушек, голодает, мерзнет и мокнет. Это одна из историй со справедливым концом, только правда ли это?

Спилили весь лес. Весь этот засохший неизвестно от чего массив. Этот климат даже природа не выдерживала, а люди должны были выдержать, пережить и не загнуться. Долго-долго грузили бабы лес в машины, чтобы увезти на пилораму и напилить из него шпал. Погрузка оказалась непосильной для женского организма работой. Прислоняли доски на грузовик и катили бревна наверх. Снизу катить было не трудно, а чем выше, тем труднее. И опять голодом. Тут уже стали падать чаще. Невозможно грузить бревна каждый день. Много умирало прямо там, некоторые пропадали бесследно: уйдет из барака в больницу, и нет ее больше. Но производство не стояло: подгоняли новые этапы, выбывших заменяли вновь прибывшие, поздоровавее. Уничтожали зэков, как мы на речке ракушки. Раковинку раскроешь и отбросишь бесформенное тельце моллюска погибать. Какой смысл в этом? Никакого. Живое губить – бессмысленно.

После того как весь лес перевезли на пилораму, определили нас пилить эти бревна на шпалы, которые должны лечь, может быть, вместе с нами, на железную дорогу до Монголии. Когда штабеля бревен понизились, чаще возникали слухи о пересылке нашей колонии в Монголию, железку строить. Ничего хорошего мы от этого не ждали. Шел слух, что там еще хуже, чем в Союзе. А телеграф зэков редко врет.

Огромный барак в Монголии. Крошечные, как илюминаторы, окна, не пропускающие дневной свет. Одна радость – нет клопов, этому все обрадовались, настроение поднялось, оказывается, так мало надо людям для счастья! Не женщинам, мы женщинами себя не чувствовали, зэчкам для счастья крайне мало надо. Но это компенсировалось большими минусами. Очень плохо было с водой. Вода привозная. Работа адская.

Ночью саперы взрывают сопки, освобождая взрывом камни, а днем мы извлекаем камни на месте взрыва, таскаем к узкоколейке и складываем в кучи. Камни должны стать основой для железной дороги. Изнурительный, непосильный труд. Не всякий организм способен вынести каждодневное таскание камней. Камни были всякие: такие, что может поднять одна, и такие, что нести надо втроем, а были и камешки, что пятерым не под силу. Приходят вертушки, мы нагружаем их камнями и снова нагромождаем кучи. И так всеми днями.

Наступило жаркое азиатское лето. Жара страшная, работа еще страшней. Пот льется градом, а воды мало. Казалось бы, пил и пил, но та вода, что выдали, уже кончилась. Вспоминалась мне студеная, колодезная вода или из проруби, чтобы зубы ломило от холода. А такой тепленькой водой напиться невозможно. Невдалеке от того места, где мы работали, текла река Селенга, текла к нам и впадала в озеро Байкал. Просим, просим конвоира отпустить искупаться в реке, он, смотря по настроению, иногда и отпустит. Несем к реке, не раздеваясь бултыхаемся, орем, радуемся воде, прохладе. И пьем, и пьем, но на всю жизнь не напьешься. А потом снова жара, песок и камни, камни и жара.

Воду привозили вольнонаемные монгольские парни в водовозке. Привезут они воду и давай наших девок лапать за что только можно. Те визжат, от работы отвлекаются. Зверю (начальнику лагеря) доложат, он на парней этих орать начинает, они обидятся, водовозку сломают или сделают вид, что она поломалась. И сидит лагерь без воды. Придешь с работы, воды только попить и то не досыта. Даже умыться нельзя. Моя землячка с Алтайки работала в бане, позвала меня как-то, дала воды. Люди в лагере сблизались только по землячеству, а не по национальности.

– Зина, после работы можешь приходить. Ведро водички всегда налью.

После такой работы просто наслаждение намылиться мыльцем, пошоркать потное тело вехоткой, обтереть его водой. Посидеть, не вытираясь, почувствовать драгоценную влагу на своем теле, помыть волосы, посушить их, расчесать. Конечно, это тебе не деревенская баня с горячей водой, парной, березовым веником, но блаженство после мытья там я испытывала не меньшее. Помывшись, чувствуешь себя легкой, отдохнувшей, молодой и красивой. Многие же, приходя с работы, грязные, злые, не имели возможности смыть с себя монгольский песок, который впился в потное тело, и валились спать грязные и потные.

Хоть и говорили нам, что мы помогаем братской стране железную дорогу строить, монголов на строительстве и в помине не было. Я так понимаю, если мы помогаем, то сами-то хозяева должны рядом находиться. Ведь мы на их земле работаем, они как-то следить должны, что строят и как. Но монголы нам только воду возили, да солдаты монгольские нас охраняли. Бывает, свяжется монгольский солдат с заключенной, начнутся у них интимные отношения, парнишку того наш начальник, а он строгий был, сразу и убирал. Девкам ласки тоже хотелось, любви, а монголов тянуло к нашим девкам. Красивыми они были и молодыми, без всякой косметики – красивыми. Монголы западали на нас, конечно, целый день сидят, ничего не делают, девок выбирают. Присмотрят себе объект и дерзают. А Зверь не позволял такого баловства, докладывали ему непременно о каждом таком случае. Почему я начальника Зверем называю? Любой начальник для нас – Зверь.

Однажды задумала я себе наколку сделать. Поразила меня тети-Тонина наколка: «Устала жить в разлуке с волей». Думаю, дай-ка я такую себе сделаю, только на внутренней стороне бедра, больше мне фантазии не хватило. В лагере была одна специалистка из блатных. По очереди все бараки обходила. В нашем бараке очередь установилась, и я в той очереди. Вот в воскресенье пришла она, рисует. Моя очередь подходит. Мне кричат: «Зинка, очередь твоя подошла», я пошла было, да Ирина, москвичка, что за ведро картошки пять лет получила, остановила. Соседские парни позвали ее на поле колхозное картошку молодую рыть. Ей в то время под пятьдесят было. «Тетья Ира, зачем ты покупаешь такую дорогую картошку? С нами пошли, накопишь себе». Поперлась она с ними, соблазнилась бесплатной картошкой. Все копают картошку, парни эти, она, еще народ набежал. Вдруг едет объездчик на лошади. Кто-то крикнул: «Бросайте, постовой!» Все всё бросали и побежали, парнишки молодые, им что, а она пока разогнулась, встала и как поп стоит. Забрали ее, осудили и пять лет дали. А у нее брат – генерал. А когда суд уже прошел, сидит она в камере, вдруг ее вызывают. Она так боялась, что брат ее узнает, а это он пришел и ей говорит: «Ты что натворила? Что ты натворила? Тебе что, картошки не на что купить? Сказала бы мне, я бы тебе мешок картошки принес». Но сделать уже он ничего не смог.

Она меня по плечу хлопнула и держит.

– Куда? – спрашивает.

– Так моя же очередь.

– Ты что, век думаешь по тюрьмам скитаться?

– Память же надо об этом времени оставить.

– А я говорю – не надо. Не ходи. И где это ты наколке место наметила?

– На ляжке, – говорю, юбку задираю и показываю.

– Ну и дура же ты! С такой наколкой на пляже ты сможешь только глубокой ночью загорать. Ты всю оставшуюся жизнь стыдиться будешь ее. Ты что, с ума сошла? Остановись, еще не поздно.

А мне кричат:

– Зинка, ну что ты не идешь? Очередь держишь!

Я подумала, подумала и не пошла. Потом часто вспоминала, хорошо, что не стала татуировку делать.

Была у нас в лагере красавица одна. Даже не верилось, что можно быть такой: высокая, фигурка, как выточенная, длинные ноги, а лицо... даже трудно описать такое лицо. Глаза темные, посмотрит, кажется, как в душу тебе заглянет, кожа смуглая. Звали ее Танька. У нее были два брата, воры в законе, отбывали свои сроки здесь же, в Монголии, а ее взяли за продажу краденого. Братья воровали, а сестра продавала. Зашла она в наш барак, к Галине, которая пела всегда одну и ту же песню «Снова замерло все до рассвета...» Как заблажит во всю мочь... голос, правда, сильный, приятный, но песня эта всем надоела до тошноты. Стоят они, разговаривают. А мы, человек пять, все молодые, по нарам лежим. Я голову с нар свесила, любуюсь Танькой. Она спиной ко мне стоит, талия осиная... думаю, Боже, ну дал же ты такую красоту, чтобы она по лагерям пропадала. Заходит тетя Тоня Ямпольская, она, как злой демон, добра от нее не жди, окинула лежащих на нарах презрительным взглядом и весело так говорит:

– Ну, фраера, кому страшно, можете не смотреть.

Забегает вдруг та же здоровенная девка, что Катю была, но на сей раз с ломом. Кто лежал, в одеяла с головой зарылись. Лагерная разборка! Это всегда очень страшно! Вопли, маты, мордобой. Но чтобы вот так, с ломом, о таком мы не слыхали. Я хоть и спряталась под одеяло, но оставила шелку и смотрю. Эта девка ломом размахнулась да как даст со всего маха Таньке по ногам! Та сразу так и рухнула. У меня кровь в венах застыла. А тетя Тоня встала в картинную позу: голову вскинула, руки в бока:

– Я пришла мстить!

Девка подняла лом и всадила его Тане в шею, между ключицами. Туловище ее поднялось, села она, глаза вывалились из орбит, изо рта и из шеи полилась кровь, а потом тело, уже мертвое, рухнуло на грязный барачный пол. Кровь лилась, не переставала, на полу лужа образовалась. Тут все вылезли из

одеял и смотрели, трясясь, на то, что еще недавно было прекрасной девушкой. Дневальная прибежала, начала сгонять нас с нар, но мы не могли пошевелиться от ужаса.

– Давайте, давайте, вставайте, собирайте кровь, вытирайте.

Перемогая себя, мы начали вытирать кровь, тряпки нам она бросила, а шестерки поволокли тело, но эти выпученные глаза я долго забыть не могла. Тете Тоне за это зверское убийство дали всего 10 лет, говорят, на суде она нагло смеялась. Один из братьев Тани на какой-то из пересылок смог тормознуться и дождался тетю Тоню. Как-то подкупил охрану, им устроили встречу, и, как говорят эки, перегрыз ей горло собственными зубами. Возможно, эки придумали такой «счастливый» конец, ведь хочется и в справедливость верить.

Получила я посылку из дома, полностью набитую рафинадом. Я обрадовалась неимоверно. Сладкого не хватало. Всех в бригаде угостила, дала по кусочку, а нас человек 50 в бригаде было. И еще у меня полно его оставалось. Мы с Нинкой наслаждались. По кусочку на завтрак, на обед и на ужин.

Вечером как-то лежим в бараке, темнота, вдруг я слышу:

– Зина Демина, кто Зина Демина?

– Я – Зина Демина.

Оказывается, меня разыскивала моя землячка из Тальменки – Полина. Я-то знала ее, поскольку она на виду была, все-таки бухгалтер, а она меня – нет. У Полины украли продовольственные карточки всей организации, за это и получила срок десять лет. Работала бухгалтером и здесь. На расконвойке, потому что ей часто приходилось ездить с отчетами к начальству. Стала она встречаться с заключенным, тоже расконвоированным, и забеременела. Все беременные чего-нибудь хотят, она захотела конфет, шоколадных конфет. А где в лагере возьмешь конфет? Поделилась о своей «хочи», ей сказали, что Зина Демина получила посылку с конфетами. Вот она и пошла меня разыскивать. Животик ее только намечался, но сладкоежка в нём явно была девочкой.

– Зиночка, слышала, что ты посылку получила, я конфет хочу, так хочу, что мочи нету никакой.

– Полина, конфет у меня нет, мне сахару прислали.

Я залезла обеими руками в посылку, зацепила, сколько вошло в пригоршню, и протянула руки, полные сахарных кусочков, Полине. Она даже оторопела от такой щедрости. Не зная, куда положить сахар, оттопырила кофточку, и я высыпала сахар туда.

Весь вечер Нинка скрипела, пилила меня, что сошла с ума, раздаю сахар направо-налево, о себе не думаю. Но моя щедрость сослужила мне хорошую службу. Полина попросила, чтобы меня перевели работать в бухгалтерию, меня и перевели. Я работы этой совершенно не знала, ну какой из меня бухгалтер! Так, болталась без дела: то чай им разогрею, то пол помою. Зато ела у них я хорошо, а главное – досыта. Но недолго, около месяца, продержалась я бухгалтершей. Назначили нам нового начальника колонии. Красавец такой, Черных фамилия. Обходил он все службы, знакомился с подчиненными, зашел и к нам в бухгалтерию. Мой стол стоял так, что я сидела спиной к двери. Когда он вошел, оба бухгалтера встали, приветствуя его, а я как сидела, так и сидела, как пешка. Он подошел к главбуху и говорит:

– Эту девочку немедленно отправьте на общие работы.

Так закончилась моя карьера бухгалтера, сытая, спокойная жизнь, и все из-за того, что я не встала навстречу начальнику.

В лагере процветало воровство и вредительство, поощряемое начальством. Воровали у всех подряд и все, что можно, опустошали посылки, присланные из дома, тащили, что плохо лежало. Я хранила 50 рублей, присланных мне мамой, хранила как зеницу ока, но деньги у меня украли. Как только смогли их разыскать, ведь я их прятала в матрасе!

Мыла нам выдавали – курам на смех. Малюсенький кусочек на неделю. Его не хватало даже на мытьё рук, не то что на постирушки.

Из Москвы пришел приказ: отправить одного человека, передовика, на съезд заключенных, который состоится в Сухэ-Баторе. И из четырехсот пятидесяти человек почему-то выбрали меня. Когда мне это сказали, я не поверила. Столько здесь народу всякого, грамотных, бывших начальников, а поеду я. Ну, конечно, обрадовалась. Хоть на день, да вырвусь из этого ада. Меня сразу же предупредили, что одеться надо получше. А как в лагере оденешься получше? Если из дома одежду какую пришлют, себе оставишь только необходимое, а остальное выменяешь на хлеб.

Пожалели меня, выдали мне такую безобразную рубаху из синей фланели. А пошита... Длинной до самых колен, широкая, на мне, как на вешалке болтается, ведь я опять худющей стала. Сижу, рассматриваю ее, не знаю, что мне с ней делать, плачу: как поеду, в чем? Подходит ко мне портниха Машенька. Она шила всему лагерному начальству, всем угождала, поэтому была на особом счету, ее уважали, на

общие работы не гоняли. Наши девки из агитбригады (талантов в колонии навалом) даже два раза в мужскую колонию ездили, а парни к нам приезжали. Пели и плясали, как настоящие артисты. Другие резали по дереву, вышивали, рисовали. А Машенька шила, переделывала, подгоняла по фигуре. Она мне и говорит:

– Зина, не беспокойся, не плачь, я тебе из этой рубахи конфетку сделаю.

Распорола, выкроила кокетку, сделала вытачки, укоротила ее, нашла пуговицы и, правда, получилось вполне прилично. И всего-то за пару паек несъедобного, но такого дорогого хлеба. Я даже похорошела в этой кофточке.

Моя напарница Надька завидовала мне и сильно возмущалась, что Зинку вот выбрали, а ее нет. Работали-то мы в паре, одинаково надрывались. Но в колонии знали, там ничего не скроешь, что у нее были порочные связи с тетей Тоней, а начальство предполагало, что гражданин зэк, которого направляют на такое мероприятие, как съезд, должен быть с незапятнанной репутацией, кристально-чистый и честный. Вот такой меня и признали. От радости, что меня избрали делегатом съезда заключенных, я написала письмо родным. Повезли меня в Сухэ-Батор на съезд в машине с конвоирами.

138  
 Съезд начался речами. Нам рассказали, что мы строим ширококолейную железную дорогу, помогаем братской Монголии наладить экономические связи с Советским Союзом. Дорога будет протяженностью четыреста километров от станции Наушки (СССР) до города Улан-Батора (Монголия). Она свяжет основной экономический район братской республики с нашей страной. Строительство этой дороги имеет очень большое значение. Это укрепит дружбу между нашими народами. Поэтому надо работать не просто хорошо, а очень хорошо. Нужно своим примером вести за собой других заключенных на новые трудовые свершения. За хорошую работу лагерное начальство должно освободить досрочно.

Потом был обед. Первое, второе и компот. Даже ради этого стоило сюда ехать. Накормили досыта. Наевшись, заключенные захотели другого. Заключенные испытывали голод не только физический. Парни девок начали тягать, некоторые шли, конвоиры не только смотрели на это сквозь пальцы, но смеялись и даже подбадривали некоторых. Наверное, получили приказ от начальства не препятствовать. Стране нужны люди. А откуда они появляются, если полстраны в лагерях, да еще мужчины отдельно от женщин. Тащили девок и силком. И неизвестно, сколько мужиков захотят ими воспользоваться. Я

сильно боялась, что и меня поволокут. Спряталась за охранника Михаила:

– Не давай меня, я боюсь, что и меня схватят.

Он ржет:

– Чо, не соскучилась по мужикам, что ли?

Я тоже выжимаю из себя смех.

После обеда – концерт. Хороший концерт, заключенные давали, мне понравился, но в зале многие места пустовали. Пообещали девушкам байки на халат, но сразу не дали, сказали, позже передадут. Передали, да только мне байка не досталась. Зато Фачка сшила себе халат из обещанной мне байки...

Я снова написала своим письмо, где восторженно описала съезд, хвалила свое начальство, которое выбрало меня, одну из многих на этот съезд. Знала, что письма читает цензор. Если ему что-то не понравится в письме, оно не дойдет до получателя никогда.

Нам выдавали на месяц десять-одиннадцать тугриков. Деньги мизерные, но если их использовать с умом, можно как-то просуществовать. Буфетчик тоже из вредителей был, привозил только дешевые папиросы «Спорт» и больше ничего! Ну, привез бы дешевых консервов, печенья, конфеток «дунькина радость», хлеба! Нет, одни папиросы! Нинка курила и говорила, что курево гасит аппетит, когда покуришь, есть не хочется. Куда деваться, отovarивать деньги надо, взяли папирос. Получился целый чемодан. Нинка мне:

– Кури, Зинка! Жрать меньше хотеть будешь!

Пришлось мне начать курить. Даже домой уже написала, что начала курить. День покурила, два, три. Нет, не идет мне курево, еще сильнее есть хочется, так и бросила, едва начав.

Самым прекрасным часом в моей лагерной жизни был вечер, когда я услышала весть о моем досрочном освобождении. Лежу в бараке вечером, вдруг слышу:

– Зина Демина, Зина Демина!

Вроде Полинин голос. Точно, Полина пришла.

– Зина, собирайся быстрее, тебя освободили, телеграмма пришла из Москвы! Шверник тебя освободил!

Поверить этому я никак не могла. Хоть нам беспрестанно твердили, что за хорошую работу срок скостят, при мне не было ни одного такого случая. Никто не поехал домой, не отсидев полученного срока, накинуть могли, а вот отпустить раньше, такого старожилы не помнили.

Я сползла со второго яруса нар, подошла к Полине, взяла ее за руки, но колени мои предательски подогнулись, я села на пол.

– Полина, так же не шутят...

– Нет, Зина, ты что, – поднимая меня, говорила она, – я не шучу. Да у меня и язык бы не повернулся так пошутить.

Меня поднимало уже несколько рук, со спины, с другой стороны еще кто-то уцепился, меня усадили, соскакивали с нар женщины, толпились вокруг.

– По селекторной связи сообщили, честно, Зина, все еще не веришь, что ли? – продолжала Полина. – Вера, вместо того, чтобы начальнику сначала доложить, первым делом побежала ко мне, знает, что ты моя землячка. Закричала с порога: «Полина, твою землячку освободили!» Иди же быстрее, тебя начальник вызывает.

Все еще не веря ни ей, ни ушам своим, провожаемая почти всем баракком, я пошла в кабинет начальника. Открыла дверь и чуть не ослепла, после барачной темноты в глаза мне ударил яркий электрический свет. В кабинете присутствовало все лагерное начальство: еще бы, первый случай досрочного освобождения по Монголии! Начальник встает мне навстречу, подает руку и говорит:

– Поздравляю тебя с досрочным освобождением! Пришел приказ из Москвы о твоём помиловании. Теперь я тебе не гражданин начальник, а товарищ начальник. Желая тебе больше никогда сюда не попадать.

– Спасибо, товарищ начальник. Я постараюсь никогда сюда не попасть, лучше я петлю на шею наброшу!

Конечно, я была очень возбуждена и произнесла эти слова, может быть, излишне выразительно, с пафосом, даже жестом показала, как буду набрасывать петлю. Торжественность момента захлестнула не только меня. Смотрю, а некоторые вытирают набежавшие вдруг слезы.

По пути в барак Полина рассказала, что из Москвы запрашивали на меня характеристику.

– И какую характеристику они послали?

– А как ты думаешь, какую? – ответила она вопросом и я поняла, что, конечно, отличную, иначе париться мне в лагере еще четыре с половиной года.

Стала я готовиться в обратную дорогу. А что готовиться-то? Ничего почти у меня не было, так, кое-какое барахлишко. Полина мне чемоданчик свой дала. У неё выкидыш случился, она одеялко ребенку приготовила, но оно не понадобилось, она его со мной домой отправила. Да кусков восемь хозяйственного мыла. Я и свои пожитки в этот чемоданчик положила. Надеть-то на себя мне нечего было, в штанах жарко да позорно, тогда в штанах девчонки не ходили. Полина мне платишко ситцевое дала. Белое

поле, а по нему синие квадратики, часто так. Она хотела его своей сестренке послать, но на меня посмотрела, что я в штанишках собралась ехать, и мне его отдала. «На воле так никто не ходит, засмеют тебя». Вот в нем и поехала.

До границы нас на грузовике довели, меня да нескольких женщин, у которых срока закончились. Там барак такой здоровенный, уже на нашей территории, всех освободившихся туда свозят, мужиков и женщин. Выдали нам паспорта, и стала я ждать отправки на Родину. Первую партию отправили, вторую отправили, третью, а меня никак не отправляют. Я нашла начальника, Володя там был, симпатичный такой, и взмолилась:

– Ну что такое, уже третью партию отправляют, а я все сижу. Когда меня-то отправите? Уже всех, кто со мной приехал и кто позже, поотправляли. Мне моей охота.

Он мне отвечает:

– Ты видишь, сколько блатных парней отправляем? Вы же сядете в одну теплушку. Как только поедете, сразу же они по составу воровать пойдут. Ты хоть и ни при чем, а за компанию и тебя арестуют.

– Ну, а Машку почему отправили?

– Да Машку хоть и посадят, ее не жалко, а тебя мне жалко.

Отправили меня кое-как. Володя мне говорит:

– Вот теперь поедешь. Блатных совсем мало в вагоне будет.

Освободившиеся заключенные ехали в прицепном вагоне в хвосте состава. Выдали всем только паспорт и билет. И всё. Даже на хлеб денег не дали. Неужели за такой каторжный труд люди и трех рублей не заработали? Ну как тут не пойти по составу, как тут не украсть? Да это все специально делалось. Не хотела Родина запросто отпускать бесплатных трудяг. Все равно проворуются по пути, снова пополнят лагерь.

Со станции Наушки до Новосибирска ехали недели две и все голодом. Пожалее кто меня, даст корку, водой запью, а когда уж невтерпех, попрошу кого. Везли нас в «телячьем» вагоне, таком, без дверей, с перекладиной. По стенам нары, а в середине даже присесть невозможно, такая грязнотища. Парни позанимали лежачие места, их много было, а женщин мало. А спать-то хочется... Вот они и зовут, руки тянут.

– Иди сюда, Зиночка, а то на ногах уснешь да на рельсы свалишься.

Насмелюсь, залезу, вроде плотно лежат, некуда приткнуться, но раздвинутся, вдруг и место появиться, приткнуться можно. Ну, конечно, приставали, отбивалась как могла.

Я ехала назад этой же дорогой, по этой же стране, хоть и голодом, но свободным человеком. Стоял июнь. Мой душевный подъем не могли сбить даже все трудности дороги. Все цело, зеленело. Байкал поразил меня своей грозной красотой, величием, чистотой. Зеленели нежной зеленью лиственницы. Сосны старые, кряжистые с желтыми стволами. Поняла, как богата и огромна наша Родина. Дорога изгибалась так, что видно было паровоз и весь состав, наш вагон в хвосте шел. Туман, поднимающийся от воды, добавлял впечатление нереальности. Мне всё не верилось, что я домой еду.

Ко мне, от Иркутска где-то, прицепился один блатной. Такой живчик, в наколках весь. Выспросил у меня все, кто такая, где живу, пообещал, что приедет.

До Новосибирска доехали, он говорит мне:

– Ну ты меня, Зинка, жди. Я тут на дело схожу и приеду к тебе. Богатый приеду, одену тебя с иголочки.

Ох, и кляла же я себя, зачем, дура, все рассказала. Надо было бы соврать, назвать другую деревню. Ну зачем он мне нужен, тем более вор? Заявится, не дай бог, а что я родителям скажу? Но не явился. Наверное, там, в Новосибирске, попался, посадили снова.

Еще в лагере мне сказали, что кто-то сильно хлопотал обо мне, иначе бы сидеть мне весь срок. Дома я узнала, что родные писали в Москву, в Верховный суд два раза, но напрасно. Получив письмо, где я писала, что за хорошую работу меня направили на съезд заключенных, мама сразу же собралась в город к адвокату. Сестра Анисья работала секретарем в сельском совете и стала отговаривать маму от поездки.

– Мама, зачем ты поедешь к адвокату? Только деньги отвезешь. Давай я сама напишу, не хуже твоего адвоката.

И принялась за письмо. Несколько раз переписывала, чтобы было складно читать, читала его вслух маме, вместе они исправляли шероховатости, и уже собиралась заклеивать конверт, но тут мама сказала ей:

– Положи-ка туда Зинкино письмо.

Они спорили, Анисья не хотела вкладывать письмо, считала, что это ерунда, ничего не даст, но мама настояла. Моя милая, умная мама! Ты сделала все для моего освобождения! Поклон тебе до самой земли!

Тогда работали с письмами трудящихся и, видно по всему, с письмами эков тоже. Письмо сестры, написанное от руки, вместе с моим письмом принесло мне освобождение: меня помиловали. Пись-

мо, наверное, попало к какому-нибудь доброму дядечке, который подумал, что порядочно уж девчонка помучилась за полтора метра бязи, достаточно ей срок мотать, пора ей на волю. И председатель Президиума Верховного Совета Николай Михайлович Шверник подписал мне помилование.

От Новосибирска мне билет зарегистрировали в общий вагон до Повалихи, в Зудилово поезд не останавливался. Сошла с поезда, иду пешком по лесной дороге, знаешь ведь ты эту дорогу? Запах духовитый от трав и цветов, птицы поют, быстро иду, почти бегом, домой тороплюсь. Так мечтала в зное монгольской степи о том, что лягу на траву на полянке и буду смотреть в небо, на облака. Хоть и торопилась домой, но не утерпела, легла под березой, полежала, отдохнула. Потом полем своим совхозным шла, помидоры уже в почву пересадили, они принялись, крепенькие стояли. Дома меня ждали, письмо из Москвы получили о моем досрочном освобождении. К нам приехали племянники из Барнаула, меня увидели, глазенки вытаращили, кричат маме: «Баба! Зинка идет!»

Мама моя людей лечила. От грыжи, от заикания, от испуга, заговаривала зубную боль, укусы змеи. Хорошо на картах ворожила, но не любила ворожбу почему-то. Придет к нам кто-нибудь, просит ее поворожить, она редко соглашалась, карты раскинет и долго-долго сидит, думает, потом собирает карты и результат выдает. На меня она тоже карты раскладывала. Выходила тяжелая жизнь, но смерть мне не выпадала. Я ее потом упрасивала, чтобы она меня научила на картах гадать. Она сказала, что этому так научить нельзя, надо по книгам учиться. Она училась по книгам, ей отец книги старинные купил. А когда в двадцатые годы гонения «на ведьм» начались, он все книги пожег в печке. Мама плакала сильно, не хотела с книгами расставаться, но он сказал, что жизнь дороже любых книг.

Когда меня посадили в тюрьму, она поехала в Барнаул что-то купить. Идет около Старого базара, тогда же все пешком ходили, смотрит, кучка людей около одного подъезда собралась. Она любопытная была и смелая. Подошла и спрашивает, зачем тут люди стоят. Ей говорят, что ворожей хороший приехал, сегодня ворожит, они узнали и пришли, ждут. «А по сколько он берет?» – спрашивает мама. Денег у нее всего три рубля оставалось. – «Кто сколько даст». Мама достоялась к нему, заходит: «Поворожите мне на червонную даму». Он карты разложил и говорит: «Она у вас в неволе. Жизнь у нее очень тяжелая, прискорбная. Мамаша, будь готова ко всему. Она оттуда не вернется, она погибнет». Положила

мама ему последнюю трешку, ушла. Думает, легко вычислить, на кого женщина ворожить пришла. Многие в неволе были. Многие не возвращались. Мама так и думала, что я не вернусь, готовилась к худшему. Лес пилю, лесина упадет, голову пробьет и все, или на пилораме руку оторвет, или от голода умрет. Да мало ли в лагере причин для смерти! Но все обошлось, слава богу, ворожей ошибся.

Неделя прошла, как я домой приехала, надо в Тальменку съездить, Полина своим, конечно, написала, ждут меня. А поезд туда только ночью ходил, поезд пригородный. Где-то примерно в час ночи. Пошла я на поезд. Обязательно я в какое-нибудь дерьмо вляпаюсь, не в тюрьму, так замуж. Вот и в тот раз тоже. С мужем будущим познакомилась, с Володькой. Поездка эта и свела. Иду я по деревне, в мордовский край захожу, а он от Аржановых начался, оглянулась, заметила в свете от окошка, что за мной кто-то чешет. Я перепугалась, в своей деревне мне бояться нечего, но не за себя, а за Полин чеходанчик. Отберет чеходанчик чужой. Полина вовек не поверит, скажет, что присвоила. Идет он за мной и идет, я быстрее, он тоже, потом догнал меня, спрашивает:

- Далеко идешь?
- Отсюда не видать.

Стал он спрашивать, чья я да откуда. Надо быть находчивой, врать уметь, а я не умею. Не учла своего знакомства с тем блатным. Рассказала и этому все про себя. Он тоже сказал мне, где живет и что его зовут Вовка. Так и сказал – Вовка. Прицепился и дошел со мной до самой станции. Спросил еще меня:

- Ты надолго поехала?
- Как примут.

Тут поезд подошел, я села. Хорошо, думаю, что чеходанчик целый. В поезде не спала, думала, что надо как-то жизнь свою устраивать, работу искать, только кто меня на работу после лагеря возьмет, кому я нужна? Честно в деревне дружить со мной ни один парень не будет, после лагеря, кто поверит, что я ни с кем не была? Прикорнула я на краешке лавки, а под утро и приехала. Нашла Полин дом. Живут они – бедней некуда, в землянке, мать ее больная,

две сестренки. Девчонки хорошенькие, на Полинку похожие, а она красивенькая была. Писала она им, что беременна, они знали и что ребенка скинула, да и как дитя выносить можно в таких условиях? Он тоже заключенным был, а на свободе каким-то начальником, пожениться хотели, как освободятся. Когда спросила:

– Здесь такие-то живут?

– А ты Зина! Полина нам написала про тебя. Мы уже давно ждем, сомневаемся, приедешь ты или нет. Письмо уж давненько получили.

Мать ее говорит:

– Не знаю, дождусь я ее или нет. Ведь еще восемь лет ей жить в лагере. А я так болею.

– Дождетесь, не надо отчаиваться. Люди ждут амнистию.

– Как же, дожدهшься эту амнистию.

На стол собрали картошку да огурцы соленые, ничего больше у них не было. Беднота такая. Наши-то коровку держали, полегче было. А корове кто траву косить будет, мать Полина сама больная, мужа на фронте убили. Я хотела сразу же домой ехать, они меня не отпускают: «Поживи да поживи». Сестренка Полина работала уже, газировку делала.

– Зина, не уезжай, я с работы напиток принесу.

Вечером принесла. Мы сидим, пьем, а газу много, в нос так и шибает, смеемся. Я у них три дня пожила.

А через три года Сталин умер, объявили амнистию. Люди плачут по вождю, волосы на голове рвут, убиваются, как по родному. Я не плакала, никто из нашей семьи не плакал и не убивался. Галю, сестру мужа твоего, она тогда в девятом училась, отхаживали. У них в семье никто от Сталина не пострадал. Воровать, конечно, плохо, но воровали-то с голода, не от хорошей жизни, да по глупости. Меня до сих пор не реабилитировали, хоть я такие мученья приняла, статья не подлежала реабилитации, ведь я за воровство была осуждена. Здоровье я сильно подорвала, ноги болят, а с чего бы им не болеть-то? Ведь мерзли они и мокли. Удивляюсь, откуда только силы брались. У человеческого организма, говорят, десятикратный запас прочности.



## ЛЕТОПИСЕЦ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Повествуют  
документы)



Зинаида Прокофьевна Верховцева всю свою жизнь посвятила разработке темы «Фронтовой вклад кузбассовцев, сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Она автор многих книг и более полусотни научных, научно-популярных статей, созданных на основе огромного количества архивных документов, воспоминаний ветеранов, материалов 36 экспедиций по местам боев кузбасских, сибирских дивизий. Без ее монографий невозможно представить историю Великой Отечественной войны, потому что во всех ее решающих сражениях участвовали и приносили победу и наши земляки-кузбассовцы, сибиряки.

Педагог, ученый, краевед, общественный деятель Зинаида Прокофьевна Верховцева – почетный ветеран трех кузбасских стрелковых дивизий (376-й Псковской Краснознаменной, 237-й Пирятинской Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого II степени и Суворова III степени, 303-й Верхнеднепровской Краснознаменной), трех армий (38-й, 67-й, 2-й ударной и Волховского фронта). Это звание участники войны присвоили Зинаиде Прокофьевне Верховцевой в знак признания ее творческих и научных заслуг. Они получили высокую оценку и в официальных документах, ставших теперь историческими.

После выхода в свет сборника «Достоин звания Героя...» (Кемерово, 1965) член редакционной коллегии «История СибВО» полковник в отставке Александр Иванович Горбачев писал:

**ВЕРХОВЦЕВА Зинаида Прокофьевна** автор книг: «Рубежи бессмертия. Кузбассовцы в боях за Родину. 1941–1945», «Солдаты Сибири. 1941–1945», «Стояли насмерть. 1941–1945», «Величие подвига», «Вместе сражались за Родину», «Стояли насмерть во имя жизни. 1941–1945», «Гордость и слава Кузбасса. 1941–1945».

«30/Х-65 г. Уважаемая Зинаида Прокофьевна!

В сборнике «Достоин звания Героя...» Кемеровского книжного издательства 1965 года опубликован Ваш замечательный очерк «Бессмертные имена», а Вы в своем письме даже не упомянули об этом. Очерк прекрасный по художественному содержанию, смелости и правдивости. Впервые в нашей литературе сказано прямо: «Тринадцать месяцев спустя, 23 февраля 1943 года, Александр Матросов повторил подвиг Черемнова, Красилова, Герасименко». Это смелая и неопровержимая правда.

Мы, сибиряки, гордимся, что Александр Матросов совершил свой подвиг в рядах сынов и дочерей Сибири, но еще больше гордимся, что он последовал примеру воинов-сибиряков, коммунистов.

После того как узнал Ваше имя по очерку «376-я Кузбасская»\*, читаю все, что связано с Вашим именем. Меня больше всего привлекает Ваша смелость, правдивость и партийная принципиальность, это самое главное на этом трудном поприще...

По решению Новосибирского Обкома КПСС и Военного совета СибВО к 50-летию Советской власти будет выпущена книга «Бессмертный подвиг сибиряков в боях за Родину против фашизма», размер 24 печатных листа, или, проще говоря, около 400 страниц. Создана редакционная коллегия и авторский коллектив, начата подготовительная работа. Книга будет издана в октябре 1967 года. В конце апреля 1966 года три группы авторского коллектива выезжают в район боев сибирских соединений.

В связи с этим, если есть у Вас желание, хочу предложить Вам войти в состав нашего авторского коллектива. Авторский коллектив состоит из 15 человек...

\* Речь идет о большой публикации «376-я Кузбасская...» в шести номерах областной газеты «Кузбасс» (31 августа – 5 сентября 1965 года).

В отзыве военного комиссариата Кемеровской области, составленном в 2000 году, говорится: «Первая крупная работа З. П. Верховцевой «Герои Советского Союза – кузбассовцы» воплотилась ею в экспозицию областного краеведческого музея и была отмечена почетными грамотами командования и политического отдела Кемеровского областного военного комиссариата, Политуправления СибВО. Книга «Рубежи бессмертия (Кузбассовцы в боях за Родину. 1941–1945 гг.)» явилась важной вехой в освещении боевого пути кузбасских дивизий. В Сибири это было первое научное исследование подобного рода, и оно сразу нашло практическое применение в работе политотдела облвоенкомата, советов ветеранов, поисковиков, при создании школьных музеев.

Командование войсковой части 77701, бывшей 376-й Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии кузбассовцев (командир части Клец, начальник политотдела Мартюшев), дислоцировавшейся в ту пору в г. Ош Киргизской ССР, в письме за № 363 от 29 апреля 1969 года писало: «Наши воины чтят боевые традиции части. Книга «Рубежи бессмертия» явилась большим подспорьем в их изучении и с большим интересом прочитана воинами. Вы, уважаемая Зинаида Прокофьевна, явились заочным активным воспитателем наших воинов в духе боевых традиций». (Позднее эта войсковая часть принимала активное участие в афганских событиях.)

По этому поводу полковник в отставке Александр Иванович Горбачев писал:

«25/IX-67 г.

Новосибирск.

Здравствуйте, Зинаида Прокофьевна!

Разрешите поздравить Вас с большой творческой удачей и пожелать дальнейших успехов на литературном поприще. С огромным удовлетворением прочел Ваши «Рубежи бессмертия». По стилю, языку и содержанию – удача несомненная. Книга очень хорошая и нужная. Еще одна героическая страничка славного прошлого сибиряков стала достоянием всех. Замечательный подарок сибирякам к 50-летию Советской власти и Вооруженных Сил.

Многолетний труд поисков, мытарств, исследований, бессонных ночей по обработке собранных материалов воплотился в действительность. Именно поэтому Ваша книга дорога и близка сердцу каждого читателя, а бывших и настоящих воинов – в особенности.

Самым ценным в Вашем труде является историческая достоверность. «Рубежи бессмертия» – это не вымысел, а живая, суровая правда без всяких преувеличений. И это большое патриотическое дело. Спасибо Вам, Зинаида Прокофьевна, за Ваш большой труд и

Ваше внимание к нам, людям, четыре года горевшим в огне войны.

Искренне рад Вашему успеху...»

В связи с выходом в свет первого издания «Солдаты Сибири. 1941–1945 гг.» (Кемерово, 1978) начальник политотдела Кемеровского областного военного комиссариата 19 мая 1978 года писал автору: «Ваша книга является самым ценным подарком к 60-летию героических Вооруженных Сил и памятником в увековечении ратного подвига кузбассовцев, сибиряков при защите Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. По оценке военных, Вы совершаете подвиг». Книгу высоко оценили бывшие комдивы сибирских дивизий: генерал-лейтенант Г. П. Исаков, генерал-лейтенант П. В. Тertyшный, генерал-майор Н. А. Поляков, полковник П. М. Мароль, командиры полков, политработники. В 1985 году книга «Солдаты Сибири. 1941–1945» была вновь переиздана массовым – 10-тысячным тиражом и разошлась в считанные дни».

В отзыве облвоенкомата дан подробный анализ фундаментального труда ученого-исследователя: «В нем З. П. Верховцева обстоятельно показала огромную военно-организаторскую деятельность по мобилизации трудящихся Сибири на защиту Родины, формированию сибирских дивизий и созданию добровольческих частей и соединений: 74, 75, 78, 91-й отдельных стрелковых бригад, 150-й стрелковой дивизии, образовавших 6-й сибирский добровольческий корпус. Автор проследила их боевой путь, провела кропотливую работу по выявлению непосредственных участников боев (свыше 3 тысяч человек). На основе разрозненных, порой трудно сопоставимых архивных материалов Зинаида Прокофьевна сумела получить обобщающие данные. Благодаря этому дана многогранная характеристика качественного состава исследуемых формирований: социального, национального, партийно-комсомольского, возрастного, их укомплектованности. Ценно то, что такие сведения приводятся как на период их формирования, так и по периодам боев, что значительно обогащает исследование. Аргументированно показано укрепление дружбы представителей всех наций и народностей нашей страны, укрепление боевого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. На обширном материале в книге нашло отражение единство фронта и сибирского тыла, показаны многогранные связи, сплотившие страну в единый военный лагерь. Воссозданы целостные картины боевой жизни огромных военных коллективов на протяжении четырех фронтовых лет, освещена закономерность победы советского народа. Книга легко читается, богато фотоиллюстрирована, и все это в целом усилило ее восприятие».

Ректорат, ученый совет Кемеровского государственного университета подчеркивали: «Творчество Зинаиды Прокофьевны Верховцевой лишено кабинетности, социально значимо и широко востребовано обществом. Она активно участвовала в десятках научных конференций, симпозиумов, совещаний, проходивших в Кемерове и других городах Кузбасса, а также в Новосибирске, Томске, Иркутске, Красноярске, Кызыле, Москве, Ленинграде, Ленинградской и Новгородской областях, в Воронеже, Липецке, Волгограде, Сумах, Пирятине, Минске, в Прибалтике – Литве, Латвии, Эстонии. В своих выступлениях, публикациях она щедро делится научными открытиями, творческими наработками, активно ведет военно-патриотическую работу среди молодежи.

Как отмечало Сибирское отделение Академии наук, труды З. П. Верховцевой отличаются фундаментальностью, объективностью, высокая историческая достоверность, они прочно вошли в научный оборот, в том числе академических изданий. Они существенно обогатили отечественную науку, историческую культуру Кузбасса, Сибири, Российской Федерации».

Совсем недавно в рамках подготовки к знаменательной дате – 65-летию Победы на средства областного бюджета при поддержке областного Совета ветеранов издана книга Зинаиды Прокофьевны «Гордость и слава Кузбасса. 1941–1945», посвященная подвигу 246 Героев Советского Союза, трех Героев Российской Федерации и сорока полных кавалеров ордена Славы, чья жизнь и деятельность в тот или иной период жизни были связаны с Кузбассом.

Проживающий ныне в Новосибирске Герой Советского Союза Леонид Николаевич Пономаренко, один из тех, кому посвящена книга, с восхищением отозвался о ней: «Большого уважения к участникам Великой Отечественной войны не встречал ни в одной другой подобной книге. Это настоящий гимн подвигу, мужеству. Это памятник самопожертвованию советских солдат, моих земляков, защищавших свою страну, свою землю. Это настоящий учебник патриотизма для подрастающего поколения не только Кемеровской области».

В отзыве областного Совета ветеранов отмечалось: «Несомненная творческая, научная заслуга Верховцевой З. П. как редактора-составителя – это Всекузбасская Книга Памяти, издаваемая под руководством областной администрации и при поддержке совета ветеранов войны и труда. Книга Памяти Кемеровской области создается в соответствии с указом Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ. Она составная часть федеральной программы. В подготовительный период Зинаида Прокофьевна Верховцева проделала серьезную организационную, научно-методическую, научно-информационную работу, разработала концепцию этого уникального издания.

Созданный и руководимый ею авторский коллектив провел колоссальную изыскательскую работу в архивах страны, изучил, обработал и ввел в научный оборот сотни тысяч архивных документов, воспоминаний ветеранов, родных и близких погибших, фронтовых писем и других материалов, ставших достоянием исторической науки, читателей многих поколений.

Каждому тому предпослана развернутая историческая справка. Впечатляют научно-информационные сведения о погибших. Собранная воедино многогранная информация всесторонне научно обработана, каждая фамилия снабжена научно-справочным аппаратом. Последнее обстоятельство свидетельствует об объективности, исторической точности помещенных в книги материалов. Кроме того, оно избавляет будущие поколения исследователей от неимоверно трудоемкой изыскательской работы, а в случае необходимости обращения к первоисточнику – указывает место его нахождения. Помещенные в них таблицы, графики, схемы усиливают их научную, культурно-историческую ценность. Фотографии погибших воинов-кузбассовцев в сочетании с тщательно подобранными воспоминаниями о них родных и близких, фронтовыми письмами, сочинениями школьников о дедах и прадедах, стихотворениями советских, в том числе кузбасских, поэтов и другими материалами создают неповторимый колорит многотомного издания, его эмоциональный настрой, ярко характеризуют героическую эпоху и ее творцов. Всекузбасская Книга Памяти обращена не только к героическому прошлому нашего Отечества, но и к сегодняшнему и грядущим поколениям, она обладает мощной воспитательной силой, способствует сплочению народов, имеет важное государственное значение», – подчеркивалось в ветеранском отзыве.

А вот оценка редколлегии Всероссийской Книги Памяти в Москве (председатель член-корреспондент РАН Е. М. Чехарин) и Методического центра при редколлегии Всероссийской Книги Памяти (начальник генерал-майор Н. А. Неелов): «По своему художественно-полиграфическому оформлению, содержанию и научно-исследовательскому аппарату Кемеровская областная поименная Книга Памяти является лучшей из всех созданных книг памяти Российской Федерации.

Всекузбасская Книга Памяти построена на максимальном приближении человеческой памяти о погибших к их «малой Родине». Написанная проникновенно, с большой душевной теплотой, прекрасно оформленная и изданная, она стала книгой всенародной памяти, близкой для людей разных поколений.

Об этом убедительно свидетельствуют постоянно проводимые в области презентации книг памяти по каждому тому. Так, в 2000 году такие акции состоялись в областном центре – в государственной филармонии на торжественном собрании, посвященном 55-летию

Победы, в овальном зале областной администрации в День всенародной памяти и скорби – 22 июня; в городе Мариинске – в большом зале городской администрации. В Тяжинском, Тисульском, Чебулинском районах презентации 6-го и 7-го томов Всекузбасской Книги Памяти прошли в переполненных, празднично оформленных залах центральных домов культуры. Сюда съехались руководители всех сельских территорий, советов ветеранов, представители семей, родов, династий, потерявшие в войне своих родных и близких, директора школ, учащиеся-поисковики, представители военных комиссариатов, музеев, библиотек. Только в тяжинский Дом культуры приехали жители из 49 сел и деревень. В торжественной обстановке собравшимся вручали книги памяти губернатор области, заместитель губернатора, представители областной администрации, главы городов и районов и сами ее создатели.

К Всекузбасской Книге Памяти постоянно обращаются советы ветеранов на встречах, посвященных решающим битвам Великой Отечественной войны. На них приглашаются родные и близкие погибших, им вручаются бесценные книги».

Вместе с небольшим коллективом своих сподвижников З. П. Верховцева создала 19 томов Всекузбасской Книги Памяти, с первых дней ставших раритетами, увековечив в уникальном многотомном печатном памятнике почти 150 тысяч воинов-кузбассовцев, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.

Все в том же отзыве областного Совета ветеранов говорится: «В их создание редактор-составитель З. П. Верховцева вложила весь свой творческий опыт, научный потенциал. Книга Памяти дает возможность тысячам кузбасских семей узнать о фронтовых судьбах своих близких, об их последних днях войны, о совершенных ими подвигах, о местах гибели и захоронений. И это высоко оценили читатели. Житель Кемерово, инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы Николай Ильич Паршинцев писал: «В Книгу Памяти вписан Сладков Иван Николаевич, 1912 года рождения. Это мой родственник и односельчанин. Кто и где только его не разыскивал! И только Вы сообщили о нем полные данные, даже указали точный сельсовет».

Проживающая в городе Северске Томской области Соколова Анастасия Ивановна пишет: «Мой брат Соколов Кирилл Иванович погиб в Великой Отечественной войне. Его имя занесено в Книгу Памяти, том 4, стр. 40. В нем сказано: Соколов Кирилл Иванович, 1915, д. Дурнова, Краснинский с/с, Ленинск-Кузнецкий район, призван 09.09.1941 Ленинск-Кузнецким РВК, старшина, старшина батареи, 30-й минометный полк, 373-я гвардейская минометная дивизия, умер от ран 12.09.1944, 33-й медсанбат, с. Веявас, южн. часть шос. дороги, Мадонский уезд, Латвийской ССР (ЦАМО РФ, дон. 79612 с., 1944, оп. 18002, д. 927, л. 90; архив Ленинск-

Кузнецкого РВК, д. 18, л. 64 в эл. архиве 26633). Помогите мне приобрести этот бесценный подарок, чтобы сохранить священную память о брате и для меня, и для родных и близких...».

С годами поток писем от сограждан не уменьшается. Валентина Александровна Соколова (Ощепкова) из Екатеринбурга пишет: «К Вам обращается дочь погибшего Ощепкова Александра Васильевича, сведения о котором значатся во Всекузбасской Книге Памяти (т. 4, стр. 364). Копию этой странички прислал нам военком г. Кемерово, за что мы ему бесконечно благодарны. Перечитываю не раз листочек из Книги Памяти и думаю: вот 5, 7, 9 коротеньких строчек, а за ними кроются человеческие судьбы. Может, тогда кто-то был рядом с моим отцом... Мне было 4 года, когда погиб отец. Ныне мы с внучкой по крохам собираем воспоминания о моем отце – участнике Гражданской войны. 22 года он служил в рядах Красной Армии. Богатая событиями биография – по ней можно изучать историю страны. Зинаида Прокофьевна, очень прошу Вас внести в Книгу Памяти поправку и дополнение о моем отце Ощепкове Александре Васильевиче. Отец погиб в звании подполковника (приказ НКО № 3073 от 04.10.41 г.), в должности командира 844-го артополка 303-й стрелковой дивизии и был захоронен недалеко от села Чертавицкого Раманского района Воронежской области 26 июля 1942 года. Перезахоронен в мае 1968 года в братскую могилу № 2 на Задонском шоссе г. Воронежа (прилагаю копию документа о нем из объединенной базы данных «Мемориал»)\*. Может быть, в Книге Памяти значится и брат моего отца – Ощепков Иван Васильевич? Он тоже был военным человеком...»

Спасибо всем сотрудникам редколлегии за труд ваш благодарный, за светлую память о погибших в Великой войне. Низкий поклон от нашей семьи. С уважением Соколова В. А. (Ощепкова). 12.03.2010 г.».

Дочь погибшего солдата Щукина Галина Васильевна пишет: «Очень долго о своем отце мало что знала – погиб от ран 04.12.1943 года и все. Благодаря сайту «Мемориал» появилось больше информации. Прошу внести в списки «Всекузбасской Книги памяти» имя и моего отца. Найденные о нем данные привожу ниже:

«Щукин Василий Петрович, 1909 года рождения, уроженец г. Баку Азербайджанской ССР, был призван 24.07.1941 года Киселевским ГВК Новосибирской обл. Последнее место службы – 1005 сп, 3-я гвардейская армия, воинское звание – красноармеец, рядовой, стрелок. Был ранен в бою, попал в госпиталь 2410 ХППГ

\* Справка: 303-я стрелковая дивизия была сформирована в Кузбассе и летом сорок второго приняла боевое крещение под Воронежем, боевой путь которой подробно воссоздан в книге З. П. Верховцевой «Солдаты Сибири. 1941–1945». Что касается уточнений об Ощепкове Александре Васильевиче, они будут учтены в 20-м сводном томе Всекузбасской Книги Памяти.



З. П. Верховцева и Н. П. Неворотова вручают Всекузбасскую Книгу Памяти военному-историческому музею на Поклонной горе. Москва, 2 декабря 2003 года

29.11.1943 года, умер от ран 04.12.1943 г., похоронен в Запорожской области, Васильевский район, село Ороянск, на местном кладбище могила № 10 (ЦАМО, фонд 58, опись 18002, дело 214, в именном списке приложения № 5680 с.). Очень надеюсь, что мои дети и внуки найдут имя своего деда, прадеда во «Всекузбасской Книге Памяти». С благодарностью и уважением дочь погибшего за Родину солдата Тухель (девичья фамилия Щукина) Галина Васильевна».

В администрацию Кемерово на имя главы города В. В. Михайлова пришло письмо из Санкт-Петербурга за № 108 от 29 апреля 2010 г. от Постоянной комиссии по увековечению памяти погибших защитников Отечества. РО МП:

«Уважаемый Владимир Васильевич!

При проведении экспертизы Армейского кладбища в Приладожье, что в 2 км юго-западнее д. Дусьево Кировского р-на Ленинградской области, было обнаружено заброшенное воинское кладбище госпиталя № 731, сохранившееся до наших дней. К 9 мая 2010 г. на нем будет установлен памятный знак и восстановлены все могилы. Экспертиза имен выявила: в братских

могилах № 52 и 61 были похоронены призывники Вашего города. Прошу найти родственников наших однополчан и довести до них результаты экспертизы, приведенной ниже:

1. ДЕГТЯРЕВ Тимофей Семенович, 1915 г. р., уроженец Орловской (Брянской) обл., Унечский р-н, д. Чернятка, призван Кировским РВК г. Кемерово (жена – Мария Никитична, г. Кемерово, ул. Сталина, 72), красноармеец, 1255 сп, 379 сд. Был ранен в боях по прорыву блокады Ленинграда – осколочное проникающее ранение черепа 26.1.43 г. Умер 27.01.43 г. в ХППГ-731. Извещение не посылалось. Экспертиза установила – по заявлению жены в 1944 г. был заявлен пропавшим без вести с 02.43 г. Увековечен в Книге Памяти Брянской области (пропал без вести 02.1943 г.) и в Книге Памяти Кемеровской области (пропал без вести 02.1943 г.). Эти ошибочные данные как о пропавшем без вести имеют место быть до сего дня.

2. ШАМАНАЕВ Дмитрий Григорьевич, 1908 г. р., уроженец Новосибирская обл., Черепановский р-н, с. Огнево-Заимка. Призван Кемеровским ГВК в 1942 г. (жена – Шаманаева Мария Алексеевна, г. Кемерово, Мостовая, 1а), красноармеец 1164 пап, ранен 21.2.43 г. в 11.30 в полосе 640 сп. Осколочное проникающее ранение черепа, ранение голени, бедра. Смерть наступила 24.02.43 г. в 18.00 в ХППГ-731. Извещение не посылалось. После войны был заявлен ошибочно как пропавший без вести в июле 1943 г. Данная ошибка не исправлена до сих пор\*. Председатель комиссии В. В. Кунтарев».

Выход в свет каждого тома был крупным событием в духовной, культурно-исторической жизни Кузбасса и России в целом. Этому главному труду своей жизни Зинаида Прокофьевна Верховцева посвятила более 20 лет. Как отмечал ректорат, ученый совет Кемеровского государственного университета, «...в результате этой титанической скрупулезной работы сегодня можно сказать, что из участников Великой Отечественной войны – кузбассовцев никто не забыт! Невозможно переоценить ее вклад в дело воспитания патриотизма у жителей региона».

В письме от 21 апреля 2005 года за № МЦ/21, направленном на имя губернатора области Амана Гумировича Тулеева, редакционная коллегия Всероссийской Книги Памяти (председатель редколлегии профессор В. Золотарев и генерал-лейтенант в отставке Н. Неелов), Методический центр при ней и Военно-исторический музей на Поклонной горе сообщили:

«На научно-практической конференции в Ленинградской области, проводимой в 2005 году по решению Российского организационного комитета «Побе-

\* Справка: увековечен во Всекузбасской Книге Памяти (том 2, стр. 214) как Шемонаев Дмитрий Григорьевич.

да» и посвященной Всероссийской Книге Памяти, выступавшие отмечали: «Всекузбасская Книга Памяти – эталон для всех книг подобного рода... За всем этим стоит титанический труд и многогранная деятельность редколлегии Всекузбасской Книги Памяти, председателем которой являетесь Вы, уважаемый Аман Гумирович, и большой коллектив сотрудников. Но мы снова и снова отмечаем значительный вклад в создание этого печатного памятника ведущего научного сотрудника Кемеровского государственного университета, доцента, кандидата исторических наук Верховцевой Зинаиды Прокофьевны, личные качества которой как человека и как ученого неразделимы. Мы шлем низкий поклон всем, кто, работая с Зинаидой Прокофьевной, решают сложные вопросы, связанные с выходом в свет замечательных книг, на страницах которых встают живые, подлинные судьбы защитников Отечества».

С той поры, когда писалось это письмо, созданы и опубликованы еще пять томов Всекузбасской Книги Памяти – 15–19-й и 20-й готовится к сдаче в производство. Под руководством Верховцевой создается электронная книга памяти, имеющая непреходящее научно-историческое значение. Кузбасская журналистка Нелли Соколова 18 февраля 2002 года писала в газете «Земляки»: «Даже только самым краешком прикоснувшись к тому, как делается эта Книга, узнав, какое бесчисленное количество раз и по разным документам сверяются имена, отчества, фамилии, годы рождения и призыва, даты гибели и места захоронений, как разыскиваются малейшие достоверные сведения о их службе на войне, как вычитываются полустертые строчки сохраненных родными солдатских треугольников, я поняла, что далеко не каждому под силу такой самоотверженный, изнуряюще кропотливый труд. Назвать его можно духовным подвигом».



З. П. Верховцева (третья справа) среди героев своих книг.  
Город-Герой Волгоград. Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

**Алёна  
ЗУБАРЕВА**

## **ПАЛОМНИЧЕСТВО В СТРАНУ СЕВЕРА**

### **ВЕСТНИК. – ОТЪЕЗД**

Незадолго до дня отправления нашей фольклорно-этнографической экспедиции к моему окну стала прилетать большая сизая морская чайка. Таких много в тех местах, куда мы собирались, зато у нас они встречаются не так часто...

Вестник прилетал несколько раз в день – смотрел красным глазом, стучал мощным изогнутым клювом по подоконнику. Звал.

Настал день отъезда. По дороге мы слушали поэтические рассказы попутчика о пастухах; о том, как прыгали по уголькам в Иванову ночь; о Белом море... А за окном светила огромная рыжая луна, и пространство казалось наполненным волшебством, чудесными лесными духами, мифологическими существами... Земля дышала, и на какой-то миг мне показалось, что мы вдруг перенеслись на много веков назад, к началу времён, в «Весну священную».

### **ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. – СОЛОВКИ**

Мы слышали немало преданий о стране Севера, в которую направлялись, о суровых и сильных её жителях. Рассказы эти относились как к древним временам, так и к недавнему прошлому.

Хроники этих мест таковы\*.

В XV веке на пустынном «отоце» (острове) посреди Белого моря возник Соловецкий монастырь. Произошло это так: в конце 20-х годов XV столетия на Большом Соловецком острове поселились два отшельника. Первый из них, Савватий, пребывал уже в столь преклонных летах, что знающие люди отговаривали его от подобного шага. Монашескому делу Савватий учился у преподобного Кирилла Белозер-

ского, ученика Сергия Радонежского. Потом он подвизался в Валаамском монастыре, откуда пошёл ещё дальше на север. В устье реки Выг он встретил молодого инокa Германа, и они решили вдвоём поселиться на дальнем морском острове.

В то время Соловки, покрытые языческими капищами («лабиринтами») прежних времён, воспринимались как «край света», граница человеческого мира. Они лежали посреди Белого моря, за которым, как верили некоторые, уже начиналась преисподняя, жил «червь неусыпающий» и слышен был «скрежет зубный». По словам Н. М. Карамзина, отшельники «расширяли пределы обитаемые, знаменуя крестом ужасные дотолы пустыни».

Установив крест и построив кельи, первые соловецкие подвижники провели на острове несколько лет. Однажды, во время вынужденной отлучки своего товарища на материк, преподобный Савватий почувствовал приближение кончины. В одиночку он сумел добраться на карбасе до устья Выга, где и умер. Впоследствии мощи святого были перевезены на Соловки.

Вскоре преподобный Герман вернулся на Соловецкий остров с новым сопостником – монахом Зосимой, знатным новгородцем, раздавшим своё имущество нищим. Именно вокруг этого человека, который проведёт на Соловках более сорока лет, и начала складываться монашеская община. Первым, кто принял постриг уже на Соловках, был рыбак Марко, наречённый в монашестве Макарием.

Через некоторое время в центре нарождающегося монастыря поднялся деревянный храм, который преподобный Зосима захотел освятить в честь Преображения Господня. Один из братьев отправился за благословением в Новгород, ко двору архиепископа Ионы (1458–1470). Вместе с благословением архиепископ послал соловецкой братии антиминос (напрестольный плат, без которого нельзя служить литургии). В то время в обители было уже больше двадцати насельников, и число их продолжало увеличиваться.

Отправляясь на остров, преподобный Зосима не думал, что однажды ему придётся стать игуменом, и долгое время не хотел принимать даже священнический сан. Лишь в последние годы жизни он уступил братии, которая просила его возглавить обитель и даже грозилась в противном случае покинуть остров.

Среди его дел, способствовавших становлению монастыря, одним из важнейших было введение на Соловках строгого общежитийного устава. В мона-

\* Использованы материалы из архива Российского фольклорно-этнографического центра.

стырях-общежитиях (киновиях) устанавливалось полное равенство между насельниками, они должны были вместе молиться в храме, имели общий стол, делили между собой хозяйственные заботы.

Чтобы выжить на диком острове, братии приходилось много трудиться «ручным делом»: копать землю, валить лес, сечь дрова, варить из морской воды соль, ловить рыбу, ходить на небольших судах по морю, молоть привезённое с материка зерно (на Соловках оно не росло), печь хлеб. Продиктованной суровой необходимостью, постоянный напряжённый ручной труд со временем превратится в отличительную черту духовной жизни на Соловках, станет восприниматься иноками как один из аскетических подвигов – наряду с молитвой и постом.

Весть о новом монастыре быстро разошлась за пределами Поморья. В 1468 году власти Великого Новгорода передали братии все Соловецкие острова с промысловыми морскими угодьями. Состоятельные люди начали жертвовать монастырю вотчины на материке.

Ещё при игумене Зосиме острова увидели первых паломников. Однако особое почитание монастыря распространилось среди мирян после его кончины. Уже через четверть века после преставления преподобного Зосимы в монастыре было записано множество историй о чудесах соловецких святых Зосимы и Савватия.

Менее чем через полтора столетия после прихода иноков на Соловки островная обитель превратилась в религиозный, административный и хозяйственный центр Западного Беломорья. Постепенно её влияние распространилось ещё шире – почти на весь поморский Север. Сильнее всего оно ощущалось с середины XVI до середины XVII века. Вспоминая о том времени, поморы говорили: «Где только ни хозяйничала сила соловецкая!»

Оказывать воздействие на жизнь мирских людей, обитавших по берегам моря и впадающих в него рек, монастырю удавалось тем легче, чем крепче становился его духовный авторитет и чем шире распространялись его материковые вотчины.

Слава Соловков росла год от года. Выходцы из островной киновии основывали новые обители – как преподобный Иов Ущельский на Мезени или Дамиан Юрьегорский на Илексе. За тысячи вёрст от Белого моря строились храмы, посвящённые соловецким чудотворцам Зосиме и Савватию, которые ещё в 1547 году были причислены к лику святых.

Братия монастыря увеличивалась и насчитывала уже не одну сотню человек. Некоторые из них, под-

ражая святому Савватию, уходили в леса и становились пустынниками. Другие, подобно святым Зосиме и Герману, соединяли аскезу и исполнение различных послушаний в стенах обители. Третьи предпочитали средний путь и селились в скитах (самый известный из соловецких скитов этого времени был основан преподобным Елеазаром, на острове Анзер). Именно их братия часто избирала себе в игумены. Некоторые из этих игуменов со временем прославились как святые: Филипп (1543–1566), Иаков (1581–1597), Антоний (1605–1613), Иринарх (1614–1626), Маркелл (1640–1645).

Библиотека монастыря, содержащаяся в образцовом порядке, была одной из богатейших в России.

Получив в своё владение земли на материке, Соловецкий монастырь начал поощрять развитие промыслов и ремёсел.

Паломничество на Соловки приобретало всё более массовый характер. Совершить его могли даже небогатые люди: монастырь три дня принимал и кормил паломников бесплатно, а потом снабжал их провизией на обратную дорогу.

Оказывала киновия влияние и на уклад людей, вверенных её управлению. К примеру, в одной из игуменских грамот середины XVI века мирянам монастырских волостей запрещались азартные игры (зернь), винокурение и винопитие. Нарушителей ожидали штрафы или даже изгнание из монастырских земель.

Крупнейшей фигурой в соловецкой истории был св. игумен Филипп (1507–1569), возглавлявший обитель с 1543 по 1566 год. С его именем и было связано превращение Соловецкого монастыря из небольшой обители, известной лишь окрестному населению, в один из центров духовной и хозяйственной жизни страны.

Будущий игумен был выходцем из боярской семьи Колычевых. В возрасте тридцати лет он оставил столичную карьеру и тайно ушёл на Соловки, никому из братии не рассказав о своём происхождении. С самого начала проявилось его стремление к аскетической жизни, увенчавшееся несколькими годами отшельничества. Подолгу уединяться в своей лесной пустыни Филипп не прекратил даже после того, как братия избрала его настоятелем, и он развил энергичную деятельность, преобразившую монастырь.

Он развернул в монастыре грандиозное каменное строительство, переделав в камне, помимо прочего, два главных храма обители; связал удалённые части

Большого Соловецкого острова дорогами; соединил десятки расположенных на нём озёр каналами (что позволило монастырю использовать силу текущей воды); увеличил монастырский флот и начал создавать на архипелаге портовые сооружения; наладил собственное производство одежды и обуви; устроил скотные дворы.

В 1566 году соловецкая жизнь игумена внезапно оборвалась. Он был вызван в Москву на церковный собор и там избран митрополитом. Не желая покидать Соловки, Филипп несколько раз отказывался от избрания.

За полтора года до избрания Филиппа Иван Грозный начал проводить политику опричнины. После безуспешных попыток убедить царя отказаться от неё Филипп решился на публичное обличение, за что был сведён с кафедры и отправлен в заточение в тверской Отроч монастырь. Спустя год (23 декабря 1569 года) он был убит там Малютой Скуратовым. Очень скоро на Соловках, а затем и по всей стране началось почитание его как святого. Подвиг святителя Филиппа ещё более укрепил авторитет Соловецкого монастыря.

Обстановка в регионе стала напряжённой во время русско-шведских войн 1570–1583, 1590–1595 и 1610–1617 годов. Хотя основные события разворачивались южнее, вражеские корабли не раз появлялись в акватории Белого моря, отряды противника спускались по северным рекам и нападали на русские поселения от Колы до Сумы. Так, в 1589 году отряд подданных шведского короля Юхана III (1568–1592) под началом Пекки Весайнена обрушился на два монастыря – Кандалакшский и Трифоно-Печенегский – и сжёг их. Число жертв только этого военного эпизода достигло пяти с половиной сотен человек.

В это время Соловецкий монастырь при поддержке центральной власти создал в юго-западном Беломорье оборонительную систему. В неё вошла Соловецкая крепость, построенная в 1578 году в дереве, а в 1582–1596 годах перестроенная в камне и сохранившаяся до наших дней, а также два береговых острога – Сумской (1582–1583) и Кемской (1590-е годы). Все работы по их строительству велись на средства монастыря, он же содержал и вооружал стрельцов, набираемых в большинстве из монастырских крестьян. Стрельцы несли службу в каком-либо из трёх укреплений и по мере необходимости перемещались из одного в другое. Численность такого подвижного гарнизона составляла всего около ста человек, а к концу Смутного времени выросла

более чем в десять раз. Иногда соловецкому войску присылалась подмога.

Монастырским стрельцам приходилось часто вступать в бой с противником, защищать береговые остроги и отгонять врага от поморских деревень. Многие из стрельцов героически погибли, как и самый первый соловецкий воевода – Михаил Озеров. Боевые действия всегда велись на материке. Напасть на Соловецкую крепость шведы так и не решились.

Положение в регионе стало нормализовываться лишь в 20-е годы XVII века. В 1637 году из-за уменьшения военной опасности обязанности соловецкого воеводы были возложены на игумена. Однако военный потенциал обитатели отнюдь не исчерпали себя и учитывался центральным командованием во время последующих русско-шведских войн 1656–1658, 1700–1721, 1741–1743 и 1788–1790 годов, хотя активных боевых действий в регионе тогда уже не велось.

Исследовательница Беломорья К. П. Гемп (1894–1998) как-то заметила, что на Севере жили «люди, воспитанные морем». Таковыми были и соловецкие монахи, отличавшиеся твёрдым и самостоятельным нравом. Из поколения в поколение они учились жить своим умом; духовные и светские власти не слишком докучали обитатели своей опёкой. Подобная «самость» была естественной для большого монастыря, расположенного на окраине. Всё это давало киновитам ту меру самоуважения, которая позволяла им увериться, что у них есть право на собственное мнение и его защиту.

Именно такое мнение возникло в монастыре по поводу реформы патриарха Никона (который сам был соловецким постриженником).

Когда в 1657 году до Соловков дошли книги, исправленные в ходе реформы, иноки рассудили, что сделанные в них изменения необоснованны, и служить по присланным книгам не стали. Монастырские книжники начали посылать царю челобитные, испрашивая разрешения молиться по-старому. Такого разрешения они не получали, но это только укрепляло их приверженность «старой вере».

Вопрос о «новинах» расколол и соловецкую братию. Противники реформы оказались на Соловках в большинстве и решили стоять за «старую веру» до конца. Остальные постепенно покинули обитель. Островной монастырь поддержали многие крестьяне-поморы. Под его охрану приходили старoverы из других частей страны, в том числе миряне.

Непокорность соловецких старцев, на которую сначала в Москве почти не обратили внимания, со

временем начала вызывать у царя всё больший гнев. В 1667–1668 годах он повелел отобрать у монастыря все его вотчины и послал против него войско. Началась осада.

В первые годы «соловецкого сидения» царские стрельцы действовали не очень активно. Всё изменилось, когда в 1674 году командиром стрельцов был поставлен стольник И. А. Мещеринов, получивший более жёсткие инструкции.

Взять монастырь стрельцам удалось благодаря перебежчику, указавшему тайный ход в стене, 23 января 1676 года – за несколько дней до смерти царя Алексея Михайловича.

После этого начались аресты и десятки казней. По старообрядческому преданию, Мещеринов сам допрашивал «сидельцев» и руководил пытками, а осуждённых на смерть по его приказу подвешивали на железных крюках, топили в проруби и оставляли умирать раздетыми на морозе. Мужество, с которым многие из них шли на смерть, свидетельствует о необычайной твёрдости их убеждений.

В эту зиму обитель опустела – впервые за два с лишним столетия. Оставшихся в живых весной разослали по дальним острогам. Новая соловецкая братия была собрана из разных русских монастырей.

События 1668–1676 годов нанесли островному монастырю страшный урон. Хотя обители было возвращено конфискованное во время восстания имущество, монастырское хозяйство пришло в сильное расстройство. Длительное время оно не могло выйти из этого положения, а цветущего состояния прежних времён уже никогда не достигло.

Ослабла и цепь духовного преемства, соединявшая соловецких насельников с основателями монастыря. Киновийный уклад жизни – главная заповедь преподобного Зосимы – постепенно стал разъедаться отдельными послаблениями. Изменилось и отношение к монастырю у жителей некоторых северных деревень – тех, где нашли приют старообрядцы.

В результате всех этих перемен влияние Соловецкого монастыря на Поморье начало постепенно уменьшаться. Но тому способствовали и иные причины.

В XVIII веке Пётр I и его преемники проводили по отношению к монастырям ограничительную политику. Отшельничество и «скитки пустынные» были теперь запрещены. По новым правилам, настоятели монастырей не могли даже сами решать, достоин ли человек принять монашеский постриг, и обязаны были вести по этому поводу длительную переписку с

начальством. Пётр ограничил круг возможных претендентов в монахи и в какой-то момент попытался оставить это право только за военными, отправленными в отставку из-за старости или увечья. По указу императрицы Анны нарушителей подобных указов расстригали и подвергали телесному наказанию, а настоятель, совершивший незаконный постриг, осуждался на пожизненную ссылку.

Лишь через полтора десятилетия после смерти Петра ограничения такого рода были частично сняты.

В начале царствования Екатерины II происходит секуляризация церковных владений. В 1764 году государство конфисковало земли и хозяйственные заведения Церкви; взамен этого обители получали от государства «содержание». Соловецкий монастырь лишился своих материковых вотчин, что привело к новому кризису в монастырском хозяйстве и хозяйственной жизни теперь уже бывших «соловецких» крестьян, лишившихся монастырского покровительства. Но, с другой стороны, избавившись от управления чисто мирскими делами подведомственных селений, монастырь приобрёл определённую нравственную выгоду: его жизнь получила вид, более сообразный с целью монашества.

В последние десятилетия XVIII века в среде русского монашества началось постепенное возрождение древних аскетических традиций.

Во второй половине XIX века монастырь вновь начинает оказывать влияние на другие обители Севера. Так, его постриженники принимали деятельное участие в возобновлении нескольких монастырей, закрытых ещё в XVIII веке, – Стефано-Ульяновского, Кожеозерского и Трифоно-Печенгского.

Привычка к телесному труду помогла соловецкой братии после секуляризации 1764 года сравнительно быстро перестроить монастырскую экономику. За несколько десятилетий на островах архипелага было создано множество новых производств и «служб», обеспечивавших монастырь самым необходимым и достигших своего наибольшего развития к началу XX века.

В это время монастырь обладал налаженным сельским хозяйством с фермой, конюшнями, пастбищами, сенокосами, огородами, теплицами и даже ботаническим садом. В соловецких «тонях» (прибрежных становищах) ловили рыбу и охотились на морского зверя, а монастырские суда отправлялись на промысел в другие районы моря, достигая Мурмана. Обитель занималась судостроением, сама ремонтировала и обслуживала свой флот, ис-

пользуя для этого водоналивной док, заложенный ещё в конце XVIII века. В 60-е годы XIX века на Соловках появились собственные пароходы для перевозки паломников. Действовали при монастыре и разнообразные производства – свечное, гончарное, кирпичное, лесопильное, кузнечное, каменотёсное, кожевенное, смолокурное, салотопенное, а также имелись мастерские – иконописная, кресторезная, переплётная, серебряных дел, литейная, слесарная, малярная, столярная, корзинная, бондарная, санная, колёсная, сетная, сапожная, портняжная и др. Монастырь много строил из камня и дерева. Кроме того, между озёрами Большого Соловецкого острова были проложены судходные каналы, а незадолго до революции у стен обители появилась гидростанция.

В 1897 году монастырю был передан необитаемый Кондостров в Онежской губе Белого моря, и там в течение нескольких лет тоже образовалось островное хозяйство. В 1908 году на Кондострове был освящён большой деревянный храм во имя святителя Николая Мирликийского.

В монастырской экономике были заняты как сами монашествующие, так и приезжавшие на Соловки миряне. Причём наёмные работники составляли среди них меньшинство. Преобладали трудники, захотевшие поработать безденежно.

Обычно трудничество становилось исполнением обета, данного в тяжёлую минуту. Бедные крестьянские семьи могли отправить подростка в монастырь трудником и просто «на пропитание», чтобы хотя бы на время снять с себя заботы о нём. Трудник жил на Соловках год, но мог оставаться и дольше. Монастырь давал ему кров, одевал, кормил, разрешал пользоваться библиотекой.

Специально для трудников монастырь создал несколько ремесленных школ (включая живописную школу). А для мальчиков-трудников – ещё и особое детское училище, открытое в 1859 году. В нём преподавались церковные дисциплины и основы наук.

В XIX – начале XX века на Соловки приезжали и тысячи паломников, причём приток их постоянно возрастал. Особенно увеличился он после того, как в 1854 году английские военные корабли попытались силой захватить соловецкую крепость (тогда уже давно разоружённую), но потерпели неудачу.

Посещение островов паломниками было возможно только в тёплое время года, но и за эти месяцы они успевали ощутимо поддержать монастырь своими жертвованиями. Среди паломников преобладали жители северных деревень, которые порой

проходили значительные расстояния пешком, прежде чем достигали Архангельска, Онеги или Кеми, откуда можно было добраться до Соловков морем. Братия также состояла по преимуществу из вчерашних крестьян. В последний период своего существования Соловецкий монастырь был, как говорили сами монахи, «крестьянским царством».

При монастыре действовало Братское богословское училище, в 1913 году ставшее семинарией.

### НОВАЯ ВЛАСТЬ. – ТАЙНЫЙ МОНАСТЫРЬ. – ЧУДЕСА МУЖЕСТВА

В 1920 году в Архангельске установилась советская власть. На Соловки прибыла комиссия губревкома, приступившая к изъятию монастырских ценностей, запасов продовольствия и прочего имущества. Настоятель монастыря архимандрит Вениамин (Кононов) и иеромонах Никифор (Кучин) были арестованы по обвинению в хранении оружия и сокрытии ценностей.

После официального закрытия монастыря часть братии ушла на материк, но несколько десятков монахов и послушников не захотели бросить святое место. Устроившись вольнонаёмными работниками в различные организации, созданные новой властью на Соловках, они продолжали вести монашескую жизнь, собирались для общей молитвы и даже принимали в свою среду новых братьев, совершая над ними постриг. Этот тайный монастырь существовал ещё около десяти лет, не исчезнув до конца и тогда, когда архипелаг был окончательно передан в ведение ОГПУ. Лишь в начале 1930-х годов его последних насельников выслали с Соловков. История Соловецкого монастыря остановилась через пятьсот лет после его основания.

Ближайшим наследником монастыря после его упразднения в 1920 году стал совхоз.

В 1923 году на архипелаге обосновался Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения. В первые годы режим был сравнительно либеральным, но уже к концу 20-х годов началось ужесточение. В 1933 году СЛОН был преобразован в Соловецкое специальное (штрафное) отделение Беломорско-Балтийского комбината, а в 1937 году – в Соловецкую тюрьму Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. В 1939 году из-за начавшейся советско-финской войны (1939–1940) тюрьма была спешно выведена с Соловков.

Попав за мнимое преступление на Соловки – в среду уголовников, под жестокую власть лагерного начальства, немало людей ломалось. Но зато другие

показывали чудеса мужества. Находясь в заключении, они были готовы страдать за свою веру до смерти, жертвовали собою ради сокамерников, продолжали заниматься научным или художественным творчеством.

Поражают воспоминания людей, сидевших на Соловках. Всего не перечислить, но, наверное, одно из самых сильных свидетельств, рисующих внутренний облик и состояние некоторых заключённых, находится в «Воспоминаниях» Д. С. Лихачёва.

«Под нарами жили «вшивки» – подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное положение» – не выходили на проверки, не получали еды, жили под нарами, чтобы их голыми не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Просто вымаривали, не давая им ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мёртвыми их выносили, складывали в ящик и везли на кладбище.

Это были безвестные беспризорники, которых часто наказывали за бродяжничество, за мелкое воровство. Сколько их было в России! Дети, лишившиеся родителей, – убитых, умерших с голоду, изгнанных за границу с Белой армией, эмигрировавших. Помню мальчика, утверждавшего, что он сын философа Церетели. На воле спали они в асфальтовых котлах, путешествовали в поисках тепла и фруктов по России в ящиках под пассажирскими вагонами или в пустых товарных. Нюхали они кокаин, завезенный во время революции из Германии, нюхару, анашу. У многих перегорели носовые перегородки. *Мне было так жалко этих «вшивок», что я ходил, как пьяный – пьяный от сострадания. Это было уже во мне не чувство, а что-то вроде болезни. И я так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них помочь»* (Курсив в цитатах здесь и далее мой. – А. З.).

Последние предложения трогают до слёз. Наверное, каждому в какой-то мере знакомо это чувство – не унижающей жалости, а сопричастности, подлинного сострадания и любви к человеку; желание оберечь и поддержать, доходящее до состояния, когда забываешь о себе. Но ведь здесь дело происходило в непостижимо жестоких, ужасных условиях, в которых, кажется, можно очень быстро лишиться человеческого облика. И вот в этих-то условиях человек думал не о том, как самому выжить, а о том, как помочь другим.

Возникают ассоциации с цитатами из чеховских рассказов, которые приводит Чуковский в своём очерке.

Первая – слова пастуха Луки Бедного из рассказа «Свирель»:

«Жалко!.. И, Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, господи Иисусе!.. И всему этому пропадать надо!..»

И слова другого пастуха, из рассказа «Счастье»:

«Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет! А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа!».

Среди соловецких заключённых было большое количество верующих разных конфессий. Только из епископата РПЦ здесь в разное время отбывали наказание десятки человек.

Сложившийся на Соловках «собор соловецких епископов» превратился в авторитетный орган церкви. Весной 1926 года епископы выступили со знаменитой «Памятной запиской» – обращением, которое помогло тогда избежать нового церковного раскола.

Вопреки запретам, соловецкие епископы и священники совершали тайные службы, крестили новорожденных, напутствовали умирающих и приговорённых к смерти. Д. С. Лихачёв упоминает священника Николая Пискановского, который пользовался уважением всех начальников острова и помогал заключённым. А Б. Ширяев в книге «Неугасимая лампада» пишет об «Утешительном попе», отце Никодиме, в штрафном изоляторе на Секирной горе по ночам рассказывавшем «священные сказки» (они представляли собою вольный пересказ Библии и Евангелия; особенным успехом пользовалась притча о Блудном сыне). Он приводит слова одного из немногих, кому удалось вырваться из этого изолятора:

«Зимой Секирная церковь, где живут штрафные, не отапливается. Верхняя одежда и одеяла отобрали. Так мы такой способ изобрели: спать штабелями, как баланы кладут. Ложатся четыре человека в ряд, бок на бок. На них – четыре поперёк, а на тех ещё четыре, снова накрест. Сверху весь штабель имеющимся в наличии барахлом укрывают. Внутри надышат, и тепло. Редко кто замёрзнет, если упаковка тщательная. Укладывались же мы прямо после вечерней проверки. Заснуть, конечно, не можем сразу. Вот и слушаем «священные сказки» Утешительного попа... и на душе светлеет...».

Примеры духовной твёрдости показывали и простые заключённые.

В музее на Соловках среди предметов, сделанных ими, сохранилась, например, самодельная икона, хранимая, возможно, с риском для жизни.

Ширяев же описывает случай, когда на первый день Рождества в одном из лесных барачков (в нём жило человек двадцать) решили отслужить обедню затемно, до подъёма, пока дверей ещё не отпирали. Но припозднились и были пойманы охраной. Трое из них (два казака, которые пели, и отец Никодим) не прервали службы и за это пошли на Секирку, остальные успели разбежаться по нарам.

Значительная часть этих людей так и не дожидаясь до выхода на свободу.

Выжившие узники в своих воспоминаниях нередко свидетельствуют, что среди верующих было немало тех, кто воспринимал заключение на Соловках как знак особой милости. Ю. И. Чирков, попавший туда пятнадцатилетним подростком, рассказывает, как однажды хотел утешить плачущего старика-священника, но оказалось, что тот плакал «от радости, что умрёт не в какой-нибудь тайге, а на земле, Зосимой и Савватием освящённой».

Лихачёв в похожем ключе говорит о своём первом впечатлении от Соловков:

«Нас, живых, повели в баню № 2. В холодной бане заставили раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. Попробовали воду – только холодная. Примерно через час появилась и горячая. Чтобы согреться, я стал непрерывно поливать себя горячей водой. Наконец, вернули одежду, пропахшую серой. Оделись. Повели к Никольским воротам. В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря. *И воспринял Соловки, Кремль не как новую тюрьму, а как святое место.*»

После ухода НКВД архипелаг перешёл в руки военных – Учебного отряда Северного флота, размещавшегося здесь до 1957 года. В 1942–1945 годах на базе отряда действовала знаменитая Соловецкая школа юнг. Подростков, многие из которых потеряли на войне родителей, здесь обучали морским специальностям, после чего они уходили на фронт, пополняя экипажи боевых кораблей. Некоторые из них героически погибли.

Соловецкие экскурсоводы рассказывают о строгости воспитания и выучке юнг; о том, какую закалку они приобретали на островах (например, они сами должны были добывать себе пропитание). Описыва-

ют и радостную встречу бывших юнг, которая произошла уже в конце XX века.

При Учебном отряде монастырские здания продолжали ветшать и разрушаться. Лишь в 1960-е годы реставраторы под руководством О. Д. Савицкой приступили к восстановлению архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря.

В 1967 году на Соловках возник музей, и туда вновь начали приезжать люди с материка.

В 1989 году по инициативе некоторых соловчан на острове была создана православная община, а в 1990 году Священный Синод РПЦ принял решение о воссоздании Соловецкого монастыря. Ныне монастырь имеет статус ставропигиального.

### ПОМОРСКИЕ СЁЛА И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ОБИТАТЕЛИ. – НЕКОТОРЫЕ ИЗ РАССКАЗОВ, СОБРАННЫХ В ЭТИХ МЕСТАХ

Находясь на Соловках, начинаешь понимать, откуда ведут своё начало рассказы о чудесах, о необыкновенных явлениях. Сказочная красота природы – неправдоподобно яркая зелёная трава, огромные ковры вороники, синее небо, белый песок. Рыжие горячие камни, сквозь которые пробиваются колокольчики и тысячелистник. Буйство красок. Необычные оптические эффекты: «световые столбы», игра лучей на воде. Призрачные туманы, превращающие этот край в сталкеровскую «зону». Отражения... И везде – кресты, кресты, кресты... Поклонные кресты, восстановленные уже современными кресторезами; крестообразно растущая берёза на анзерской Голгофе... До смешного: по пути на мыс Танцующих берёзок нам попала палочка в виде крестика...

Через какое-то время перестаёшь удивляться количеству чудесных совпадений и начинаешь воспринимать их как должное, само собой разумеющееся. Всё как будто происходит по заботливо прописанному кем-то сценарию; всё складывается именно так, как должно.

Историк С. В. Морозов назвал Соловки «пространством особого назначения». По его словам, «российская история чётче познаётся в своих крайних пределах». Соловки называли «Крайсветным островом», но этот край света – не конец всего, а продолжение жизни в новом качестве. «Смерти нет; смерть – это успение, и жизнь продолжается». По словам С. В. Морозова, в XV–XVII веках Апокалипсис отождествлялся с Севером – но воспринимался не как крушение, а как «время, когда никаких лет не бу-

дет». Идея о том, что времени не существует, о пребывании «в одной точке» (в которой всё сошлось), о вечно длящемся мгновении есть в разных культурах... Но здесь это ощущение становится реальным, живым.

Такое место имеет свой путь; живёт своей особой жизнью и преображает людей, которые с ним соприкасаются.

Видно это и на примере современных обитателей страны Севера, будь это монахи или жители поморских сёл. Они как будто сошли со страниц Толстого или Достоевского.

Этих людей отличает какая-то необыкновенная внутренняя сила, мощь, цельность личности. Спокойствие, сдержанность, скромность в сочетании с особым достоинством. И удивительная степень самосознания – подлинная любовь к «малой родине», память о своих корнях.

Во многих сёлах есть свой «гимн» – песня, сочинённая местным автором, которую там знают все. «Гимн» Кеми, песня о Белом море. Песня о Колежме с незамысловатым, но таким искренним и тёплым припевом:

*Колежма – село старинное,  
Колежма – рыбацкий край.  
В Колежму дорога длинная,  
Ты своё село не забывай.*

У жителей этих сёл сильна память о своей истории. Они хранят старинные предметы быта, иногда доставшиеся ещё от отцов и дедов; берегут семейные альбомы; создают в своих сёлах музеи. Рассказывают завораживающие старинные истории, легенды, побасёнки из жизни своих деревень, которых так много, что всего и не пересказать.

Вот лишь несколько набросков...

Жители села Сумский Посад рассказывают, что в XV веке («при Марфе Борецкой») это село было очень богатым и даже носило название «Град Великие Сумы». Сумлян называли «мещанами» – согласно объяснению рассказчиков, это означало, что они по статусу приравнивались к горожанам. Здесь жили купцы, стояли богатые большие купеческие дома (многие из которых сохранились до сих пор); сюда ездили торговать норвеги, шведы, финны. Велась торговля и с Петербургом. Два раза в год проводились большие ярмарки. Товары складировали в магазине для Соловецкого монастыря, в самом же селе было соловецкое подворье.

О поездках в Соловецкий монастырь рассказывают и жители других сёл. Вера Емельяновна Богдано-

ва из села Шуерецкого упоминала о своеобразном ритуале: в Соловецкие праздники их семья отвозила туда быка: плыли на большом корабле, сидели «по чинам». Во время всех этих поездок обстоятельства к ним благоволили: погода была спокойной, шли «по тихой воде»; и, по словам рассказчицы, как положат быка, так он до самых Соловков и не шелохнётся, смиренно лежит.

С самосознанием и самоощущением сумлян связана несколько комичная «байка».

В селе Сумский Посад на самых порогах стоит живописное судно, которое все называют «ботиком Петра I», или «Петровским ботиком», – один из предметов гордости сумлян. Елизавета Алексеевна Митрохова рассказала нам почти детективную историю, связанную с «обнаружением» хронологической неточности. По словам Елизаветы Алексеевны, её непутёвый сосед как-то в нетрезвом виде уснул под этой исторической реликвией. Проснувшись, он обнаружил в днище ботика какой-то шов. Достав нож, любознательный сумлянин расковырял этот шов, и из открывшейся дырочки высыпались десять монет 1870 года. Изумлённый сосед пришёл (правда, уже без монет) к Елизавете Алексеевне, чтобы поделиться своим открытием, и они вместе вспомнили, что при строительстве судна в него закладывают монеты года постройки...

Елизавета Алексеевна, в сомнениях, рассказала это Зинаиде Александровне Евшиной (1930 г. р.) – уважаемому в селе человеку и, к тому же, учительнице истории. Та, правда, посоветовала выкинуть всё это из головы и никому не говорить, аргументируя это так: если пойдут слухи, то в селе ничего не будут реставрировать.

Конечно, этот рассказ выглядит не очень правдоподобно, но изумляет в нём неподдельный и живейший интерес к своим корням – даже у таких, казалось бы, «несознательных» членов общества, как незадачливый мужичок, уснувший под ботиком.

Поморы отличаются не только особым самосознанием, но и закалкой, выдержанностью, связанной с суровыми условиями жизни. Недаром существуют поморские поговорки: «Кто в море не бывал, так тот и не маливался» (Е. А. Митрохова) и «Кто в море не бывал, тот горя не видал». В этом смысле обращает на себя внимание рассказ экскурсовода Соловецкого Морского Музея Е. Бобковой о том, как участники плавания оказались в опасной ситуации и были уверены, что погибнут. Один из членов команды стал проявлять признаки паники, на что его товарищ сказал ему фразу, характеризующую отноше-

ние помора к опасности и к смерти, эту необыкновенную выдержку: «Лёг умирать – умирай, не мешай другим».

Подобную легенду рассказывала и Елизавета Алексеевна Митрохова (Сумский Посад). Её дед, у которого было своё судно, однажды попал в шторм в селе Колежма. Моряки собрались тонуть, но не потеряли присутствия духа. Положившись на волю судьбы, они пошли переодеваться в чистую одежду, чтобы достойно встретить смерть. Дед был рулевым; поняв, что спастись не удастся, он ушёл с руля, чтобы тоже переодеться. В этот момент он вдруг увидел седого человека за рулем... Команда чудом спаслась вместе с судном.

Эта же рассказчица упоминала о случае, который слышала от своей матери. Однажды женщины во главе с бригадиром плыли на лодках на сенокос. Они попали в сильный шторм, пришлось брести по реке и тащить лодку волоком, а бригадир сидел на корме и правил. В этой экстремальной ситуации бригадир заставил их петь (как выяснилось, позднюю протяжную песню с балладным сюжетом – «Ванька-ключник, сын-разлучник...»): «чтобы не простыли».

Жива в деревнях и духовная, ритуальная традиция. Сложилось ли это благодаря влиянию соловецкого «ореола» или по каким-то иным причинам – сложно сказать...

Маленькая девочка из села Колежма Даша Лёгкая рассказала нам историю про «Покулин дом». В селе этом сохранился один поклонный крест, установленный около дома (что вообще-то нетипично). Говорят, что около этого креста мать «вымолила» восьмерых своих сыновей, которые ушли на фронт.

В селе Шуерецком такой крест стоит на кладбище, и люди до сих пор носят к нему «полотенца», вышитые по обету.

Много рассказов и о том, как рыбаки молились перед выходом в море, просили заступничества у Николая Угодника:

*«Никола Угодник, помощник Божий,  
Ты и в доме, ты и в поле,  
и в пути, и в дороге...».*

Как поминали «всех усопших, всех погибших» у креста. Как рыбаки ходили с жёнами к часовне Покрова Богородицы (с. Колежма).

По рассказам Алексея Александровича Миронова из с. Шуерецкого, который ходил по северным морям до Владивостока, перед отправлением в море ходили к «деду Тимофею», «знающему» человеку, который что-то шептал и благословлял моряков.

По словам уже упоминаемой Е. Бобковой, опись любого большого поморского судна всегда начинается с описания икон в иконостасе. Обязательно должны были присутствовать пять икон: Николай Чудотворец, Спаситель, Богоматерь, Соловецкие святые и икона святого, в честь которого названа лодка. Каждый помор, отправляясь в плаванье, непременно брал с собой икону и сам делал для неё деревянный оклад.

Часто всё это сочеталось с ритуалами, близкими к языческим. Например, по словам А. А. Миронова, когда заходишь на борт – надо «поздороваться с морем». Когда же он в последний раз был в море и знал, что больше не вернётся, один из товарищей (служивший вместе с ним) посоветовал ему «проститься с морем». Алексей Александрович взял тёплые добротные варежки, бросил их за борт и сказал: «Прости, море, до свидания; больше мы здесь не будем».

Существовала и практика бросать золото в море, чтобы погода успокоилась.

Во всём этом проявляется характерное для поморов пантеистическое, цельное восприятие мира не просто как «среды обитания», а как личности; уважение к себе и к окружающему. Возможно, что само место располагает к такому восприятию...

156

Поражают рассказы, связанные с отношением к старшим, – в частности, с традицией «потайной милотины».

В деревнях были бедные одинокие старушки (старшие), которые жили в «келейках» – маленьких домиках («избушках»), состоящих из одной комнаты. Часто такие домики строились специально для одиноких старушек (хотя иногда в них жили и целые бедные семьи). Время от времени (например, по праздникам) таким старушкам тайно носили гостинцы (обычно посылали детей) – дрова, рыбу, молоко, сушёные грибы. Старушка, выйдя на крыльцо и увидев гостинец, говорила: «Дай Бог здоровья благо творящему».

Одиноких бабушек, которые уже не могли выполнять тяжёлую работу по дому (а прожить без этого было невозможно) иногда «брали на жильё по бедности» – «доживать» свой век. По воспоминаниям Марии Яковлевны Бакановой из с. Колежма, её свекровь «додерживала до смерти» не одну бабушку. Такие старушки могли помогать по дому – делать несложную работу: топить печку, шить, печь блины. Сумляне тоже вспоминают о подобном случае со старушкой, которая «ходила по людям» шить до того, как её «взяли на жильё».

Иногда «знающим» богомольным бабушкам открыто носили подарки (продукты, одежду, деньги) – вместе с поминальными записками, прося молиться за родных, прочитав канон. Семья Мироновых помнит об Анне Дмитриевне – она была неграмотной, но знала все молитвы.

Елизавета Алексеевна Митрохова рассказывала о старушке-старообрядке, которая жила одна; у неё была старинная книга «Житие святых Зосимы и Савватия».

К таким старушкам не относились пренебрежительно; «потайная милостынька» не воспринималась ни дающими, ни берущими её как нечто унижительное. Скорее, это было взаимное соглашение, которое воспринималось как нечто органичное и само собой разумеющееся. По теплоте и уважению, с которыми сельские вспоминают «старших», можно сделать вывод, что отношение к ним было очень бережное. Оно имело разные оттенки – от щемящего сочувствия до благоговения.

В современной жизни это сохранилось в виде отношения к пожилым людям, к матерям, которое проявляется даже у самых непутёвых сыновей – даже в самых плачевных случаях.

### ОТКРОВЕНИЕ

Ночь накануне отъезда домой. Мы шли со всемогущего бдения по дороге от монастыря к дому, в котором остановились. Впечатление от всего окружающего было каким-то совсем уж нереальным. И прозрачное сизое небо, и выделяющиеся на его фоне башенки монастыря. Он – как фата-моргана, всё время меняется. То кажется, что вырезан из бумаги, настолько чёткие, острые контуры. А то вдруг ощущение, что вот сейчас он взлетит и рассеется, монастырь-призрак. А иногда – как будто макет, игрушечный домик. Маленький монастырь, маленький посёлок – так бы и уместился в ладонях. Но какая насыщенная история, сколько разных пластов за всем этим...

А над башенками – полная луна и, с другой стороны, не то огромная звезда, не то планета. И эта дорога – кажется, что кроме неё на всём свете других и нет. Одна-единственная.

И наши собственные страдания, «ужасно-страшно-возмутительные трагедии», метания, мучительные поиски оказались настолько жалкими и мелкими... Стало стыдно за вечное нытьё, за слабость, за неумение ценить самый бесценный дар, какой только возможен, – жизнь. Ценить хороших людей; ценить возможность заниматься своим делом; возможность думать и совершать те поступки, которые считаешь нужными, не опасаясь ежесекундно расправы.

Какой жалкой после этого стала казаться боязнь общественных стереотипов, кажущаяся невозможность противостоять обывательскому «болоту».

Мы уезжали, успокоенные и умиротворённые, с твёрдым намерением избавиться наконец от бесплодных рефлексий – и начать делать, действовать.

Нам казалось, что мы наконец-то почувствовали твёрдую почву под ногами, фундамент, некий внутренний стержень. Небо опустилось на землю; всё, что раньше казалось оторванными от жизни фантазиями и пустыми мечтаниями, обрело плоть.

И если раньше нам казалось, что романтическая антитеза «некрасивая реальность – нереальная красота» не теряет своей актуальности и поныне, то теперь стало ясно, что подлинная красота – в реальной жизни, в окружающих людях; в мелочах, которые только кажутся мелочами.

У нас появилась какая-то убеждённость: всё в наших руках. Перед нами – целый мир, и в наших силах сделать его ещё немного лучше. Пусть это будет капля в море, благодаря которой станет легче и радостней одному, двум людям... Пусть даже всё обернётся не так, как хотелось, и благие намерения приведут к печальным последствиям – пробовать всё равно стоит.

Ощущение единства микрокосма и всего мироздания никуда не ушло и не стало меньше. Даже наоборот: стали видеться связи, арки между событиями; появилось чувство, что всё не случайно. Но теперь окружающий мир стал представляться мне уже не «куполом», а обнимающим всё и вся живым существом. И вспоминалось:

*«Вселенная спит, положив на лапу  
С клещами звёзд огромное ухо».*

г. Санкт-Петербург



Владимир  
ЯРАНЦЕВ

## ТОМСКИЕ ТАЙНЫ БОРИСА КЛИМЫЧЕВА

К 80-летию  
Б. Н. Климычева

1 июня 2010 года в Томске праздновали юбилей Бориса Климычева – писателя замечательного, яркого, многообразного в своем творчестве. Я поздравил юбиляра небольшой речью, в которой, конечно, не мог высказать всех одолевавших меня чувств и мыслей. Пользуясь возможностью опубликоваться, я решил, не мудрствуя, дать речь, как она прозвучала в Томской библиотеке им. А. С. Пушкина, дополнив ее ниже автопримечаниями («Самокомментарий»). Получился двусложный текст, который и предлагаю читателям. Легко заметить, что здесь часто встречается название журнала «Сибирские огни» (Новосибирск), в свете которого здесь, в большинстве случаев, и рассматривается творчество Климычева. Это не удивительно, ибо я являюсь сотрудником этого уважаемого литературного журнала, родственного, как видно уже по названию, «Огням Кузбасса», которым и благодарен за данную публикацию.

«Сибирским огням» всегда везло на талантливых авторов. Л. Сейфуллина и В. Зазубрин, Л. Мартынов и П. Васильев – в 20-е, В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин – в 60-е и 70-е. Называю только самых известных, получивших всесоюзную славу. На самом деле можно назвать десятки имен прозаиков, поэтов, публицистов разных эпох, составляющих тот круг писателей, который, собственно, и явил собой феномен сибирской литературы. В противопоставлении московской, печатаемой в столице, которую принято считать эталоном литературы для «регионов», т. е. «провинции», она не нуждается. Надо только сказать, что у литературы в Сибири есть свои достоинства, то своеобразие, которое сразу видишь в произведениях наиболее талантливых сибирских писателей.

Борис Николаевич Климычев именно такой писатель. Его узнаешь по почерку, стилю, языку. А главное – свободе и непринужденности пера, которую ощущаешь во всех его произведениях (1). Особенно в

прозе и особенно в романах. Романы Климычева – это всегда какие-то грандиозные авантюры в старинном (фольклорном или даже средневековом) значении этого слова (2). В них пускаются, вольно или невольно, практически все его герои. Будь то кавалер Девильнев из одноименного романа, Николай Зимний из «Прощали», писатель Глебычев из «Надену я черную шляпу...» или журналист-писатель Мамичев из «Поцелуй Даздрапермы» (я называю только опубликованные в «Сибирских огнях»). Так уж они устроены, что жадны до жизни во всех ее проявлениях, сверху донизу. Так уж устроен и сам Б. Климычев, человек неумной биографии, имеющей южный полюс в Ашхабаде и северный – в Томске (3). Может, поэтому он так щедро населяет, а порой и перенаселяет свои произведения людьми и событиями: чем населенней, тем азартней писатель, тем сподручней ему. Хотя и кажутся они неуправляемыми и необузданными в желаниях и инстинктах. Потому и встречаешь тут и миазмы, и добродетели, крайний натурализм и романтизм. Потому и герои Климычева всегда на грани преступления и подвига, они и криминальны, и героичны, жадны до жизни, не домоседы, а скитальцы, бродяги (4).

Собственно, в этом жизнелюбии вопреки обстоятельствам и заключается сибирское качество его прозы – грубой и тонкой, реальной и гротескной одновременно. Вспоминаются «чудики» Шукшина, правдолюбы Астафьева, праведники Распутина – то, что считается классически-сибирским и что так выпукло явлено в романах, повестях, рассказах и стихах Климычева. Порой чрезмерно, раблезиански даже.

Но у Климычева есть еще и фактор Томска – города не только древнего, но и загадочного, полного тайн, подлинных и мнимых. Для меня наиболее «томский» роман Климычева – «Поцелуй Даздрапермы». Он виртуозен, как резьба знаменитого томского деревянного зодчества, многослоен, как культурные слои вашего 400-летнего города, остроумен, как студенты самого сибирского Томского университета. Это и авантурный роман, и «хроника в лицах», и репортаж с места событий (прозаик Климычев всегда еще и журналист), и памфлет на известных лит. персон «Тамска»-Томска (5).

Но нельзя назвать Климычева и писателем сугубо томским, замкнутым на своем городе, своей биографии. Хотя бы уже потому, что он широко публикуется по всей Сибири и за ее пределами. Его реализм как подлинный, не сводящийся к фотографированию, генетически породнен с мифом и анекдотом. То, что Достоевский называл реализмом «в высшем смысле», т. е. касающимся вечных ценностей. Коснуться их помогает писателю его поэтический опыт, его поэзия, на первый взгляд незатейливая из-за отсутствия громких слов и эффектных метафор, но внутренне сильная, очеловеченная. Впервые, кстати, Климычев в «Сибирских огнях» публиковался именно как поэт (6).

Исторический роман у Климычева тоже своего рода поэзия. Это и документ, и миф, и человековедение. Ему интересны все без исключения люди – в их падениях и взлетах. Ибо, как пишет Климычев-поэт: «Яма может быть горой / Ее лишь надо вывернуть наружу». И потому творческим кредо писателя, несомненно, являются слова: «Каждый человек есть личность необычайная...». В этом смысле Климычев – прямой наследник неореалистов А. Куприна, Алексея Толстого, Горького, есть в нем и солнечность Михаила Булгакова, ибо булгаковская Москва в чем-то сопоставима с климычевским Томском (7).

И это подлинно сибирское мироощущение, которому нет пределов ни в большом, ни в малом. Оптимистическое по сути, оно оказалось созвучно тому всплеску лит. надежд, которые испытала отечественная литература на рубеже XX и XXI веков. Т. е. когда «второе дыхание» обрели «старые» журналы и альманахи, в том числе и «Сиб. огни», и стали появляться новые, такие как «Сиб. Афины». То же можно сказать и о писателях. Климычев нашел свое видное место в «Сиб. огнях», которые еще в 20-е годы явились центром общесибирской лит. жизни и в 2000-е вновь воскресли. Климычев стал одним из тех, кто сыграл в этом возрождении старейшего журнала ведущую роль. И благодаря которому сегодня можно сказать, что сибирская литература существует, несмотря ни на какие трудности.

«Сибирские огни» от души желают Б. Н. Климычеву новых творческих успехов, долголетия физического и литературного на благо сибирской и российской литературы и культуры!

### САМОКОММЕНТАРИЙ

#### 1) Свобода и непринужденность.

Явилась эта свобода не сразу: Климычев шел к ней через опыт журналиста газет малого калибра и крошечных тиражей – в Туркмении и на Оби. И через немалый поэтический опыт: он писал везде и всегда, стихи были спутниками его жизни во все эпохи и при любых обстоятельствах. Например, таких. Вернувшегося в Томск молодого поэта грабят местные урки, но в его фанерном чемодане находят лишь тетрадки со стихами. Один из подонков, «гундосый горбун», говорит своему поделельнику: «Иван, давай я накааю, а его скушать заставим. Раз с его пользы нет, так хоть посмеемся». Этот Иван, наверное, успел зацепиться глазом хотя бы за строчку, иначе не спас бы юношу от унижений: «Бери стихи и беги!».

Об этом, как видно, автобиографическом случае, Климычев напишет позже, в 2003 году. В романе «Надену я черную шляпу...» о верности творчеству и поэзии, растущей, как известно, из «сора», но, оказываясь, и из навоза, будто из самых светлых родников. Достаточно взглянуть на страницу 28 майских «Сибирских огней» за 1961 год, чтобы убедиться в этом. Стихотворение «Цветы» – первая публикация Климы-

чева в старейшем общесибирском журнале – это чистый воздух, «аромат весны», «просторные комнаты»: «И на прилавках, словно в дивной сказке, / Расставил кто-то свежесть и красоту...». Это написано как раз в те нелегкие годы, а с фото на той же странице смотрит 30-летний поэт в белой рубашке с воротником навыпуск и открытым светлым лбом человека «оттепельной» эпохи: дебют Климычева в «толстом» журнале совпал с космическим дебютом Ю. Гагарина и всей страны.

Реже, чем хотелось бы, Климычев будет затем публиковаться в «Сиб. огнях»: 1973, 1976, 1977, 1982 годы. Зато вышла первая сибирская книга – «Тихий свет» (Новосибирск, 1977). Это тихая таежная лирика, акварели в рамках из кедровых колючих веток, фрески на вечной мерзлоте: «Марьянка в торбосах с бисером», Усть-Шиш, где «сугробы стоят медведями», «река Ушайка, с бельишком шайка» и т. д. Это и миниатюры с эпическим замахом, и заметки корреспондента, и дневниковые исповеди: «Я самый северный редактор / В краю, где люди нефть нашли. / Чихает у окошка трактор. / Мороз. И факел в нем – вдали». Чем и затруднил художника Е. Ф. Зайцева, оформившего обложку этой книжки-невелички (70 страниц карманного формата) в стиле орнамента: схематичные ромашки, геометрические сосны / кедры, круги-спирали облаков; ни неба, ни солнца. Затруднила книга и новосибирских редакторов. «Главновосибирцы, – сообщает Климычев в «Поцелуе Даздрапермы», – мариновали («Тихий свет». – В. Я.) лет десять».

Между тем известный поэт Н. Старшинов писал, что «наивысшее достоинство» стихов Климычева «в том внутреннем свете, который они несут читателю». Несмотря на «большую и нелегкую жизнь», что он «человек, хлебнувший горя в детстве», что «много поездил, многое повидал». Эти слова известного поэта напутствовали первую московскую книгу Климычева «В час зари» (М., Современник, 1980), где он уже в статусе «сложившегося интересного поэта». За ней следуют другие, и аннотация к сборнику «Ключ любви» (М., Молодая гвардия, 1985) о «шестой книге поэта из Томска», а через три года тот же «Современник» аннотирует поэму «Возвращение земли» как «сердцевину» одноименной поэтической книги (М., 1988). А через 17 лет в предисловии к книге «Есть ли в Томске медведи?» сам Климычев расскажет об этой поэме то, что не могло войти в аннотацию. Сначала он отправил ее Е. Евтушенко: «Ответа не получил». Из «Современника» же ответили благоприятно («поэма готовится к изданию»), а во внутренней рецензии «один критик» даже сказал: «Чудо!». Но об этом никто не узнал. Аннотация жевала казенными словами: «Насыщена драматизмом, живо рисует человеческие характеры»... Климычев же словами далеко не казенными отхлестывает евтушенковский плагиат – «вшивую историю» заимствования строки о «хитрых вшах» во вшах заплатанной одежды, и «столичных отшивал», плюющих на «Леню Мерззликина,

на Колю Самохина...». «Нас не видно из Москвы», – заключает он, сдерживая то ли горечь, то ли гнев.

Увидеть не помогли ни эти тонкие поэтические книжки, изданные в столице в 80-е, ни Н. Старшинов, ни даже Евтушенко, польстивший плагиатом. А может, наоборот, помогшие открыть в себе другие грани таланта, переориентировали с запада на восток, с Москвы на Томск, с поэзии на прозу. Тем более что опыт уже был – новосибирская книжка «Часы деревянные с боем» (1981). Детская по жанру – «повесть для среднего школьного возраста», по содержанию это воспоминания, написанные опять-таки поэтом. Тем, который «много поездил и многое повидал». Но сохранил «внутренний свет», совпавший с «детским» жанром. Написавший в отдел рецензий «Сиб. огней» отзыв на эту книгу томский писатель Э. Бурмакин уже тогда ощутил: его земляк, «может быть, рассказывает не все из того, что он мог бы рассказать». И что, может быть, попытка написать о своем детстве «от лица мальчишки» не позволила дорассказать все до конца. И автор рецензии повторяет свою мысль-догадку: «У писателя... остался в запасе немалый жизненный материал». Прошло 30 лет, и для Климычева настало время романа, где этот жизненный материал использован, как говорится, на всю катушку. И даже с избытком.

Таким вот непростым оказался жизненный и творческий опыт юбиляра.

## 2) Грандиозные авантюры.

Может быть, все началось с той счастливой мысли, когда Климычев решил соединить свой «жизненный материал», свою историю, с историей отечественной и сибирской, породить две истории? Климычев-романист для «Сибирских огней» начался как раз с романа исторического «Кавалер Девильнев». Точнее, с его падения из кареты в жестокий мороз по пути в Москву (Климычев любит «ударно» начинать свои произведения). А дальше – князь-прохиндей Жевахов, голая Палашка и дико влюбленный в нее крепостной художник Мухин, впоследствии разбойник. Карусель романа крутится все быстрее: Девильнев уже глава московского сыска, затем офицер армии знаменитого П. Румянцева, потом девять лет Алтая и алтайских диковин, включая сектанта и колдуна Горемира. И это только «предисловие», предыстория величиной с полромана его томских приключений, читать которые лучше, чем их пересказывать.

А когда автор пишет о горьких думах Девильнева, что ему «далеко за 50, и не было у него своего угла», то думаешь о герое автобиографического романа Климычева «Надену я черную шляпу...». Свои седина, морщины и «угол» в Томске писатель Глебычев получил примерно в том же возрасте. И пройдя через ту же круговерть авантур, что и будущий комендант Томска. Хоть тут середина и не XVIII века, а XX, и нет князей, цариц и масонов. Зато есть «синьор Бо-Бо»,

певший «то в одном, то в другом автобусе арии из опер», Мальвина, окончившая речное училище и ходившая по улицам «в тельняшке, в речном кителе и в белой фуражке с крабом», фарцовщик Карл Маркс с «дворянского этажа», любитель «девочек», орущий в постельном экстазе «жеребьячим криком» на весь этаж, Шарль Иванович Бамбин, выглядевший «не то заграничным нищим, не то Че Геварой».

После «Надену я...» – «Прощаль», роман о Томске начала XX века, историческим уже не кажется: незадачливый простолоудин и плут Федька Салов или вор по рождению и убеждению Аркашка Папафилов находятся в равных сюжетных условиях с купцами Смирновым и Гадаловым, университетскими профессорами, с Потаниным и Шишковым. Климычеву вновь удалось собрать такой дружный ансамбль персонажей, самодвижущийся механизм романа, похожий на часовой, что множество подробностей, деталей быта эпохи, ее людей, больших и малых «работают» на этот «механизм» бесперебойно. В мелочах не тонешь.

Такой же ансамбль и механизм приводит в действие Климычев и в «Поцелуе Даздрапермы» – романе авантюром уже в ином смысле. Несмотря на то, что известные томские писатели могут узнать себя в героях этого романа, Климычев все же его публикует. Чтобы поняли, наконец, что писал он все эти годы не исторические, автобиографические или сатирические романы, а авантюры. Вернее, «авентюры», а это уже совсем другое. Если не впадать в буквализм современного словарного значения слова («рискованное и сомнительное дело, предпринятое в расчете на случайный успех»), а вспомнить седые эпические времена «Песни о Нибелунгах», т.е. немецких рыцарях и их деяниях, в которой не главы, а именно «авентюры». Они нарочно так хитро устроены (сложная система рифмовки и чередования строк и строф), чтобы сделать чтение более комфортным и создать «интонацию неотвратимого движения вперед» (В. Г. Адмони). Климычеву же как раз и важно это вечное движение длиной в роман. Оно не случайно или бесцельно, а отражает течение жизни, в котором ее (жизни) смысл, собственно, и заключается.

## 3) ...северный – в Томске.

На самом деле полюсов в жизни Климычева было много. Обо всех не узнаешь, особенно в опубликованных биографиях писателя. Сам он тоже скуп на подробности. Наверное, потому, что делал биографией свои книги. А там можно побывать везде и в любом обличи: уроженцем пригорода Авиньона Франции XVIII века алхимиком Девильневым или шведского Гетеборга конца XIX века ученым Улафом Страленбергом из романа «Томские тайны». Иногда Климычев проговаривается прямым текстом: «Мечтал ехать в Москву, нездоровье не пустило». Так что главной биографией писателя остался Томск.

## 4) ...скитальцы и бродяги.

Легко заподозрить Климычева в том, что он «вопреки традициям русской словесности героизирует авантюристов, людей без чести и совести». Сие написал другой томич, писатель С. Заплавный. Который не почувствовал стихийного характера творчества Климычева, где жизнь предстает в чистом виде, в образе «голового», т. е. лишённого социального, правового и т. д. статуса человека. А. Казаркин, известный томский филолог-сибиревед, называет такого героя «никакой человек, маргинал», почему-то относя его к деградировавшему лит. типу «лишнего человека». Но на окончательный приговор, на собственное мнение автор обзора «Веги литературной жизни Томска» так и не решился: «Традиционалисты не приемлют то, что нет грани между забавным и отталкивающим, между исторической явью и фантазией. Здесь видят пример неуважительного отношения к истории, характерного для эпохи постмодерна».

Вспомним историю с «Тихим светом», художника книги и ее редакторов – то же недоумение, непонимание. Кроме ощущения какой-то энергетики, динамичности, изначальной слитности положительного и отрицательного, плохого и хорошего. Тут можно процитировать давнее высказывание А. Воронского об одном из авторов «Сиб. огней» 20-х годов: «Не пойму, что это у вас такое – реализм, не реализм... не пойму...». Видимо, сибирская проза и поэзия такова, что не вмещается в рамки привычных схем: реализм, постмодернизм, «грубый натурализм» и т. д. Такой своеобычностью можно бы только гордиться. Но хочется классичности, новых Г. Гребенщиковых, А. Новоселовых, В. Шишковых. Хотя Гребенщиков, можно сказать, героизировал разбойника в великолепной, восторганшей, например, К. Бальмонта, «Былине о Микуле Буяновиче», а Вяч. Шишков в «Ватаге» – «красного бандита» Рогова-Зыкова. Причем Шишкову пришлось потом специально оправдываться, что «зыковщина» только «горькая накипь в народном движении».

Так, может, прав все-таки Л. Троцкий, который еще в 1927 году сказал, что «сибиряки – запойные певцы мощи стихии и слабости человека», что отражается в «необузданном половодье образов и слов». Не будем ставить точки в этом разговоре о творчестве Климычева, в котором у нас поучаствовало столько светлых умов.

## 5) ...Тамска-Томска.

В Томске «Поцелуй Даздрапермы» очень не любят. Считают роман и неудачным, и некорректным (мягко

говоря!), и чуть ли не завершающим писательскую карьеру Климычева. В этом видна предвзятость, изъят взгляд изнутри, всегда однобокого. Во взгляде извне свои преимущества: лучше чувствуешь творческое задание автора – обобщить лицо в тип, дать картину жизни провинциального писателя, которому нравится быть провинциальным. Но к которому автор тем не менее испытывает искреннюю, теплую любовь. Ту «скрытую теплоту патриотизма», о которой писал Л. Толстой в «Войне и мире». Ведь «член писорига» Мамичев, руководитель лит. кружка при Политехническом институте, учит людей поэзии – «науке любви», а не ненависти.

## 6) ...как поэт.

Теперь Климычев как поэт почему-то в «Сиб. огнях» не печатается. И потому хочется напомнить одно из самых «свежих» и личных стихов Климычева «Анкеты» (1982), хотя бы частично: «Заполняя длинные анкеты / Не лауреат различных премий, / Я, не избиравшийся в советы, / Вспомнил, сколько было в жизни терний. / Вот вопросы: был ли за границей, / Знаю ль языки, имею ль степень. / Помню, как мороз в Усть-Куте злится, / Как пылают в Казахстане степи. / Много по России пота, крови / Пролил на работах я различных. / Малость понимаю по-коровьи, / Научился понимать по-птичьи. // Воду пил из бочажка, из бочки, / Ночевал по старым баням летом, / В землю я вписал посевов строчки, / Вот анкеты были, так анкеты!..»

## 7) ...климычевским Томском.

В Москву Климычев стремился, но ее же и разлюбил за наплевательское отношение к сибирским талантам. Так же столицу любил / не любил и М. Булгаков, который в «Мастере и Маргарите» наслал на нее Воланда и К° и учинил там ряд погромов. Но и воспел, так что москвичи Булгаковым теперь бахвалятся: Музей на Патриарших прудах, элитное булгаководение и т. д. и т. п. Какой бы роман Климычева вы ни читали, можете найти там своих Воландов (например, граф Загорский в «Прощали»), Берлиозов (Лука Балдонин или Иван Осотов из «Даздрапермы»), Иванов Бездомных (Глебычев из «Надену я...»). В конце концов, Томск ведь город тайн и легенд.

Да и сам Борис Николаевич Климычев, плоть от плоти своего таинственного города, человек и писатель еще не разгаданный. Пусть он таким и остается, а мы его будем читать и разгадывать. Ведь и читать, и разгадывать можно только то, что нравится.



Жюри литературной премии «Ясная Поляна» огласило шорт-лист 8-го сезона в категории «XXI век». В число финалистов премии вошел Борис Климычев с романом «Треугольное письмо».

**Вячеслав  
ЕЛАТОВ**

## **ОСТАЮСЬ УЧИТЕЛЕМ**

Работа школьного учителя русского языка и литературы принципиально отличается от преподавания этих предметов в вузах своей универсальностью. И дело тут не только в том, что он – или чаще она – едины в двух ликах учителя словесности: с одной стороны – уроки языка, с другой – литературы. И даже не в том, что русисту в общеобразовательной школе порой приходится вести иностранный язык и историю. Дело именно в универсальности его познаний в области той же литературы: от древнерусской до современной, от подростковой до литературы для старшего и вполне изрядного возраста. Это оборачивается для учителя жесткой зависимостью от методических разработок, инспекторских установок и занятий на курсах усовершенствования: попробуй сам разобраться в новинках или разработать что-нибудь действительно масштабное, не забросив при этом ни ежедневных проверок тетрадей, ни элементарной работы по самообразованию! И попробуй сохранить тот здоровый консерватизм в своей работе – кто бы и как бы тебя ни прищипывал! – о котором так кстати напомнили нам сегодня герои «Иронии судьбы» 70-х. Нет, только на финише, лишь по выходе на заслуженный отдых, ты получишь наконец возможность избавиться от профессионального всезнайства, от умения, вопреки утверждению Козьмы Пруткина, объять необъятное. Теперь ты можешь сосредоточить своё внимание на чём-то одном, либо связанном с твоей основной специальностью, либо вовсе не имеющем к ней никакого отношения, например, на живописи или технике, рукоделии, кулинарии, садоводстве. Теряя в универсальности, обретаешь не мыслимые ранее самостоятельность и смелость творческих решений.

Однако – и это самое удивительное! – ты по-прежнему остаёшься учителем! Чем бы ты ни занимался, в глазах твоих бывших питомцев ты прежде всего – учитель. Тем более, если ты и сам сохранил интерес к своему предмету и если ввевшаяся во все поры универсальность учительского сознания не даёт тебе уйти ни в профессиональную критику, ни в область очищенных от земной суеты сует фундаментальных исследований. Нет, заложника учебных классов и школьных коридоров, тебя так и подмывает – учить! Если не детей, так теперь уже бывших своих учеников, которые и сами давно уже числятся по разряду наставников. Именно адресат и определяет жанр твоих сегодняшних уроков: публицистика, газетная и журнальная публицистика, в которой бывшие дети без труда узнают тебя прежнего, своего учителя и классного руководителя.

Минусы былой всеохватности с лихвой окупаются плюсами универсального мышления. Об этом мы начинаем по-настоящему догадываться, когда школьные уроки уже позади. Любой самый выдающийся узкий специалист уступает здесь учителю. Кем-то была подмечена закономерность: наибольшим числом рационализаторских предложений и изобретений мы обязаны людям со средним специальным образованием, у которых-де и кругозор шире, и зацикленность на каком-то одном отдельном вопросе отсутствует. Целиком и полностью это можно отнести и к учителю: по роду своих занятий – независимо от каких бы то ни было высочайших или просто нормальных уровней полученного образования – он укладывается в разряд специалистов среднего звена, то есть в высшей степени творчески раскованных и готовых к импровизации на любую заданную тему. (Только бы мы сегодня не забывали об этом и перестали усиленно внедрять в школе табель о рангах, равняя педагогов по росту и в затылок друг другу и выясняя при этом, кто выше, а кто еще выше в творческом отношении, кто первый, а кто самый или даже во всех отношениях первый. Как было бы кстати, говоря без устали о неповторимой индивидуальности учителя, вспоминать время от времени о математическом понятии несоизмеримости, которое так удачно выразилось в поговорке об одной гребёнке!) Вот что, например, поведал об оригинальности учительского мышления американский фантаст Айзек Азимов в рассказе «Возьмите спичку».

Во время одного из путешествий по беспредельному мирозданию космический корабль попадает в результате «прыжка», то есть мгновенного перемещения в пространстве на десятки световых лет,

в непроницаемое облако, из которого можно выбраться только посредством еще одного «прыжка». Но энергии на корабле для этого недостаточно, а в облаке нет свободного водорода. Положение было критическим. Корабельный специалист по термоядерной реакции выключил систему энергоснабжения из опасения повредить реактор содержащимися в облаке химическими соединениями. Выход из, казалось бы, безвыходного положения был найден одним из пассажиров. Некий Луис Мартанд, предпенсионного возраста учитель, сразу же определил и оценил грозящую опасность, и он же нашёл гениальное в своей простоте решение: чтобы не повредить реактор, надо вместо ядерной воспользоваться обычной химической реакцией для выделения водорода. Как, мол, на уроке: берешь спичку и... Но как подсказать решение всемогущему ядерщику, в работу которого не смел вмешиваться даже капитан корабля? Наш дилетант и тут нашёл способ. Корабль был спасён, но самого спасителя от греха подальше изолировали до конца полёта. «Как вы посмели манипулировать Специалистом?» – объяснил ему капитан причину его заточения. – «Но ведь я с восьмиклассниками сейчас работаю, – простодушно отвечал учитель. – И с другими детьми дело имел» (Science Fiction. English and American Shot Stories. – Moskow Progress Publishers, 1979).

Дело, мы понимаем, не исключительно в учительской профессии, а в проявляющейся в ней закономерности: непредубежденный, свежий взгляд на вещи всегда и везде помогает прояснить ситуацию. Как, например, это сделал мальчик в сказке Андерсена о големом короле.

Говорят, что времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Это так, но смотря в чём меняемся. А ещё говорят, что фигура просветителя сегодня просто смешна. «Есть время просветительства, – утверждал, например, совсем недавно в своей лекции композитор и музыкальный теоретик Владимир Мартынов, – а есть время, когда просветительство невозможно, и тот человек, который будет строить из себя просветителя, будет, по-моему, очень смешон» (ПОЛИТ.РУ. 2007. 5 окт.). Ну, вот с этим я согласиться никак не могу и потому, не боясь показаться смешным, приступаю к хорошо и давно знакомому мне делу народного просвещения, не дожидаясь, когда кто-нибудь из очередных теоретиков объявит, что время, дескать, для этого наступило, валяйте!

У выходящего на пенсию учителя на рабочем столе по-прежнему остаются какие-то учебники и

пособия, нацеленные на новую, лишенную былого универсализма работу. Кто-то мог удариться в фольклор, интерес к которому сохранил ещё со студенческих лет, а кто-то занялся теоретическими основами стихосложения; а ещё кого-то могла заинтересовать несобственно-прямая речь или состояние современной отечественной литературы... Моё, например, внимание привлёк вопрос о периодизации новейшей литературы, в решении которого сегодня обозначились два подхода: наряду с традиционным со всей определённостью заявило о себе стремление радикально пересмотреть вслед за переосмыслением её идейного содержания и соответствующие хронологические рамки.

Двадцать лет назад наша действующая древняя столица Москва в лице преподавателей университета подготовила для школьного учителя пособие «Современная русская советская литература» (М., Просвещение, 1987), в котором к современным были отнесены произведения 1950–80-х годов, причём для прозы уже тогда речь шла отдельно о процессах 50–60-х и 70–80-х. Этой периодизации придерживались и составители школьных программ, и составители программ факультативных курсов, и авторы школьных учебников. Если, например, в учебнике 1978 года период современной литературы укладывался в 50–70-е годы, то уже в 1983 году – то есть всего через три года после начала нового десятилетия – эти рамки раздвинулись до 80-х. А в книге для учащихся «Русская литература. Советская литература. Справочные материалы» (1989) мы уже читали и о повестях В. Распутина «Пожар», Д. Гранина «Зубр» и С. Антонова «Овраги», и о романах «Выбор» и «Игра» Ю. Бондарева, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Белые одежды» В. Дудинцева и «Кануны» В. Белова. С этими произведениями учителя знакомили старшекласников на отведённых программой уроках по советской литературе и на факультативах, они же, ещё пахнувшие типографской краской, рекомендовались среди прочих и для ответов на экзамене.

Двадцать лет спустя наша бывшая северная столица Санкт-Петербург в лице репетиторствующей Ивановой Ю. С. предложила выпускникам средней школы «Экспресс-курс подготовки к итоговой аттестации» (2007), в котором точкой отсчёта для современной литературы стали, по сути, уже не 50-е, а 70-е годы: для прозы в качестве образца была выбрана повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой», для драматургии – пьеса А. Вампилова «Утиная охота», а для поэзии – творчество А. Кушнера, о кото-

ром мы тоже могли прочесть в упомянутой книге для учителя двадцатилетней давности. По количественному сдвигу лет это выглядит вполне логично: ушли на двадцать лет вперёд – подтянули на столько же лет и начало современного периода. Такому решению проблемы соответствует и позиция одного из авторов школьного учебника 2007-го: «Спор с шестидесятниками и сейчас продолжается, но сам тот период литературы и нашей жизни завершён». Более того, И. О. Шайтанов идёт дальше даже по сравнению с автором экспресс-курса, говоря о завершённости не только литературного процесса 1950–60-х, но и 1970–80-х: «Впрочем, в поэзии завершён не только тот уже отошедший в историю период, но многое из того, что гораздо позднее воспринималось с надеждой – как новое, но слишком скоро исчерпало себя, как бы громко ни начиналось, с какими бы фанфарами ни возвещало о своём пришествии» (Русская литература XX века. 11 класс. Ч. 2 / В. А. Чалмаев и др. – М.: Просвещение, 2007). Того же, кстати, мнения и Андрей Немзер, откликнувшийся на недавний выход сборника статей Игоря Шайтанова: «Мы можем сколько угодно записывать «классиков» в «современники», искренне восхищаться их предчувствиями и прорывами в будущее (...), но граница меж теми, кто вошёл в историю, и теми, кто творит её сейчас, всё-таки существует». (Время новостей. 2007. № 167). Если, прислушавшись к Ивановой Ю. С., мы могли бы говорить о современном периоде в рамках 1970–2000-х, то последние суждения фактически подводят черту под периодом советской литературы, то есть приближают нас к традиционной периодизации. Однако ни первый, ни второй варианты оказались не приемлемыми ни в целом для авторского коллектива учебника, ни для тех, кто формулировал вопросы экзаменационных билетов, которые относят к современному периоду то вторую половину XX века (билет 21, вопрос 2), то весь XX век (билет 23, вопрос 2), исключая в том и другом случае литературу первого десятилетия XXI века. Чем объяснить такую непоследовательность?

В основе такой сумятицы, как мне представляется, лежат попытки воскресить сомнительную задачу переосмысления не только советской, но и всей русской классической литературы. «В недрах XIX столетия, – объясняет в напутственном слове выпускникам средней школы Л. А. Смирнова, – уже рождается следующее, которое открывается так называемым Серебряным веком литературы и искусства и проходит под знаком переосмысления

ценностей» (Русская литература XX века. 11 класс. Ч. 1). По сути, нам предлагают сегодня последовать не лучшим примерам тех серебряных дел мастеров рубежа XIX–XX веков, которые замахнулись на Золотой век русской литературы, а именно: кардинально переоценить литературное наследие советской эпохи, до неузнаваемости перетрясти и отретушировать, чтобы затем ещё просеять его через сито «новейших», то есть столетней давности, представлений, сметая при этом существующие границы литературных периодов и игнорируя всё, что не укладывается в прокрустово ложе такого неоригинального подхода к решению вопроса о периодизации. Отсюда и все скачки и метания по всему XX веку в поисках точки отсчёта для современной литературы.

Смотрите, с какой цирковой лёгкостью мы жонглируем сегодня границами, чтоб, не дай бог, не появилась мысль о завершённости, а следовательно, и о самодостаточности литературы 1950–80-х годов. В. А. Чалмаев в учебнике 2007 года (12-е издание) устанавливает современный период в рамках 1950–90-х. Речь идёт не просто о том, что отмеряемые по линейке временные отрезки укрупняются до полувековой протяжённости. Дело в том, что это позволяет игнорировать специфику советской литературы. Внутри этого слобёного пирога можно совершенно произвольно нарезать себе куски по собственному вкусу. Так и поступил, например, в 1997 году один из руководителей спецсеминаров на кафедре русской литературы Санкт-Петербургского университета, объявив одновременно с темой «Литературный процесс 1950–60-х годов» (руководитель Ольга Владимировна Васильева) и свою: «Литературный процесс 50–70-х годов». 80-е годы, как видим, Александр Олегович Большов благоразумно исключил. Не уступая ему в подобного рода благоразумии, мы могли бы одновременно с ним объявить набор в спецсеминар по теме «Литературный процесс 1980–90-х годов» – Чалмаев не видит для этого препятствий! – доводя до абсурда саму идею периодизации и сводя её к манипуляции рядом стоящими десятилетиями.

Решение вопроса, таким образом, сводится к чисто технической задаче на построение, с которой можно справиться с помощью обычной линейки и циркуля: отбираем, учат нас сегодня, круг достойно диссидентствовавших авторов, отсекаем острые углы у менее выхолощенных сочинителей, удаляем как можно дальше к окружности или вовсе за пределы старательно очерченного круга произведения, не достойные нашего очищенного от пережитков советского прошлого внимания – кого в серебристую

десятку, кого в гламурную шестёрку, а кого и вовсе в разбавленное молоко ойкумены... И как бы всё прекрасно сошлось, если б не эта треклятая советская литература! Стоит, упёрлась на пути реализации такой чистый рафинад идеальной концепции: да не было никакой советской литературы – потому что её не могло быть! Но что думают по этому поводу наши умники и умницы?

Начать с того, что вопрос о периодизации новейшей отечественной литературы оборачивается для каждого из нас вполне осязаемой реальностью: а к какому времени принадлежим мы с вами? Вопрос не праздный, ибо без ответа на него, без укоренения в своём определённом времени, мы, как перекачиполе, сломя голову понесёмся туда, куда подует ветерок. «Но вот что важно, – говорит Лев Аннинский, – в отличие от Булата Окуджавы, Коржавин не называет себя «шестидесятником», он упорно считает себя человеком 40-х годов» (День литературы. 2007. № 6). А вот автор настоящих строк, например, преодолев рубеж двух столетий, по-прежнему точку опоры для себя находит в 60-х. Очевидно, это определяется временем духовного взросления.

Теперь о том, что границы литературных периодов утратили былую определенность. Борис Дубин, например, полагает, что за последние 15–20 лет полностью изменилась структура литературного поля: «Границы литературы – внутренние и внешние – проводятся теперь по-другому, поскольку их проводят другие люди с другими ориентирами и мысленными партнёрами» (Неприкосновенный запас. 2007. № 4). В связи с этим я хотел бы привести примеры, когда люди с другими ориентирами, то есть отрицательно относящиеся к советской литературе, не отрицают тем не менее самого факта существования вполне определённого её периода.

В 1990 году в «Литературной газете» была опубликована статья Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе». Тот же погребальный мотив прозвучал в рецензии Евг. Ермолина на роман Ю. Малецкого «Конец иглы»: «И вся эта эпоха ушла наконец в холодную, безнадёжную могилу. В необратимое гниенье и тленье» (Новый мир. 2007. № 9). Чуть позже я попытаюсь воскресить в памяти читателя литературу, которую с такой поспешностью хоронят сегодня наши могильщики, а сейчас обратим внимание только на то, что хоронить можно то, что некогда было всё-таки живым. Советская литература БЫЛА, какое бы отвращение она у них ни вызывала. Тот же Ермолин называет её «заисторической древностью», Алла Латынина относит её ущербных

героев к «эпохе государственного оптимизма» (Новый мир. 2007. № 12). Тему своего вышедшего в 2007 году сборника новых работ Мариэтта Чудакова формулирует как исследование литературы советского времени. Характеризуя интересующий нас период как «эпоху социального дарвинизма», Иосиф Бакштейн утверждает, что с падением Берлинской стены в 1989 году и распадом Советского Союза в 1991-м завершился огромный исторический период Нового времени (Искусство кино. 2007. № 3). Вне контекста своей эпохи не могут представить себе творчество Ю. Казакова ни Лев Аннинский (Литературная газета. 2007. № 32), ни тот же Евг. Ермолин (НГ ЕхНЪш. 2007. № 34). И если Алла Латынина, анализируя роман современного фантаста Вяч. Рыбакова «Звезда «Полынь», ещё вспоминает «давно вылинявшую схему советского шпионского романа» (Новый мир. 2007. № 10), то поэт и переводчик Александр Ревич уже позволяет себе риторически вопрошать: «А кто такой Евтушенко?» (Литературная Россия. 2007. № 23). Нельзя в связи с этим не обратить внимания на высказывание Михаила Генделева, считавшего, что в сегодняшней русской поэзии происходит «чудовищное», по его словам, падение ремесла: «Старые поэты – пятидесятники, шестидесятники – ещё владели техникой, современная же поэзия пользуется стандартным набором хорошо если из дюжины приёмов». Он считал, что мы сегодня очень плохо освоили технику русского модерна, не прочли конструктивистов, не осмыслили ни футуризм, ни русский экспрессионизм, не поняли до сих пор, как работала Цветаева (Booknik.ru. 2007. 28 авг.). Более того, сегодня прорезался скептицизм как по отношению ко всему Серебряному веку, так и к выдающимся его представителям. «Мне, например, кажется, – говорит Всеволод Емелин, – что великий Серебряный век русской литературы во многом был сконструирован и советской, и эмигрантской интеллигенцией в 50–60-е годы двадцатого века» (ПОЛИТ.РУ. 2007. 28 мая). А откликаясь на выход в свет книги Тамары Катаевой «Анти-Ахматова», Дм. Быков пишет, что Ахматова, безусловно, первоклассный поэт; но, сетует критик, «её безмерно и многократно преувеличили, восторженно раздули, превратив в святую, в этический эталон, в Анну всяя Руси». Этот замечательный, по его мнению, но в основном камерный поэт неправоммерно вырастает в мыслителя и пророка (Огонёк. 2007. № 32).

Завершённость советского периода русской литературы по-своему подтверждает и ситуация с антисоветской литературой. Поэт Кирилл Медведев

полагает, что, несмотря на то, что многие авторы советской неподцензурной литературы живы и действуют как поэты, историю этого феномена на сегодняшний день можно считать фактически завершённой (Сайт Кирилла Медведева, 2007). К советскому прошлому относит роман Пастернака о докторе Живаго Борис Парамонов (Русская жизнь. 2007. № 15). То же самое мы могли бы сегодня сказать и о Солженицыне, Войновиче, Аксенове, Довлатове, Бродском... О последнем выразительно высказались в заключительном номере журнала «Новый мир» за 2007 год Владимир Забалуев и Алексей Зензинов, представив нобелевского лауреата в качестве самого изысканного антагониста Советской империи. Они однозначно подвели черту как под советским периодом, так и под его творческим наследием: «Когда СССР провалился в небытие, вместе с ним ушло и Великое Безобразное, эстетика рухнула, «рыжему» стало не о чем писать».

Своеобразно сигнализировали о смене эпох писатели, пережившие метаморфозу своего творческого сознания. Мне доводилось уже писать о скандально известном романе Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Это, разумеется, не было единственным примером. В рецензии на роман Василия Аксёнова «Редкие земли» Александр Агеев вспоминал, что, когда писатель во время горбачёвской перестройки вернулся в Россию, это был уже другой человек, не тот, которого читатель знал по написанным в своё время произведениям (Новый мир. 2007. № 10). То же самое отмечал критик и у В. Маканина. В рецензии на роман «Испуг» он однозначно констатировал: «В начале 90-х Маканин резко меняется» (Новый мир. 2007. № 5).

О той же совершенно определённой границе литературных периодов свидетельствует и постсоветская литература, которую не очень-то жалуют штурманы школьного образования. Между тем в уже упоминавшейся статье Виктора Ерофеева говори-

лось о том, что в начале 90-х возникает альтернативная литература, которая опирается на опыт русской философии начала XIX века. Три года назад вышла монография Марии Ремизовой «Постсоветская проза и её отражение в литературной критике» (М.: Совпадение, 2007). О состоянии дел в современной поэзии и прозе пишет Леонид Костюков (Новый мир. 2007. № 7). В Петербурге вышли несколько выпусков антологии прозы 20-летних (Лимбус-Пресс. 2007). Почему же постсоветскую литературу у нас до сих пор не поворачивается язык назвать современной? Могу предположить, что тут срабатывает фактор воспитательного воздействия словесного искусства. В отличие от советской школы, выхватывавшей произведения, что называется, прямо с рабочего стола писателя, сегодня такое делать рискованно: не тот уровень нравственного потенциала. Что ж, мы не возражаем, чтобы сегодняшних школьников продолжали воспитывать на произведениях русской советской литературы; она не подвела нас в прошлом, не подведёт и сегодня. Возражения вызывают в связи с этим два момента: во-первых, не следует относить советскую литературу к современной, смешивая её с постсоветской; и во-вторых, более профессионально подходить к отбору образцов, представляющих минувшую эпоху. Но за современную литературу всё-таки обидно: неужели она до такой степени деградировала, что ничего не может предложить старшекласснику? Понимаю, что конкретный работающий учитель, если он не связан с подготовкой к очередному конкурсу или аттестации, находит выход из этого, казалось бы, безвыходного положения. Но сейчас я говорю об определяющей тенденции, отражённой и в учебнике, и в репетиторском курсе, и в формулировках экзаменационных билетов.

Так что же оставила нам уходящая Советская Русь? Над чем больше всего потешаются, когда речь заходит о советской литературе?



## РЫБА-СЕЙЧАС

Дмитрий Мурзин. Клиническая жизнь.  
Кемерово: Примула, 2010. 88 с.

Отклик на поэтическую книгу, пожалуй, такое же спонтанное явление, как и само поэтическое переживание. Часто книга воспринимается через какую-то конкретную ключевую метафору, как через увеличительное стекло, а точнее, некий портал, позволяющий читателю войти в «диалоговую зону» поэта. Конечно, даже самый заинтересованный читатель переживает в значительной мере свой собственный опыт, но его состояние возникает в пределах той многослойной структуры вербальных, эмоциональных, ментальных, событийных координат, которые обозначены автором книги.

Ключевой метафорой книги Дмитрия Мурзина «Клиническая жизнь» вполне могут стать несколько стихотворений из цикла «Рыбный день». Этому есть и логическое объяснение: в журналистском обиходе часто используется словечко «рыба» – в значении, не имеющем отношения к обитателям водных глубин. «Рыба» – это речевая заготовка «на случай», этакий словесно «направляющий» текст.

А ведь и впрямь, чего сегодня ни коснись в журналистике, в литературе, в жизни, – приходится констатировать: длится и длится никем не объявленный, но утомляющий до полного отвращения «рыбный день». Пространство загромождено ярлыками, моделями и схемами, и ужас в том, что к реальности они не имеют ни малейшего отношения: за ними – либо фантомы, либо, по выражению уральской поэтессы Евгении Извариной, зияющие «амбразуры безобразия». Чувствование и переживание в этой ситуации немы и беспомощны – соответствовать реальности нечем. Острее всего это чувствуют именно поэты.

Место смысла – «средства связи» для всего сущего в этом мире – занимает информация – разрозненная, неструктурированная, зато в огромных количествах. С сугубой серьёзностью «рыбного дня» (и даже с его постоянной претензией на некий пафос!) можно попробовать справиться, пожалуй, только иронией, а более всего – самоиронией, отстранением от слов, речевых форм, сюжетов – возвращением к себе, к первопереживанию и первотексту. В идеале поэзия то и являет собой родники первичного смысла, она была и остаётся доказательством истинности бытия и спасением языка. В идеале – да, но сегодня – всё меньше и меньше. Поэтому каждая новая книга воспринимается с надеждой...

Поэтический сборник Дмитрия Мурзина и назван, и оформлен иронично – в виде медицинской карты с анамнезом «Клиническая жизнь» и (точным, кстати) диагнозом «стихи» (правда, остались не заполненными обозначенные на обложке «медкарты» строки «возраст», «вес» и «рост» – в регистратуре, видимо,

поленились). «Клиническая жизнь» наполнена самоиронией, но, по счастью, это не кислотная среда высмеивания и перевертывания, а живой порыв и прорыв (зачастую парадоксальный) за пределы «рыбного дня» – нашего «сейчас», в котором для любого поворота сюжета, чувства, размышления уже есть заготовка – клише – приговор.

Поэт буквально материализует метафору, усугубляя ужас вполне бытовой, привычной уже трагедии:

*Рыба-отец встретил рыбу-коньяк  
И страшную рыбу-Агдам.  
И всё поплыло наперекосяк,  
Как рыба-трам-тарарам...*

Это события внешнего мира, но и во внутреннем тоже густое «зарыбление»:

*...Усну и думаю: не проснусь.  
Вот он, жизни итог.  
А снится только рыба-союз,  
Только рыба-предлог.*

*Снятся одни только рыбы-вот,  
Рыбы-и, рыбы-но...*

У поэта в борьбе с «рыбами» есть оружие: метафора. Метафорой Дмитрий Мурзин владеет свободно. Это ощущается уже в названии, метаметафоре книги: герменевтическое мерцание его отражает множество смыслов, но главное: если клинической смертью называют отсутствие видимых признаков жизни при сохранении внутренних процессов (и как следствие, возможность мгновенного «оживления»), то «клиническая жизнь» по логике антонимии – сохранение видимости жизни при полном отсутствии таковой по сути. И это практически беспощадный диагноз, поставленный «рыбе-сейчас».

Метафора названия вполне соотносится с мироощущением, заявленным уже в первом стихотворении:

*Вяло сигарету разминаю.  
Не курю. И не прошу огня.  
Будто бы не знал, но вспоминаю  
Тех, кто жил на свете до меня...*

*...Даже помолиться не умею  
За безвестных пращуров моих...*

Но постоянно проступает в поэтической ткани и иная сила:

*Что тебе мир, валяющийся у ног,  
Будто не ты, а мир беспробудно пьян.  
«Есть ещё Океан!» – говорящий Блок.  
«Есть ещё Блок!» – отвечающий Океан.*

*...Каждый забился в свой отдельный мирок,  
Напоминающий пластиковый стакан.  
В мире, почти забывшем, что есть ещё Блок.  
В мире, почти забывшем, ЧТО есть Океан.*

(Блоковская фраза «Есть ещё океан!» была реакцией, как мы помним, на гибель «Титаника»...)

В этих координатах и осмысливается мир, неутихающая война реальности с литературностью. В сущности, поэт прав: поэзия не есть литература, но прежде всего первосостояние, достоверный смысл, оправдание бытия. И чтобы мы ощущали себя подлинно живыми, этот смысл должен постоянно подтверждаться, обновляться, иначе очень быстро поэзия становится литературой, а литература – литературщиной.

Тема литературности иронично заявлена уже буквально во втором стихотворении: «*Лирическому герою не хватает лиричности*», и дальше она сквозным образом идёт через книгу, опираясь на литературные аллюзии: переосмыслением известных сюжетов (как, например, краткая поэтическая «Версия» всенародно любимого фильма «С лёгким паром»), упоминанием имён поэтов и намёками на их узнаваемые метафоры... Есть коллизия «*За пятнадцать минут до начала сюжета*» и коллизия «*Поздно, автор, слишком поздно // Завертелся твой сюжет...*» Пожалуй, только стихи о любви в большинстве своём пишутся «с чистого листа», но и там ощущение трагического разлада сквозит постоянно, и это не разлад между влюблёнными, но прежде всего разлад человека с самим собой, а потом трещина идёт и дальше...

Поэт постоянно даёт понять, что «играет» он, если можно так выразиться, на «рыбном поле», и сражается, в общем-то, «рыбьим оружием», но только вот игра у него своя: добраться до живого чувства зачастую не благодаря словам, а сквозь них, иногда даже вопреки им, и ощутить ту самую подлинность, которая заведомо отрицается уже в названии книги.

*Возьми меня в ночной абонемент,  
Возьми меня в дозор, в разведку, в драку,  
Возьми на мушку, выбери момент,  
Убей как друга или как собаку...*

Более всего прорывов там, где звучит тема родины – времени и общей большой нашей беды. И снова, снова все социальные коллизии упираются в разлад человека с самим собой, а в конечном итоге – в язык, речь как материализацию воли:

*Врач пишет о живом на мёртвом языке.  
Как выживет больной, когда язык накрылся...*

Беда как раз и есть утрата ощущения подлинности существования на этой земле, под этим небом, на просторе этой истории, в отведённом нам веке... Страшное признание – но сегодня уже его вряд ли можно назвать новым и неожиданным:

*Только война расставит всё на места,  
Только война, и только враг у ворот.  
Только странная надпись на пол-листа:  
«Офис закрыт. Офис ушёл на фронт».*

Об этом думают многие и, примеряя минувшую войну и Победу к своей судьбе, беспощадно понимают, насколько мы изменились:

*Ни стихом, ни романом, ни повестью  
Не изжить, не сказать напрямик  
Эту мелочность, сделочки с совестью,  
Будто совесть моя – ростовщик.*

*Наслаждаюсь минутной победой,  
Сам себе, сам себе говорю:  
Я ведь ведаю, ведаю, ведаю,  
Я ведь ведаю, что я творю.*

Понимание собственной внутренней неправоты той ипостаси лирического героя, которая более всего отражает самого автора, и ощущение неотвратимости исторического возмездия – пожалуй, один из центральных моментов книги. И этот герой – наш современник, образ одновременно обобщённый, типизированный (ироничным отстранением) – и реализованный прямым «я», «мне», «мой»...

Но «рыбный день» продолжается – и «рыба-сейчас» на страницах встречается с другой рыбой – это где-то в Сибири, в зимней застывшей реке, на которую бьются выходить рыбаки, буравит лёд «рыба-шахтёр»... Социальная ли здесь аллегория, фельетонно-сатирический ли подтекст – но он удачен как художественное решение, сцепка всего сюжета разнонаправленной, в общем-то, книги. «Рыба-шахтёр» воспринимается и как образ вечного русского упования на чудо:

*У местных с неместными вышел спор,  
Как есть, о природе вещей:  
Зачем нужна эта рыба-шахтёр  
И есть ли она вообще?*

*Спор утихает, но лёд звенит,  
И пацаны твердят:  
Мол, рыба-шахтёр найдет динамит,  
И местные победят.*

Говорить ли о том, что этот персонаж – одновременно и «рыба»? Да, видимо, так. Но я тоже считаю, что местные победят. Дело, однако, не в динамите – в поэтах.

Нина ЯГОДИНЦЕВА,  
Челябинск



ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

9 июля в Доме литераторов Кузбасса прошла презентация новой книги стихов и прозы кемеровского писателя Владимира Соколова «Окна полёта». В представлении приняли участие коллеги-писатели, читатели и спонсор издания – адвокат и литератор Анатолий Имгер.

16 июля своеобразный отчёт о проделанной работе за последние два года предоставила коллегам по перу, читателям, собравшимся в переполненном зале Дома литераторов Кузбасса писательница Юлия Лавряшина, в прошлом кемеровчанка, ныне проживающая в подмосковном городе Королёве. За это время ею написаны несколько новых романов, в том числе «Моё московское фламенко», «Две женщины в замкнутом пространстве»; изданы книги – роман «Свободные от детей», детские сказки «Приключения Алёнушки и Ерёмы» и «Девочка-робинзон». Для младшего и среднего школьного возраста она увлечённо работает над научно-популярным проектом «Великие битвы». В мероприятии приняли участие вокалистка Анастасия Скулкова, бард Наталья Добрынина, библиотекарь Евгения Роот, проректор КемГУКИ Владимир Бедин, а также писатели: Борис Бурмистров, Сергей Донбай, Александр Катков, Валерий Зубарев, Иосиф Куралов, Вячеслав Лопушной, Ирина Фролова, Сергей Павлов, Виктор Арнаутов.

Писатели Кузбасса активно включились в акцию «Помоги собраться в школу». В детско-оздоровительных лагерях «Солнечный», «Спутник» и «Пламя» с творческими встречами и подарками – своими новыми книжками для детей и юношества трижды побывал кемеровский прозаик Михаил Гоголев (6, 10 и 11 августа).

19 августа бригада кемеровских писателей выехала в подшефный детский дом в Яшкино, где писатели познакомили детей со своим творчеством и передали воспитанникам наборы школьных принадлежностей, свои книжки и лакомства. Организовал поездку и спонсировал подарки литератор и адвокат-меценат Анатолий Имгер.

12 августа при поддержке администраций города Берёзовского и Кемеровского района, состоялся в шестой раз молодёжный поэтический фестиваль «Юго-Александровский родник», проводимый по инициативе поэтов Леонида Гержидовича и Нины Красовой в живописной деревушке Юго-Александровка, собрав порядка ста участников. Тут встретились и делились своими творческими удачами юные и начинающие поэты из литературных студий «Свой голос», «Аз», «Притомье», «КоллеДЖ» и других объединений. Вёл этот поэтический праздник известный поэт и наставник молодёжи Александр Ибрагимов. В фестивале принимали участие хозяева – Леонид Гержидович и Нина Красова, а также Владимир Ерёмко, Марина Брюзгина, Александр Ярощук, Юрий Михайлов.

Традиционные Фёдоровские чтения, организуемые ежегодно в селе Марьевка и районном центре Яя, в этом году из-за финансовых трудностей проводились 14 августа силами исключительно местных участников самодеятельности, молодёжных литературных студий и поклонников творчества их знаменитого земляка поэта Василия Дмитриевича Фёдорова.

С 12 июля по 2 августа в Доме литераторов Кузбасса проходила очередная выставка фотохудожника Владимира Нады, где многие экспонаты имели непосредственное отношение к творчеству и быту кузбасских поэтов и прозаиков. А вслед за фотовыставкой более сорока портретов и жанровых композиций маслом выставил в ДЛК юбиляр – художник Геннадий Агеенко, посвятив экспозицию 65-летию Великой Победы. Многие работы сопровождаются стихами самого художника, а также известных русских и сибирских поэтов, среди которых есть и кузбассовцы – Борис Бурмистров и Сергей Побоккин.

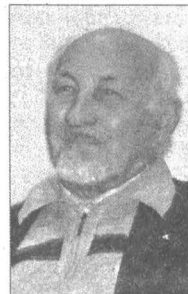
Поэт Дмитрий Мурзин стал дипломантом конкурса им. М. Волошина в номинации «Проект будущей книги» (Коктебель). Поздравляем!

Дорогой Владимир Андреевич!

Поздравляем с 75-летием!

К этой действительно знаменательной дате ты пришёл не с пустыми руками. Вместе с читателями мы, твои коллеги, ценим тебя как мастера большой прозы – повестей и романов и вообще как человека многогранных способностей.

Крепчайшего тебе здоровья и новых творческих радостей!



ИЗДАНЫ КНИГИ:

Соколов Владимир. Окна полёта: стихи, рассказы / Владимир Боевич Соколов. – Кемерово: Сибирский писатель, 2010. – 213 с.

Ябров Анатолий. Время: роман и повесть / Анатолий Степанович Ябров. – Кемерово, 2010. – 446 с.

Гоголев Михаил. Взрослое детство войны: повесть / Михаил Петрович Гоголев. – Кемерово, 2010. – 300 с.

Пятак Андрей. На чердачке моей души: сборник стихотворений / Андрей Пятак. – Кемерово: ООО «Примула», 2010. – 80 с.

Красноярский журнал «День и ночь» напечатал подборку стихов поэта из Анжеро-Судженска Сергея Подгорного (№ 3). Журнал «Сибирские Огни» напечатал подборки стихов поэтов: Александра Ибрагимова (№ 5) и Дмитрия Мурзина (№ 7).

Подготовил Виктор АРНАУТОВ

## НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

## «НАШЕ ВРЕМЯ».

*Антология современной литературы*

Второй том. Проза.

Первый был посвящен поэзии. Точнее – поэтам. Еще точнее – поэтам, родившимся в 1960-е годы. И уж совсем точно – выпускникам Литературного института имени Горького.

Ко второму относятся все уточнения, только авторы, повторяю, – прозаики. Причем прозаики, живущие в регионах, из столиц – раз-два и обчелся. Так что знакомых имен мало.

Незнакомцы не только из далеких Ижевска, Петрозаводска или Сыктывкара, но и из вполне родных Омска (Алексей Кривдов), Барнаула (Сергей Бузмаков – этого, впрочем, встречал в «Сибирских огнях»), Ханты-Мансийска (Сергей Козлов).

Ну, вот только бийчанин Сергей Филатов – его знаю по публикациям журнала «Огни Кузбасса» и альманаха «Бийский вестник». Кстати, не премину в очередной раз отметить: очень хорошего литературно-исторического и краеведческого издания.

Каждый автор представлен подробной справкой – биографической и библиографической. Поскольку книга рекомендована в качестве учебного материала для преподавателей и студентов-филологов, то важное подспорье.

Но вообще-то, «Наше время» – очень приличная литература. Достойная быть замеченной в любое время. Почему я не заметил? А потому же, что и вы. <sup>170</sup> Время настало не книжное и не журнальное. Писатели, даже очень хорошие, находятся на периферии общественного внимания.

Их оттуда выводит автор проекта и составитель антологической серии Борис Лукин. Говорят, что готовится новый том – опять стихи. Bravo, Борис Лукин!

Оба выпуска антологии имеются в областной библиотечной системе и научной библиотеке им. В. Федорова.

## «СИБИРЬ»

*Первый номер 2010 года*

Журнал писателей России. Выходит в Иркутске.

Почти в самом начале – беседа с Валентином Распутиным «А что будет дальше?»

Современный классик отнюдь не оптимист. Вспомните его прозу: «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар», – не шибко весело становится на душе после прочтения. Хотя, вроде бы, времена Марии и Матёры ушли в прошлое.

Но и как оценщик современности и провидец, он тем более не оптимист. Для него ответ на вопрос «А что будет дальше?» звучит мрачно: «Стоики, воистину стоики, стараются держаться, но опоры от мира все меньше. Опора только в храмах».

Прозаический раздел открывается главой «Мних» из романа Глеба Пакулова. Уже от первой фразы дрожь в сердце. Вот она, эта фраза: «Хромая на одно крыло и свесив вялую красную лапу, летела, слезно вскликивая, одинокая белая лебедь».

А это «Дворник. Сказ о захоластном писателе» Анатолия Байбородина. Ключевые слова завершают сказ: «Вопрошал Иван небеса, но ответа не слышал».

Тоже настроения не улучшит.

Как и стихи. Виктор Бронштейн:

*Господь, отринь свой судный день,  
От маеты спаси греховной,  
Восьмого дня страшна нам тень,  
Как камнепад в дороге горной.*

Восьмой день – это день Страшного суда, как известно.

Римма Маркевич с подборкой стихов, название – просто удар под дых: «Рябиновая кровь».

В рубрике «Память о войне» Виктор Богоявленский с воспоминаниями. Вновь говорящее название – «Боль».

Публицистика. Валентин Курбатов с записками о прошлом путешествии по бывшей Ангаре, убитой плотинами ГЭС. Та же боль, но на современный, техногенный лад.

Я не к тому, что литературный журнал обязан быть развлекательным чтивом. Но «чернухи», причем убедительной, потому что художественной и даже высокохудожественной, «чернухи», от которой хоть сейчас в петлю, в номере явный перебор.

Неуж все литераторы Иркутска эдакие вот плакальщики?

Однако же на открытии журнальной книжки светлый стих В. Г. Бенедиктова, датированный давним 7 апреля 1857 года:

*Христос воскрес!  
Воскресни ж все – и мысль, и чувство!  
Воспрянь, наука! Встань, искусство!  
Возобновись, талант словес!  
Христос воскрес!*

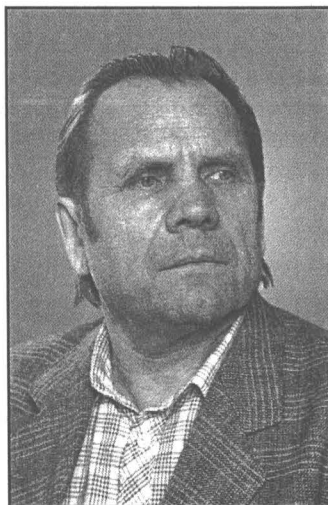
Прекрасный призыв. Призываю следовать ему и не отчаиваться.

О подписке журнал сведений не дает. Электронная почта редакции: sibir@irdl.ru.

## Ошибка

В журнальном обзоре, опубликованном в четвёртом номере «Огней...», в части, касающейся антологии «Мы из Кузбасса», цитата из рассказа Татьяны Горянец ошибочно приписана Геннадию Дырину, другому автору и составителю антологии. Приношу извинения.

Подготовил Василий ПОПОК



### ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Ушел из жизни хороший сибирский писатель, член Союза писателей России – **Анатолий Степанович ЯБРОВ**. Его литературная судьба была неразрывно связана с жизнью родного Кузбасса. Он работал слесарем на ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината, журналистом, участвовал в строительстве Западно-Сибирского металлургического комбината, окончил литературный институт им. М. Горького. И совсем неудивительно, что реальные персонажи стали героями его книг: «Стриженные», «Накладки», «Жди нас, океан», «Паду к ногам твоим», «Огонь на ветру» и, наконец, вышедшая на днях его книга «Бремя». Его творчество всегда отличалось пристальным вниманием к жизни, стремлением проникнуть в суть ее проблем.

А на протяжении всей своей литературной жизни Анатолий Ябров был связан с альманахом, а затем журналом «Огни Кузбасса». Вот и в третьем номере журнала за этот год была напечатана его замечательная по своей пронзительности повесть «Колыбельная иволги». И слава богу, мы успели сказать Анатолию Степановичу об этой повести добрые слова.

*Редколлегия,  
писатели Кузбасса*

## ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России:

«Наш современник» (Москва),  
«Всерусский Соборъ» и «Родная Ладога» (Санкт-Петербург),  
«Сибирские огни» (Новосибирск),  
«День и ночь» и «Новый енисейский литератор» (Красноярск),  
«Врата Сибири» (Тюмень),  
«Алтай», «Барнаул» (Барнаул),  
«Бийский вестник» (Бийск),  
«Дальний Восток» (Хабаровск),  
«Сибирь», «Зеленая лампа» (Иркутск).

По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, которую они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и литературных газет, а также подписчикам.

**Редакция журнала** принимает только первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо выполненные на компьютере через полтора интервала (12–14-й кегль), с обязательным приложением диска или дискеты с набором текста в любом формате. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с рукописями авторов, не вступая в переписку. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: [sp\\_kuzbass@mail.ru](mailto:sp_kuzbass@mail.ru)

Наш сайт: [www.ognikuzbassa.ru](http://www.ognikuzbassa.ru)

**Журнал «Огни Кузбасса» и книги писателей Кузбасса можно приобрести в книжных магазинах Кемерова: № 4 по ул. Ноградской, 5; № 2 по пр. Ленина, 125; в магазине «Лас-Книгас» по пр. Кузнецкому, 33 (торговый центр «Я», II этаж); а также в Доме литераторов, пр. Советский, 40.**



Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован  
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением

Свидетельство № ПИ 12-2373 от 14 мая 2004 г.  
Учредители: Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса»  
общероссийской организации «Союз писателей России»;  
ГУК «Дом литераторов Кузбасса»

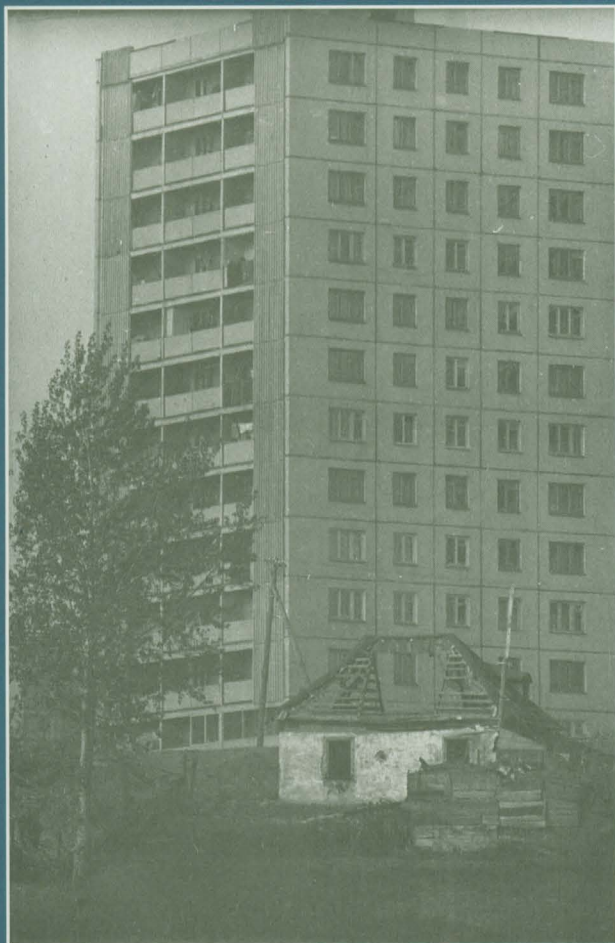
Технический редактор **В. И. Труханова**  
Корректор **Т. А. Козьева**  
Компьютерная верстка **Л. А. Астанковой**

Подписано к печати 27.09.2010. Формат 60×84%. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Pragmatica».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 + 0,5 л. цв. вкл. Уч.-изд. л. 16,0. Тираж 900 экз. Заказ № 173.  
Цена договорная

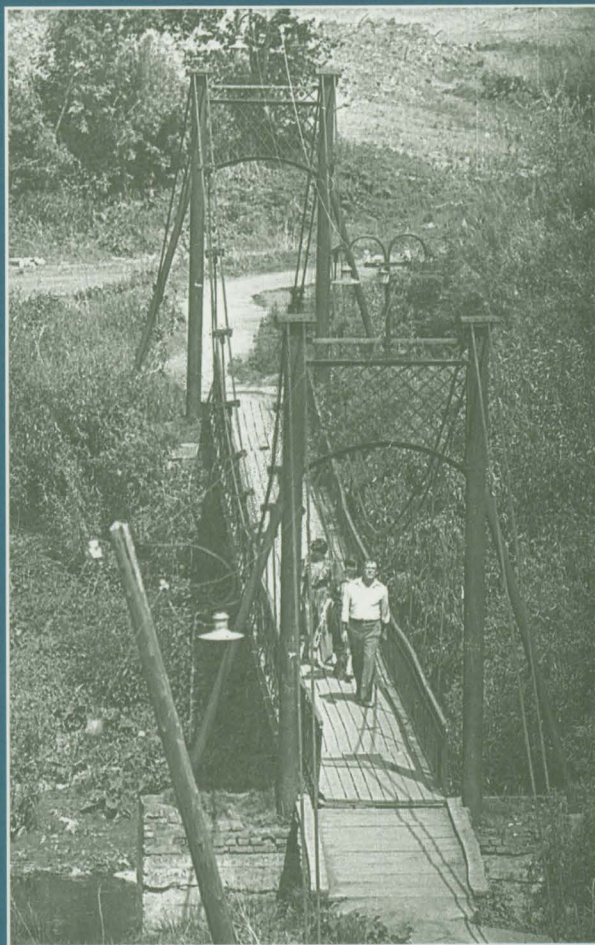
Адрес редакции: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 40.  
Издательство «Кузбассвуиздат». 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 60<sup>б</sup>. Тел. 58-29-34. [www.kvi.bip.ru](http://www.kvi.bip.ru)

# Домашний архив

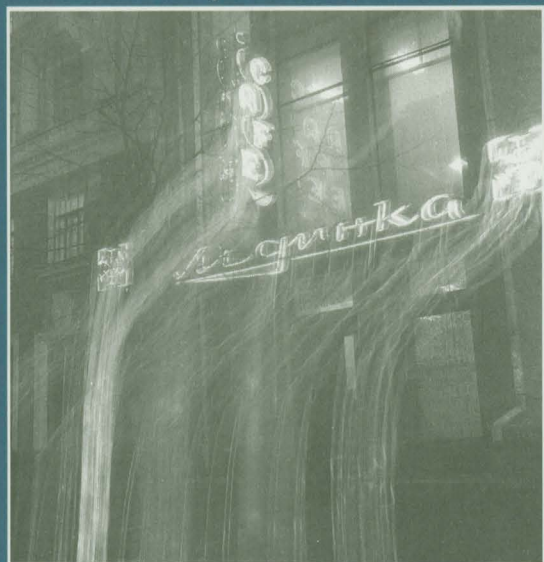
ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛИСТА И ФОТОГРАФА ЮРИЯ ДЬЯКОНОВА  
ВИДЫ СТАРОГО ГОРОДА КЕМЕРОВО



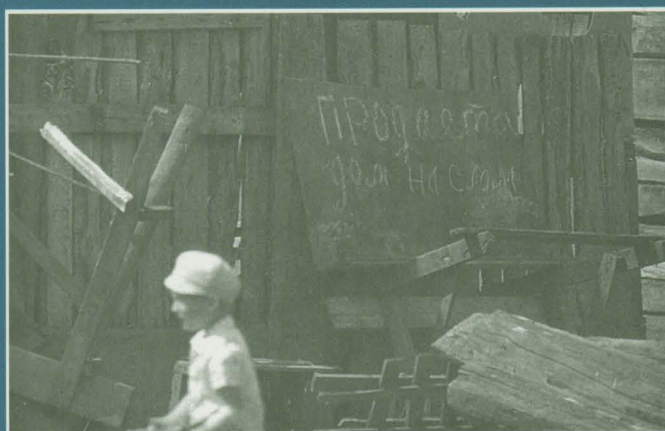
Новое наступает. Октябрьский проспект



Подвесной мостик через речку Искитимку



Вот и реклама уже... Советский проспект



Продал или не продан? Улица Заречная

Фотографии Ю. Дьяконова см. также на стр. 50, 65, 125

**ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!**

Подписка на журнал «Огни Кузбасса»  
на второе полугодие 2010 года  
оформляется в любом отделении  
почтовой связи Кемеровской области  
по каталогу «ПОЧТА РОССИИ»

**ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 12234**

Периодичность выхода – раз в два месяца  
(6 номеров в год)

Подписная цена за полугодие 180 руб.